

СИБИРСКИЕ ОГНИ



www.сибирскиеогни.рф

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Учредитель: Союз писателей России

Редакционная коллегия:

М.Н. АКИМОВА (зав. отд. публицистики)

Н.М. АХПАШЕВА

Б.Л. АЮШЕЕВ

А.Г. БАЙБОРОДИН

Ц.-Х. БАЛДОРЖИЕВ

Б.Я. БЕДЮРОВ

В.А. БЕРЯЗЕВ

Б.В. БУРМИСТРОВ

В.В. ДВОРЦОВ

Б.С. ДУГАРОВ

А.И. ИВАНТЕР

В.Н. КАЗАКОВ

А.В. КИРИЛИН

Н.В. КОРНИЕНКО (член-корр. РАН)

В.Н. КОСТИН

М.В. КУДИМОВА

С.Г. МИХАЙЛОВ (зав. отд. поэзии)

Э.И. РУСАКОВ

В.И. ТИТОВ (отв. секретарь)

М.А. ЧВАНОВ

Т.Г. ЧЕТВЕРИКОВА

В.Н. ЯРАНЦЕВ (зав. отд. критики)

М.Н. ЩУКИН

Главный редактор: В.А. БЕРЯЗЕВ

1 январь 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Сергей НОСОВ. Две таблички на газоне. Рассказ.	3
Валерий КАЗАКОВ. От Батуры до Батуры. Главы из книги.	20
Виталий НАУМЕНКО. Колядки. Рассказ.	67
Владимир ВАРАВА. Маланьина гора. Рассказ.	121
Александр УНТИЛА. Два рассказа. Рассказы.	128

ПОЭЗИЯ

Бахыт КЕНЖЕЕВ. Два стихотворения. Стихи.	18
Ирина ГОНЧАРУК. Низкое небо. Стихи.	65
Алексей ИВАНТЕР. «И кислый хлеб, и вязкое питьё...» Стихи.	80
Марина КУДИМОВА. Коллекция специй. Стихи.	117
Владимир ЯРЦЕВ. Сон до рассвета. Стихи.	124

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил ЧВАНОВ. Бывших офицеров не бывает (В качестве послесловия к рассказам Александра Унтила)	150
Геннадий АТАМАНОВ. Мои родные старoverы	156
Анатолий КИРИЛИН. «Я несу тебе свои черты»	175

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Екатерина ФЕДОРЧУК. «Лавр» Евгения Водолазкина: неполное погружение	179
Владимир БЕРЯЗЕВ. Алексей Калкин — великий кайчи	182

ЛИТЕРАТУРА НОВОСИБИРСКА

Ирина СИРОТИНА. Кукушкин родник. Повесть.	83
--	----

Книжная полка

Зульфия АЛЬКАЕВА. Очищение от проказы (о книге Марины Кудимовой «Голубятня»)	186
Владимир КУНИЦЫН. «Очарованный странник» Феромон (о книге Владимира Карпова «Малинка»)	189

Авторы номера	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Учредители: Союз писателей России и Администрация Новосибирской области.

Главный редактор: Берязев В.А.

ДВЕ ТАБЛИЧКИ НА ГАЗОНЕ

Р а с с к а з

Нет, Лёпа не даст соврать, против собак Тамара Михайловна ничего не имеет, правда, Лёпа? Дело не в собаках, а в людях. Вот пожалуйста: подошел к трансформаторной будке и закурил, отпустив поводок, а собака, боксер, уже хозяйничает на газоне, как дома.

— Видишь, Лёпа, — говорит Тамара Михайловна, — сейчас гадить начнут.

Лёпа все видит, но смотреть на это Лёпе противно, потому он и шевелит своим пушистым хвостом. Лёпа встает на лапы, медленно обходит горшок с фикусом Бенджамина (шесть лет растению) и, негромко мяукнув, начинает ласкаться к хозяйке. Мол, не обращай, Тамара, внимания. Не затрачивайся.

А как же тут не затрачиваться, когда он стоит и курит, и ждет, когда собака его сделает это? А она по газону ходит под окнами и к чему-то принохивается, и только время тянет. Нет, Тамара Михайловна не против собак и даже того, что оправляются у нее под окнами, но ведь не убирают, сволочи, вот что гадко. И ведь этот не уберет.

Она нарочно отдернула занавеску и стоит, нависнув над подоконником, едва не касаясь лбом стекла, — вдруг тот, снизу, увидит, что за ним из окна наблюдают, может, постесняется хотя бы. Тамара Михайловна открыла бы окно и подала бы голос, но, чтобы открыть окно, надо с подоконника убрать горшки с цветами — столетник, щучий хвост и фикус Бенджамина, который не любит, когда его переставляют с места на место. Делать нечего — надо убрать цветы с подоконника. Тамара Михайловна переставляет цветы, а Лёпа — прыг на пол и, подойдя к пустому блюдечку перед раковинкой, требовательно мяукает, призывая Тамару Михайловну не трогать нервы на бесполезное и думать о близком.

— Подожди, Лёпочка, подожди, дорогой.

Боксер в характерной позиции самозабвенно тужится.

Тамара Михайловна наконец открыла окно:

— Наденься, вы не забудете убрать за собакой?

Тот, внизу, делает вид, что не понимает, откуда голос — оборачивается и смотрит в глубь двора, в противоположную от Тамары Михайловны сторону.

— Вы забыли убрать за собакой!

Увидел ее и нагло так отвечает:

— Здесь не запрещается.

— Это что не запрещается? — захлебывается от возмущения Тамара Михайловна. — Убрать за собой не запрещается?

Но они уже оба уходят, не обращая на нее внимания: скрываются в арке, что под ее окном.



— Вот сволочи. Хоть письмо пиши.

Опять. Это мамино выражение. Имела ли мама в виду что-нибудь, когда говорила «хоть письмо пиши»? Куда, зачем писать и о чем? Когда-то это мамино «хоть письмо пиши» сильно резало слух Тамаре Михайловне, а в молодости просто злило ужасно, и вот она теперь сама уже нет-нет и скажет: «Хоть письмо пиши». С этим надо бороться.

Но о чем она думает, когда думает «с этим надо бороться», сразу ей не ответить. Да и зачем отвечать, если никто не спрашивает? А вот зачем. А затем отвечать, что нельзя расслабляться. Ясен пень, тут и думать не надо, с чем надо бороться: с «хоть письмо пиши». Остальное, включая собак, — наносное и внешнее, и, надеться можно, еще поправимое. Без самодисциплины и дисциплины не будет.

Она стала ловить себя на том, что часто с собой разговаривает. Ее бы это больше тревожило, если бы не было Лёпы. Когда рядом Лёпа, разговаривать с Лёпой — это нормально. Лёпа все понимает. Но она и с мамой иногда разговаривает, точнее, ей иногда что-нибудь говорит — всегда есть что сказать из того, что не было сказано раньше.

Иногда она обращается к Машке, но это когда нет под рукой телефона. Племяннице, слава богу, можно всегда позвонить. Но Тамара Михайловна не злоупотребляет звонками.

Лёпа ест нежирный творог — если пренебречь разницей между тем, что считается «творогом» у нас в магазинах, и тем, вкус чего еще не забыла Тамара Михайловна. Ему повезло с Тamarой Михайловной. Она ему не дает кошачьего корма с искусственными добавками и усилителем вкуса. Если рыбку, то рыбку. Лёпа такой. Очень любит почки телячьи, печень, сердце — и вообще субпродукты. Рационы Лёпы и Тамары Михайловны в значительной степени совпадают, причем Тамара Михайловна подстроилась к Лёпину рациону.

Это если не считать вкусенького.

Под вкусеньким Тамара Михайловна понимает (Лёпе этого не понять) меда ложечку на печеньце. Другую размешивает в чашке чая, а потом идет в комнату смотреть телевизор.

Сегодня не просто телевизор, а с ее участием.

Ток-шоу «Так ли плохо?» своим названием обыгрывает фамилию Леонида Нехорошева, будет первая передача. У Маши есть приятельница Лика, она работает администратором в «Так ли плохо?», Маша как-то ей рассказала про Тамару Михайловну и про то, что она ни разу в жизни в рот сигареты не взяла, Лика тут же позвонила Тамаре Михайловне и пригласила ее записаться в передаче «Так ли плохо не курить?». Разумеется, не курить — хорошо, это Тамара Михайловна хорошо знает. К выступлению она очень основательно подготовилась, в ночь перед записью почти не спала. Ее посадили в четвертый ряд, там человек сорок было таких, как она. Внизу на подиуме стояли два дивана, и вокруг них суетился Леонид Нехорошев, а на диванах сидели представители разных мнений, включая, с одной стороны, священника, а с другой, — художника по макияжу, очень худого и почему-то в черных очках. Вот эти на диванах и спорили друг с другом под управлением Нехорошева, а Тамаре Михайловне никто слова не дал. Зато ей полагалось вместе с другими такими же зрителями время от времени хлопать в ладоши. Она была очень обескуражена. И сказала себе, что больше на такое ни за что не подпишется. И Лике она по телефону сказала, что зря только потеряла время. Но время прошло, и Тамара Михайловна успокоилась. Ей стало интересно посмотреть, что там у них получилось.

Понимает, что поспешила: села перед телевизором за двадцать минут до передачи. Значит, вкусенькое вместе с горячим чаем кончится еще до начала «Так ли плохо?». Тамара Михайловна не любит, когда на вкусенькое выпадают блоки рекламы, но ничего не поделаешь — не ждать же, когда чай остынет.



Началось. Только, к удивлению Тамары Михайловны, передача «Так ли плохо?» совсем не та — не «Так ли плохо не курить?», а «Так ли плохо не воровать?», о которой она даже ничего не слышала. Те же два дивана, те же ряды со зрителями, тот же суетный Леонид Нехорошев, но только все не про то, не про курение. И на диванах, кроме все того же священника, совсем другие люди о чем-то спорят. А о чем спорят, сразу и не понять, потому что и те, и другие вроде бы согласны, что чужое брать нехорошо, но есть все же детали, в которых расходятся. Передача Тамаре Михайловне совершенно не нравится. И Леонид Нехорошев ей на экране не нравится, и что хлопают зрители, отзываясь на пустые высказывания, ужасно ее раздражает. Публика глуповато выглядит. «И хорошо, — думает Тамара Михайловна, — что я в этом не участвую». Она уже выключить телевизор хочет, как вдруг — что такое?! — видит себя. Вот она, крупным планом, и лицо у нее сердито-сосредоточенное. Тамара Михайловна пугается даже, и, когда вслед за этим Нехорошева и прочих снова показывают, нет у нее уверенности, что не померещилось ей.

Потом ее, под конец, еще раз показали, и сидела она, как тогда, в четвертом ряду, и было у нее выражение на лице очень сосредоточенное.

Тамара Михайловна номер Лики набрала.

— Что это значит, Лика, объясните, пожалуйста, только что «Так ли плохо?» показывали...

— Да, да, вы видели? Вам понравилось?

— Почему-то не про курение, а...

— Про курение через четверг, — перебивает Лика, — а это первая передача, ее раньше записывали, без вас. Не волнуйтесь, вы в сетке. Через две недели себя увидите.

— Так в том-то и дело, что я себя увидела!

— Отлично! Мои поздравления!

— С чем поздравления? Меня вставили, где меня не было! Как это, по-вашему?..

— Это потому, — объясняет Лика, — что обе передачи монтировались одновременно. Не надо удивляться. Или вам что-то не нравится?

— Да ведь меня показывают там, где меня не было! Я там была в другой день, в другой раз! Это ж другое событие!

— Ну и что? Есть возражения по существу?

— Да ведь это ж неправда!

— У вас лицо выразительное. Вы режиссеру понравились.

— Мало ли кому я понравилась! Это же фальсификация!

— Ну, не знаю... То есть вы не хотите, чтобы вас еще приглашали?

— Быть статистом? Конечно, не хочу! Мало того, что я время убила... истуканом сидела, словно мне сказать нечего было... так меня еще всунули, где меня не было!..

— Послушайте, — говорит Лика, — некурящих и курящих очень много, а вот скоро новая запись будет, на одну очень интересную тему, и уж там-то вам точно дадут поговорить... Вы правда специалист по дрожжам?

— Какая разница, по чему я специалист! — восклицает Тамара Михайловна. — Знайте, Лика... Это обман! Вы меня очень сильно разочаровали.

На этом разговор заканчивается.

Тамара Михайловна стоит во дворе и смотрит на газон: лежат собачьи говешки в пожухлой траве, и число их несметно. Когда лето, они скрыты высокой травой, когда зима, они большей частью под снегом, а весной и осенью — всегда на виду. Газон пролег полосой вдоль высокой кирпичной стены от окон Тамары Михайловны до трансформаторной будки. Таким образом, этот газон — собачий газон, как его тут все именуют — с трех сторон посетителям недоступен, а четвертой своей сто-



роной он обращен к пространству двора — здесь чуть выше колена оградка. Перед ней и стоит Тамара Михайловна, пытаясь оградку понять: почему не дотянулась она до трансформаторной будки и для чего оставлен метровый зазор? Эстетически оградка Тамаре Михайловне не очень по вкусу, потому что напоминает кладбищенскую — вроде той, что этой весной установила Тамара Михайловна маме. Но оградка, безусловно, нужна, а зазор совершенно не нужен Тамаре Михайловне. Сэкономить ли решили на зазоре оградку, предусмотрен ли он для прохода смотрителей будки, каких-нибудь ее контролеров, монтеров, не важно — главное, он в реальности есть, и это плохо. Через оградку собаки не перелезают, но всегда к их услугам зазор — лишь появятся они во дворе, сразу же, увлекая за собою хозяев, спешат к зазору, беспрепятственно проникают через него за оградку и, отпускаемые на удлиняющемся поводке, свободно овладевают всей площадью газона, а потом охотно гадят под окнами Тамары Михайловны.

Вся беда — в этом зазоре.

Тамара Михайловна убеждена: была бы со стороны зазора воткнута табличка «Собак не водить», и никто бы за нее собак не стал запускать, это просто технически сложно, поскольку табличка бы натурально перегородила вход для любой собаки крупнее таксы, но и кроме того — есть пределы цинизму, не так ли?

Сказать честно, Тамара Михайловна понимает двусмысленность расположения газона у себя под окнами: вроде двор, но уже и не совсем двор, а так, закуток. Есть же в этом дворе детская площадка и еще четыре вполне очевидных газона, с тополями и кустами даже сирени (двор большой), — туда не водят собак, а сюда, в закуток, — это милости просим.

А была бы табличка, и тогда собак мимо этого, уже не собачьего места повели бы в подворотню, на улицу (двор проходной) — им открылись бы там другие возможности.

Тамара Михайловна убеждена: проблему выгула легко разрешить. Вот вам, пожалуйста, позитивный пример — газон во дворе дома номер восемь. Площадью он уступает собачьему месту под окнами Тамары Михайловны, но это несколько ему не мешает быть пунктом наличия сразу двух антивыгульных табличек.

Не удивительно, что жильцы дома восемь, кто имеет собак, на выгул идут под окна к Тамаре Михайловне. Что же тогда говорить о своих?

Тамара Михайловна не понимает, почему управляющая организация не установит в их дворе табличку. Всего-то и нужна лишь одна — «Собак не водить», или типа того.

Она переходит улицу и отправляется, это близко, в офис территориального исполнительного органа жилищно-коммунального хозяйства, теперешнее название которого (когда-то, кажется, оно называлось «ЖЭК») Тамара Михайловна не только не знает, но и не хочет знать, — зато ее знают здесь — по теме двух банальных протечек и по всё этой же теме собачьего места.

— Я к вам пятый раз уже прихожу, а вы так и не установили табличку. Я же там цветы весной сажаю, да и двор все-таки, люди гуляют. Сколько же мне к вам обращаться?

Бронзовым загаром обладает диспетчер. Еще у нее из уха тянется проводок, — разговаривая с Тамарой Михайловной, диспетчер из уха, что бы там ни было в ухе, этого не вынимает:

— Мы все помним, но и Москва не сразу строилась, а вы хотите...

— При чем тут Москва? Вон в доме восемь, там целых две таблички во дворе, а у нас ни одной. Неужели это такое сложное дело? Не взятку же мне вам предлагать?

— Вы забываетесь! Здесь так не шутят!

— Но ведь можно как-то ускорить?..

— Соберите подписи жильцов. Это поможет.



— Так может, деньги собрать? Я бы и на свои купила. Я только не знаю, где их продают.

— Вы меня троллите.

— Что?

— Ничего. У нас карниз обвалился, а вы с табличкой. Это действительно потребность первой необходимости? Имейте совесть. Имейте терпение. А то, получается, вы нас имеете. Посмотрите, что в государстве творится. Как будто не в одной лодке сидим.

Усовещенная, Тамара Михайловна выходит из офиса территориального исполнительного органа жилищно-коммунального хозяйства и замечает у двери то, что, входя, не заметила: сигнальную ленту, огораживающую, стало быть, область падения карниза. Не глядя наверх, быстро-быстро идет, чтобы скорее свернуть за угол.

Все легкие для Тамары Михайловны — «иномарки». Почему же она должна разбираться в экзотических видах искусства? Натальная живопись — это боди арт (о нем Тамара Михайловна читала большую статью в гостях у племянницы), а как называется то же на автомобиле, она не знает. С этим самым, с русалкой на кузове — большегрудой и длинноволосой, — он и окатил их грязью на перекрестке. Тамара Михайловна еще успела отпрянуть назад, а женщине рядом не повезло. Слова, которые ныне запрещены законом к употреблению в средствах массовой информации, никогда не радовали слух Тамары Михайловны. «Зачем же так грубо? — обратилась она к женщине, отряхивающей пальто. — Сказали бы просто: козёл!» Она эту машину часто встречает — вероятно, водитель рядом живет...

— Рыба, молоко, хлеб... — повторяет Тамара Михайловна, что купить собралась.

Обычно треска — тушки, а тут филе. Взяла сразу три. С костями — размораживать надо, а тут — кинула в воду... Он и с костями рад, лопает за обе щеки, только Тамара Михайловна без костей любит.

Встала в очередь на кассу и захотела прочитать, что на этикетке написано, вынимает из корзины, а оно — неожиданно скользкое — раз — и на пол. Уже рот открыла «да ну что вы!» крикнуть наклоняющемуся за упавшим, смотрит — а это Борис Юрьевич.

— Борис Юрьевич, какими судьбами?

— Тамара Михайловна, что вы тут делаете?

— Песни пою. Что еще делают в магазинах?

— А! Так вы рядом живете... Рад вас видеть, честное слово. А я проездом — случайно...

— Глазам не верю: баночное пиво? Вы ли это? Мировоззренческий переворот?

— У тещи ремонт. Строительный мусор вывозят. Купил ребятам в конце рабочего дня. А как вы поживаете?

— Спасибо, вполне. Ну а вы-то как без меня?

Борис Юрьевич отворачивается и гасит кашель кулаком, а потом добавляет сиплым голосом:

— Мы без вас... как-то так... Но помним.

— Еще бы, — говорит Тамара Михайловна.

На это Борис Юрьевич произносит:

— Выращиваем, выращиваем потихонечку. Озаботились ферментами. Вот разводим аспергиллус ваш любимый...

— Для этого большого ума не надо, — замечает Тамара Михайловна.

— Есть нюансики кое-какие, — загадочно говорит Борис Юрьевич. — Очередной термостат до утра заряжен.

— Знаем мы ваши термостаты... Вы там, глядите, поосторожней с грибами-то плесневыми. А то кашляете нехорошо.



— Это сезонное. Осень, — вяло отвечает Борис Юрьевич, выставляя банки с пивом на ленту транспортера. — Мы теперь на ржаной барде экспериментируем, и результаты весьма любопытные... И не только по части осахаривания.

— Грубый фильтр? Декантат?

— Во-во. По фракциям.

Тамара Михайловна тоже выставляет продукты на транспортер.

— А как с космосом?

— А что с космосом?

— Вы в программу хотели вписаться.

— Мечты, мечты, — грустно улыбается Борис Юрьевич. — На любимую мозоль наступаете. Некому нас продвигать, Тамара Михайловна. Терминология опять же. Напишешь в заявке «фильтрат картофельной барды» — и всё, прощай, космос... Вашего кота Кузя зовут?

— Лёпа.

— Он кастрированный?

— Почему вы спрашиваете, Борис Юрьевич?

— Жена кота привела. Я думал, у вас не кастрированный, посоветоваться хотел.

И пакетик, пожалуйста, — обращается он к кассирше.

— Нет, Лёпа кастрированный. А в чем сомнения?

— Да так, — Борис Юрьевич опускает банки в пакет. — Частного порядка сомнения. Мужская солидарность во мне просыпается.

Удаляется к столику у окна и ждет Тамару Михайловну.

Заплатив за рыбу, молоко и хлеб, Тамара Михайловна подходит к столику и приступает к рациональному распределению покупок по двум полиэтиленовым пакетам, принесенным из дома.

— Борис Юрьевич, — говорит Тамара Михайловна, опустив чек в пакет с рыбой. — А мне ведь иногда дрожжи снятся. Во всей их необычной красоте и разнообразии. Когда работала, никогда не снились, а сейчас... вот.

— Без людей?

— В микроскопическом масштабе. На клеточном уровне. Какие уж тут люди!

— Я вас понимаю, Тамара Михайловна. Я очень сожалею, что с вами так обошлись. Правда. Вы не поверите, но лично я — очень.

— Кстати, — вспомнила Тамара Михайловна, — я тут своего Бенджамина подкармливать стала...

— Кто такой?

— Фикус. Раньше на бездрожжевой диете был. Но нет. Ничего.

А когда вышли из магазина, Борис Юрьевич говорит:

— Хорошо, что встретил вас. Не все у нас получается. Есть кой-какие штаммы, вполне перспективные. А мозгов не хватает. Не согласитесь ли, Тамара Михайловна, дать нам консультацию, если мы вас пригласим в официальном порядке — через дирекцию, а?

У Тамары Михайловны перехватывает дыхание на секунду, ей бы сейчас и произнести один из тех монологов, которые она много раз в уме проговаривала ночами, но вместо того она говорит, почти весело:

— Почему же, — говорит, — не соглашусь? Возьму и соглашусь.

— Отлично. Будем на связи. Вас подвезти?

— Что вы, я рядом.

Идет по улице с двумя полиэтиленовыми пакетами и чувствует, как ей все лучше и лучше становится. Вот уже почти хорошо стало. Мысль об утраченной работе еще недавно была горька Тамаре Михайловне, только теперь, когда ее потребность-востребованность устами Бориса Юрьевича так четко артикулировалась, пресловутому «осадку» нет больше места в душе. А еще ей нравится осознавать себя незлопамятной.



Продуктовая ноша имеет свой вес, но Тамара Михайловна не идет кратчайшим путем, а сворачивает к дому восемь, чтобы пройти через проходной двор и получше, потщательнее, пока не стемнело, ознакомиться с опытом установки табличек.

Двор ничуть не больше, чем двор Тамары Михайловны, а газон посреди двора мало того что меньше, чем у нее под окнами, он еще и единственный. Между тем табличек две, по обеим сторонам опять же единственного дерева, и обе обращены в одну сторону.

На газоне буро-желтые листья лежат, ходит по ним ворона, и не замечает Тамара Михайловна, сколько ни глядит на газон, никаких экскрементов.

Вот это порядок.

Подошла поближе к одной из табличек и глядит на нее, какая она.

Табличка на колышке — кажется, пластиковая, но, возможно, это оцинкованный металл (Тамара Михайловна не хочет перешагивать через оградку). Черными буквами на желтом фоне — лапидарно и ёмко:

ВЫГУЛ
СОБАК
ЗАПРЕЩЕН!

Единственное, что не нравится Тамаре Михайловне, — восклицательный знак. Можно было бы обойтись без него. Табличка должна сообщать или, лучше, напоминать о необходимости поступиться свободой ради порядка, но никак не приказывать. На вкус Тамары Михайловны, лучшая надпись: «Выгул собак неуместен» — во-первых, здесь удачно обыгрывалось бы слово «место», а во-вторых, любой бы здравомыслящий человек, оценив корректность интонации, воспринял содержание не как приказ, а как обращение к его совести. Тамара Михайловна против любых форм давления.

Направляясь к дому, она думает о силе слов убеждения, притом вполне отдает себе отчет в собственном прекраснодушии. Был бы мир таким, каким она его готова вообразить, не было бы и проблемы с хозяевами собак. Все-таки таблички изготавливают профессионалы, а они лучше знают, что надо писать, к кому и как обращаться.

Тамара Михайловна ценит во всем профессиональный подход.

При подъеме по лестнице ощущает, как всегда, тяжесть в ногах, а тут звонит телефон, ввергая в легкую панику. Тамаре Михайловне в конечном итоге удастся им овладеть, но пакет с рыбой все же падает на ступеньку.

— Алло!

— Тамара Михайловна, вы правы (это Лика звонит), вас больше не будут вставлять. Я говорила с начальством. Будете только там, где действительно будете принимать участие. Это мы вам обещаем.

— Да не надо мне ничего обещать. Я больше нигде не буду.

— А мы хотим вас как раз пригласить...

— Куда еще? Мы же договорились, кажется.

— Очень интересная передача будет. Как раз для вас.

— Нет, без меня. Мне некогда.

— Тот случай, когда без вас не получится.

— Не говорите глупости, Лика. Как это без меня не получится?

— Тамара Михайловна, все будет по-другому, нам очень интересно именно ваше мнение. С вами хочет переговорить сценарист. И лично Нехорошев просил передать, что он очень на вас рассчитывает...

— Стоп. Откуда меня знает Нехорошев? Ему до меня дела нет.

— Неправда. Я с ним о вас разговаривала. Вы его очень интересуете.

— Лика, я на лестнице стою. Можно потом?

— Конечно, обязательно, Тамара Михайловна.

Тамара Михайловна входит в квартиру.



Всем хорош, один недостаток — неблагодарный. Когда хочет есть — подлизал подлизой, а налопается — и даже не поглядит на тебя.

Но если пузо ему чесать, он будет доволен. А так — будто нет тебя, будто не существуешь.

— Ну, скажи, что я не права. Даже очень права! Стыдно? Куда пошел?

Но Лёпа на сытый желудок общаться не любит, оставляет хозяйку одну на кухне.

Тамара Михайловна размещает на сушилке с поддоном только что вымытую посуду — тарелку, чашку, блюдо, вилку, ложку и нож. Каждому предмету свое место. А Лёпину миску моет отдельно — место ее у стиральной машины. Теперь Тамара Михайловна готова заняться холодильником, именно — морозильной камерой. Морозилка у Тамары Михайловны забита мятой газетой — холодильнику это надо для экономии его энергии. Если в морозилке лежат продукты, они, замерзнув, долго держат холод, значит, когда после отключения холодильник снова включается, ему требуется меньше энергии дозаморозить то, что уже отморозилось. А если в морозилке пусто, он и будет работать на воздух — чаще включаться и выключаться. Поэтому, чтобы морозилка не была пустой, умные люди ее набивают мятой газетой. Газета замерзает и держит мороз. Тут все дело, по-видимому, во взаимосвязи массы продуктов и их теплоемкости. Тамара Михайловна специалист в иной области. Может, она и не все понимает в этой физике заморозок, но с практической точки зрения она совершенно права в том, что набивает морозилку газетами.

Она решила их заменить. Просто у нее накопились газеты. С практической точки зрения менять уже замороженные газеты на свежие, в смысле, теплые, пользы для холодильника нет никакой, и Тамара Михайловна это сама понимает. Но почему бы и нет? Просто ей захотелось небольшой перемены. Ведь надо что-то с холодильником делать.

Вечер проходит в заботах по дому.

Телевизор у нее работает в комнате, а про телевизионщиков она совершенно забыла. А тут звонок. (В этот момент Тамара Михайловна подгибает занавески снизу, они по полу волочатся, а Лёпа дергает их.) Оставив иголку в занавеске, берет мобильник.

— Здравствуйте, Тамара Михайловна, меня Марина зовут, мне Лика дала ваш телефон, я работаю у Леонида Нехорошева над сценарием. Вы можете говорить?

— В принципе, да, — неуверенно произносит Тамара Михайловна, вспоминая, на чем они с Ликой расстались (разве она не сказала ей «нет?»).

— Мы бы могли встретиться где вам удобно, или вы хотите по телефону?

— Да я, собственно, ничего не хочу, это вам что-то надо.

— Тамара Михайловна, вам будет предоставлено место на диване у Нехорошева, и мы ждем от вас прямых высказываний по теме передачи. Вы будете одним из главных гостей. Что нас интересует?.. Ваш взгляд. Как вы сами, вот именно вы, вы — лично, Тамара Михайловна, относитесь к этому. Можно ли об этом сказать «судьба», стечение ли это жизненных обстоятельств, или это исключительно сознательный выбор? Вот что-нибудь в таком плане. Да? Нам хочется, чтобы вы активно участвовали в дискуссии.

— Простите, я не совсем понимаю. О чем передача?

— А вам разве Лика не сказала? Передача называется «Плохо ли быть старой девой?». Ну, название, вы сами понимаете, провокативное... Мы очень рассчитываем на вашу помощь.

Тамара Михайловна в ответ выдавила что-то кратковзвучное, не передаваемое на письме.

— Судя по вашей внешности, — продолжает Марина, — при всем ее своеобразии, вы же в молодости были привлекательной женщиной, с шармом, я правильно



говоря? Наверняка, за вами кто-нибудь приударял. Может быть, вы сами в кого-нибудь влюблялись. Нет? Ни в кого не влюблялись? Вот есть определенная часть женщин данной категории, которые в силу завышенной самооценки в молодые годы отвергают мужчин как недостойных, ждут принца и все такое, а потом получают то, что получают, я имею в виду тех, кто ничего не получает. Вы относитесь к этим женщинам? Или вы все же другая? И в целом, как вы к этим женщинам относитесь, хотелось бы нам узнать. Как вы вообще к этой проблеме относитесь...

— Вы меня не знаете... — глухо отзывается Тамара Михайловна.

— Конечно, не знаю. Поэтому и задаю вопросы. Нам нужен взгляд изнутри феномена, понимаете? И еще хотелось бы узнать... но это уже деликатный вопрос... как...

Тамара Михайловна прерывает связь. Более того — торопливо отключает мобильник. О, как хочется выкинуть его сейчас же в окно! — только Тамара Михайловна себя в руках умеет держать и поэтому бросает мобильник на кресло, а сверху подушку кладет. И отходит прочь от кресла. К дверям. И в дверь — в прихожую. И на кухню.

Машка, дура, про нее рассказала, это она, она. Предательница. Позвонить племяннице — но тут же решает не звонить: сама мысль о телефоне ей отвратительна.

Тамара Михайловна стоит у холодильника, и ей кажется, что кухонная утварь за ней согладала, а всего бесстыднее — чайник с плиты, обратив в ее сторону носик.

Тамара Михайловна выключает свет.

И сразу о себе напоминает будильник — хриплым, словно он наглотался пыли, не тик-так, а тик-тиком, тик-тиком.

Чем-нибудь заняться надо — определенно решительным.

Свет от окна падает на буфет.

Внезапно Тамара Михайловна догадывается, *что* сейчас за окном, и, стремительно подойдя к окну, видит, конечно, на газоне собаку. Светильник на кирпичной стене освещает неравномерно газон, собака предпочла самое светлое место. Это доberman из дома восемь, Тамара Михайловна знает. На нем стеганая курточка. Расставив задние лапы и вытянув шею, он устремляет свой взгляд прямо на Тамару Михайловну. Поводок от собаки ведет к женщине в длинном пальто. Не уберет, думает Тамара Михайловна.

Ошибки не будет: бросив окурок на газон, хозяйка уводит собаку.

— Так нельзя жить, Лёпа. Надо что-то делать. Так нельзя.

Лёпа молчит, но Тамара Михайловна и без него знает, как ей быть. Зажигает свет в прихожей и достает из-под вешалки ящик с инструментами.

Там их три, инструмента, — названия двух ей не известны, а третий есть молоток.

Одевшись, Тамара Михайловна покидает квартиру с молотком и полиэтиленовым мешком для мусора.

Двор дома номер восемь в темное время суток освещается главным образом за счет света в окнах, то есть почти никак. Еще только начало двенадцатого, и автомобили, которыми тут все заставлено, отражают отблесками с кузовов едва ли не половину окон двора, а прямоугольный газон, однако же, зияет, как большая дыра, провал в пропасть, и никого нет во дворе, кроме Тамары Михайловны.

Это потому, что нет скамеек, думает Тамара Михайловна, прислушиваясь. В одной из квартир заплакал ребенок, откуда-то донесся характерно кухонный звук. Нет, не поэтому, возражает сама себе Тамара Михайловна: у нее во дворе четыре скамейки, но алкоголики только летом сидят по ночам, а в октябре уже холодно, не посидишь.

Обычно после десяти она не выходит на улицу. А тут одна во дворе, в темноте...



Странно стоять ей одной во дворе, да еще и в чужом — стоять и прислушиваться. Понимает, что здесь бы жить не хотела. Всего одно дерево, и гораздо больше машин, чем у нее, и нет окон на дальней стене, а что она есть, эта стена, этот брендмауэр, надо еще в темноте присмотреться. Все-все тут чужое. Все-все не свое.

Перешагнув оградку, она быстро подходит к той табличке, которую решила для себя считать второй, а не первой.

Ей даже не приходится поддевать молотком — потянула рукой за колышек и вытащила из земли. Опустила табличку вниз табличкой в пакет для мусора.

Никем не замеченная, быстро идет в подворотню — чужой двор уже за спиной.

Из черного пакета для мусора только колышек выглядывает, Тамара Михайловна пересекла улицу, и вот она уже у себя во дворе.

Больше ее газон не будет собачьим. Бьет по колышку молотком раза четыре, пять от силы, не больше.

Колышек входит в землю прекрасно.

Тамара Михайловна довольна работой. Табличка — не только табличка с нужными и убедительными словами (в этом ей не откажешь), но она еще и помимо слов перегородила зазор между оградкой и трансформаторной будкой: теперь и безграмотный, и иностранец, и полуслепой — никто на свете не сможет впустить собаку.

Тамаре Михайловне дома опять хорошо. Чайник повеселел и задирает носик приветливо.

Тамара Михайловна глядит в окно и видит табличку. Так бы всё и стояла, так бы всё и ждала, когда приведут.

Очень правильное решение. А вы все дураки.

Тамара Михайловна довольна поступком. Жалко только, никто уже не выводит, не приводит собак, а то бы она посмотрела. Не хочется отходить от окна. Решает полить своего Бенджамина. По графику надобно завтра (полив через день), но что-то земля как будто сухая. Опрыскала листья, увлажнила почву. Сказала: «Пей, пей!»

Маша поздно ложится — захотелось ей рассказать, но, вспомнив про старую деву, передумывает звонить племяннице. Лучше Лёпе расскажет.

Вспомнила, как доктор Стругач однажды ей говорила, что среди своих пациентов она их вычисляет мгновенно — по умному живому взгляду, по рациональности высказываний и трезвому отношению к себе. Даже в старости их тела крепче и моложе, чем у тех, кто рожал и отдавал себя мужу.

Постановила наградить себя маленькой рюмочкой кагора. У нее в буфете уже полгода открытый кагор стоит, и ведь пробует иногда, а он так и не убывает.

На стеллажах у Тамары Михайловны содержатся книги. Собрания сочинений (Пушкин, Флобер, Конан Дойл, Эренбург, Двоеглазов...) и вообще литература, а также много книг по работе (по бывшей): в целом по микробиологии, и в частности — пищевых производств. Труды конференций. Книги про дрожжи. Книги про плесневые грибы. Что до грибов плесневых — они висят на стене. Под стеклом, в рамочке — снимок представителя одного из родов аспергилла (ударенье на «и») — макро-фото. Не картинка, а просто симфония. Невероятно красиво.

Это дар Тамаре Михайловне на ее юбилей от сослуживцев еще.

Тамара Михайловна когда смотрит на снимок, у нее отдыхают глаза.

Но сейчас она смотрит опять про коррупцию (очень много про это теперь), хотя и не о коррупции думает, а о чем-то неопределенно своем, о чем-то незъяснимо личном.

Смотрит Тамара Михайловна, ест вкусненькое и ощущает внутри себя необычность. Сначала ей кажется, что все очень просто — просто все хорошо, хотя и не



совсем обычно, а потом ей кажется, что все хорошо, но не просто, и необычность именно в этом. А теперь у нее ощущение, что прежние ощущения были обманчивыми, и не так все хорошо, и даже нехорошо вовсе.

Вероятно, причина все-таки не в ней, а вовне все-таки — в телевизоре. Грустные вещи, тяжелые вещи, а главное — непонятные вещи сообщает ей телевизор. Можно ли ощущать «хорошо», когда говорят о предметах и действиях непостижимых?

Украсть полтора миллиарда.

Документальный фильм о нечестных чиновниках, умыкнувших из бюджета полтора миллиарда. Что-то там про оффшор. Что-то там про преступные схемы хищений.

Тамара Михайловна даже вникнуть боится в преступные схемы хищений, объяснить ей которые помышляют авторы фильма, — не хочет вникать, словно знание этих чудовищных схем что-то светлое внутри нее самой опоганит.

Но смотрит.

— Лёпа!.. Миллиард — это девять нулей!

Лёпе где уж понять.

— Не шесть ведь, а девять!

А когда переключает на другое, на комедийное что-то, нехорошее что-то все равно остается где-то в груди, чуть ниже гортани, и мешает смешное смотреть. Тамара Михайловна дисгармонию эту объясняет себе послевкусием разоблачений.

И она занимает себя решением текущих задач здорового быта и сангигиены.

Вот она стоит после душа в махровом халате перед книжными полками (никогда и ни за что она не выбросит книги!) и, прислушиваясь к своим ощущениям, с тревогой догадывается, что муторность эта соприродна ее существу, ее персональности, но никак не обстоятельствам внешнего мира.

Этому верить не очень приятно. На глаза попадают белые корешки Маршака. Нет последнего, четвертого тома. Четвертый том лет тридцать назад у нее кто-то взял и не вернул, а ведь там переводы с английского, Роберт Бернс и Шекспира сонеты. Она даже знает, кто взял. Незлопамятная, а ведь помнит об этом. И хотела б забыть, а ведь помнит. И ведь книги теперь никому не нужны, а все помнит, не может забыть. Так что вот. А вы говорите, полтора миллиарда.

— Лёпа, как так люди живут!

Наведенное настроение пришло в соответствие с исходной муторностью, и Тамара Михайловна ощутила, что найдено муторности оправдание.

И как будто не так уже стало тревожно.

Потому что понятно ей стало, что это такое: это вроде стыда — за других, за тех, кто чужое берет (хорошо ей знакомое чувство).

Под одеялом, лежа на правом боку, Тамара Михайловна все о том же думает. Пытается представить полтора миллиарда чем-нибудь зримым и осязаемым. Вспоминает передачу, в которой ее сегодня днем показали — «Так ли плохо воровать?». Дурацкий вопрос. Разве можно так спрашивать? Потому и воруют. Потому и воруют, что никто не спрашивает, как надо. Если спрашивают, то не то и не так. А вам бы только названия провокативные изобретать... Лишь бы с вывертом да не по-человечески... Чему же теперь удивляться? Тамара Михайловна одному удивляется: когда маленькими были те вороватые чиновники, мама разве им не говорила, что нельзя брать чужое? Тамара Михайловна, засыпая, вспоминает маму и себя маленькую. Она хочет вспомнить, как мама ей говорила, что нельзя брать чужое, но вспоминается, как в лодке плывут и собирают кувшинки. Никогда, никогда в жизни не брала чужого. И тут вдруг — щёлк:

— Брала!

Тамара Михайловна глаза открыла. Почувствовала, как похолодела спина. Как стали ноги неметь. Испугалась даже.



Тут же мобилизовался внутренний адвокат: брось, Томка, ты это чего? — это же совсем другой случай.

Да как же другой, когда именно тот?

И никакой не «именно тот». Все ты правильно сделала. Ведь должно все по справедливости быть. А разве справедливо, что к ним никто не ходит во двор, и все собаки — исключительно к нам?

Но, простите, так ведь нельзя. Это же последнее дело — за счет других свои проблемы решать. Разве так поступают интеллигентные люди?

И совсем не «за счет». Им от этого хуже не стало. У них целых две было таблички, на одном практически месте. Просто, Томочка, ты устранила нелепость.

Отговорочки. Нет!

Роняя на пол одеяло, села на край кровати, а в висках у нее кровью стучит:

— Нет! Нет! Нет!

И понимает она, что муторность, которой хотела найти детерминацию, только тем и детерминирована, что это ее личная муторность. И что стыд, он не за других у нее, а за себя саму.

Хотя бы раз в жизни взяла бы она чужое что-нибудь — какой-нибудь карандаш, какую-нибудь стирательную резинку, — тогда бы и это присвоение можно было проще перенести. Но Тамара Михайловна даже совочка в песочнице без спросу не брала ни разу, не было такого! И вдруг!.. Это же морок на нее нашел какой-то...

Надев кофту на ночную рубашку, Тамара Михайловна идет на кухню пить валерьянку.

Зябко. Нехорошо.

Внутренний адвокат еще пытается вякать. В том духе, что не сами же две таблички себе установили парочкой, это просто ошибка каких-то высших распорядительных инстанций, а Тамара Михайловна ошибку исправила, и не переживать ей надо сейчас, но гордиться собой. Только:

— Нет! Нет! Нет! — стучит кровью в висках.

Маша поздно ложится — надо ей позвонить.

— Машенька, как у тебя, все ли у тебя хорошо?

— Тетя Тома, что-то случилось?

— Ничего не случилось. Просто ты не звонишь, и я беспокоюсь.

— В три часа ночи?

— Как в три? Не может быть три... Двенадцать!

— Тетя Тома, у тебя что с голосом?

— Действительно, три. Извини. Что-то нашло на меня... Да, кстати. Зачем ты им сказала, что я старая дева? Кому какое дело у кого какая частная жизнь? Что это за манера вмешиваться в чужие дела?..

— Подожди, я выйду в коридор...

— Ты не дома?

— Почему я не дома?

— Ты никогда не называешь прихожую коридором.

— Я дома. И я ничего плохого о тебе не сказала. Им нужен был определенный типаж. Образованная женщина, владеющая языком. Они этим и заинтересовались, что ты микробиолог, специалист по дрожжам, а уже только потом, что ты... как ты говоришь, старая дева. Ну, да. А что? Мы все разные. И это нормально.

— Ты меня подставила, Маша.

— Тетя Тома, извини, если так. Мне всегда казалось, что ты сама над этим поспеивалась. И потом, что в этом такого? Посмотри на гомосексуалистов, они сейчас каминаут объявляют, один за другим. Ты знаешь, что такое каминаут?

— Маша, ты куришь.

— Не курю.



- Мне показалось, ты щелкнула зажигалкой.
- А если бы и курила, то что?
- Это ужасно. Она со мной разговаривала возмутительным тоном.
- Лица?
- Нет... как ее... Марина. Сценарист.
- Ну, так и послала бы на три буквы.
- Я так и сделала.
- Молодец.
- Семнадцатого октября был день памяти твоей мамы. Ты ведь забыла.
- Я не забыла. Я ее помянула. Одна.
- А почему мне не позвонила?
- А почему ты мне не позвонила? Она тебе сестра, точно также как мне — мама.
- Не вижу логики. Ну, ладно. Но на кладбище ты не была.
- Откуда знаешь?
- Знаю. Я и на бабушкину могилку ходила. Ты, наверное, забыла, где бабушкина могила?
- И поэтому ты мне звонишь в три часа ночи?
- Подожди... Один вопрос... Послушай, Машенька, я тут хотела спросить... скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь брала чужое?..
- Тетя Тома, ты пьяная?
- Нет, я знаю, что нет, но хотя бы мысль появлялась... взять... ну и взять?
- В смысле — украсть?
- Ну, грубо говоря, да. Хотя я знаю, что ты — нет.
- Да почему же нет? Я вот однажды черные очки украла. Дешевые, правда, копеечные, но украла.
- Врешь.
- На рынке. Там у торговца сотни очков висели, подделки китайские. Мне и не нужны были. Просто так украла. Потом выбросила.
- Ты хочешь сказать, что ты клептоманка?
- Нет. Просто украла.
- Не верю. Не верю, Маша.
- А у тебя в детстве мелочь из кармана таскала.
- Зачем ты на себя наговариваешь? Это ж неправда!
- А почему неправда? Все дети мелочь у взрослых таскают.
- Неправда! Никто не таскает. Только те таскают, кто потом миллиарды таскает, из таких и получаются потом... а нормальные дети не будут таскать!.. И ты не таскала!
- В классе четвертом... в пятом... Было дело — таскала.
- Да ты девочка с бантом была! Ты в четвертом классе Блока наизусть читала! Думаешь, я совсем из ума выжила?
- Тетя Тома, ты спросила — я ответила.
- Ладно. Спи. Спокойной ночи.

Ну что за дрянная девчонка! Решила над теткой поиздеваться... Тамара Михайловна прекрасно помнит, какие акварели рисовала Машенька в четвертом классе, выставляли на выставке в школе и даже отправляли в другой город на выставку. И это она, тетя Тома, заставила сестру перевести дочку в школу с испанским. А теперь будет Машенька ей говорить, что воришкой была!

Тамара Михайловна садится за семейный альбом. Вот сестрица в ситцевом платье, она тут — как Машка сегодня. Одно лицо, фигура одна — это за год до замужества ее, за три года до Машкиного рожденья. А вот маленькая Томочка вместе со своей сестренкой в лодке сидит, обе в панамках, мама на веслах, и собирают кувшинки. Отец с берега снимал на пленочный аппарат «Зоркий».



Тамара Михайловна вспомнила за собой грех. Как все-таки однажды взяла чужое. У бабушки в круглой коробке лежали пять селекционных фасолин, привезенных с другого конца света, — он ужасно дорожил ими и называл каким-то научным словом. Однажды она с сестрицей, маленькие были, утащили из коробочки по одной фасолине. И решили в саду за сараем эти фасолины съесть. Но фасолины были жесткие и невкусные, и пришлось их выплюнуть прямо в крапиву.

А потом, с грехом пополам (грех-то один на двоих), старались послушными быть, обе ждали, когда их накажут. Но все обошлось. Почему-то.

Тамара Михайловна потому и забыла об этом, что обошлось — почему-то. А теперь вспомнила.

Вспомнила, что ее не ругали. Ее вообще редко ругали.

Окно приоткрыла — что-то трудно дышать.

По крыше трансформаторной будки голуби ходят. Светает.

Получается, ночью был дождь, потому что мокрый асфальт, но Тамара Михайловна это событие пропустила. И земля на газонах, и листья, и воздух — все сырое, но ей не сыро — свежо. Кожей лица ощущается свежесть. И дышится, как только утром и может дышаться.

Во двор дома восемь она вошла не таясь. В левой руке держит табличку: «Выгул собак запрещен!» С каждым шагом ей лучше, свободней.

Широкий брандмауэр убедительно целостен, труба котельной убедительно высока. Дерево — как веник большой, поставленный вверх потрепанным помелом: листья опали — убедительна осень. Много машин во дворе, в одной, у газона, греют мотор, но не волнует Тамару Михайловну людское присутствие. Чем ближе газон, тем свободнее шаг, тем чище и чаще дыханье.

На мокрые листья, перешагнув оградку, ступает Тамара Михайловна и скоро находит исходное место — вставляет табличку туда, где табличка была. С первым же — и единственным — ударом молотка ее молнией пронзает почти что восторг — острое ощущение счастья: свободна, свободна!

— Эй! Вы чего делаете?.. Я вам!..

Тамара Михайловна оборачивается: метр с кепкой, с усами. Лицо неприветливое. Он нарочно вылез из заведенной машины, чтобы это сказать.

— Здесь уже есть одна! Глаза протрите. Не видите?

— Не надо нервничать, — говорит ему как можно спокойнее Тамара Михайловна. — Эта табличка отсюда.

— Откуда отсюда? Вон же — рядом. Сколько надо еще?

— Вы, наверное, живете не в этом дворе. Иначе бы вы знали, что еще вчера здесь было две таблички.

— Да я тут десять лет живу! Всегда одна была!

— Вы лжете!

— Я лгу? Вы что — идиотка? Зачем вы вбиваете сюда вторую табличку? Перестаньте придуриваться! И одной много!

— Кто вам дал право разговаривать со мной таким тоном? Вы думаете, я не умею за себя постоять? Эта табличка не вам принадлежит, а двору в целом! И не нам с вами решать, сколько должно здесь быть табличек!..

И — чтобы знал — твердо ему:

— Две! И только две! Таков здешний порядок!

Метр с кепкой взревел:

— Нет, я так не могу! У меня уже сил моих нет! Достали!..

И подбегает к табличке.

— Только попробуй выдернуть!.. Не ты ее воткнул, и не тебе выдергивать!

Послушался — отступил на два шага, уставился на Тамару Михайловну. А Тамара Михайловна торжествующе произносит громкое, непререкаемое, победное:

— Вот!

И поворачивается спиной к субъекту, чтобы приступить к уверенному уходу, но перед глазами ее образуется с большими персями длинноволосая русалка, без вкуса и меры нанесенная на кузов иномарки. Тамара Михайловна замирает на месте, узнав машину. Так вот это кто! Будто грязью опять обдало. Обернулась — бросить в лицо ему, врагу пешеходов, приверженцу гонок по лужам — как презирает его за его же презрение к людям, — обернулась, а этот уже не здесь. А этот подлец — видит она — к помойке шагает — с противособачьей табличкой в руке.

— Стоять! Не сметь!

Но табличка летит в мусорный бак.

— Ах ты, кобель! — кричит Тамара Михайловна и что было силы бьет молотком (у нее же в правой руке молоток) по фаре автомобиля.

Ярость ее и вид летящих осколков стекла сейчас для нее неразличимы, словно осколки летят в ее голове, и в эту бесконечную долю секунды она успевает и ужаснуться, и изумиться, и восхититься собой.

Мат-перемат. У, как она этого не любит!.. Он бежит, размахивая кулаками — Тамара Михайловна обращается к нему лицом, и пусть он не тарасит глаза — она его не боится.

Она даже не бьет молотком, она просто тыркает молотком вперед, а он сам ударяет кулаком по молотку и, взвизгнув, отпрыгивает. Не ожидал.

Тамара Михайловна крепко держит в руке молоток — у нее не выбьешь из руки молоток. А этот сейчас особо опасен — у него от злобы понижен болевой порог. Вот он разжал кулаки и растопырил пальцы — в надежде, может быть, придушить Тамару Михайловну или хотя бы обезоружить. Только она сама наступает. Он не настолько ловок, чтобы, когда она промахивается, схватить ее руку, и получает, попятившись, по запястью. И тогда он обращается в бегство, но в странное бегство. Он оббегает сзади машину, и, открыв с той стороны переднюю дверцу, прячется от Тамары Михайловны у себя в салоне — ему словно не руку ушибло, а отшибло мозги. А Тамара Михайловна бьет и бьет молотком по капоту.

А потом по русалке — получай по русалке, кобель!.. А потом опять по капоту!

Сейчас что есть мочи — таков замах — ударит по лобовому стеклу, — и, подняв руку, она видит гримасу ужаса на лице ушибленного врага, и бьет, но промахивается: молоток скользит по крыше автомобиля, рука, следуя за ним, разворачивает Тамару Михайловну лицом к подворотне, и Тамара Михайловна, оставив все как есть, бесповоротно уходит.

Кровь стучит в висках:

— Да. Да. Да.

Тамара Михайловна — сама не своя. Своя — только когда сознание фиксирует реальности клоки. Как переходит улицу на красный свет, как минует бомжа с бородой, и еще запомнится зонтик, резко уступивший дорогу. Сильно дрожащий, не способный попасть, ригельный ключ. Лёпа глядит на нее непомерно огромными глазами.

Покачиваясь, Тамара Михайловна сидит на краю кровати и прижимает к сердцу зеленого цыпленка, с которым когда-то играла Машенька. Дождь стучит по карнизу. Кричит дворник на чужом языке.

Невероятная усталость накатывает на нее волной. Она падает на бок и сразу же засыпает.

Ей снятся дрожжи. Много, много дрожжей.

Бахыт КЕНЖЕЕВ

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Я уеду, ей-богу, уеду
к морю синему, чистому свету,
буду ветру, как в юности, рад.
Я проснусь и прослаблю, уехав,
шум платанов и грецких орехов,
рев прибоя, ночной виноград.

Будет ночь бриллиантовой сажей
покрывать каменистые пляжи,
будут пары гулять допоздна.
И подобием Божьего глаза
над тяжелым каскадом Кавказа
подмигнет золотая луна.

Я уеду, конечно, уеду
превращать поражение в победу
и, погибнув, вернуться потом.
От обиды и горечи воя,
пролечу над холодной Москвою,
прокручусь тополиным листом.

Неужели надеяться поздно?
Звезды светятся ровно и розно,
отгорели мои корабли.
Снится мне обнаженное море,
просыпаюсь от счастья и боли —
это пройдено, это — вдали.

Это — в прошлом, а я — в настоящем,
в ледяном одиночестве спящем,
да и море мое далеко.

Словно детство — прохладно и трудно
где-то в будущем светится чудно
голубое его молоко.

И пока я с пером и бумагой —
бродит ветер приبلудной дворянкой
берегами твердеющих рек.
И ползет, и кружит, и взлетает,
и к губам человека взметает
пресноводный нетающий снег.

1985

* * *

Я почти разучился смеяться по пустякам,
как умел, бывало, сжимая в правой стакан
с горячительным, в левой же — нечто типа
бутерброда со шпротой или соленого огурца,
полагая, что мир продолжается без конца,
без элиотовского (так в переводе) всхлипа.

И друзья мои посерьезнели, даже не пьют вина,
ни зеленого, ни крепленого, ни хрена.
Как пригубят сухого, так и отставят. Морды у них помяты.
И колеблется винноцветная гладь, выгибается вверх мениск
на границе воды и воздуха, как бесполезный иск
в европейский, допустим, суд по правам примата.

На компьютере — тихий Шуберт. Окрашен закат в цвета
побежалости. Воин невидимый неспроста
по инерции машет бесплотным мечом в валгалле.
Жизнь сворачивается, как вытершийся ковер
перед переездом. Торопят грузчики. Из-за гор
вылетал нам на помощь ангел, но мы его проморгали.

2013



Валерий КАЗАКОВ

ОТ БАТУРЫ ДО БАТУРЫ

Главы из книги

Посвящается Могилеву и его жителям

ГЛАВНОЕ — РЕШИТЬСЯ

Когда холодный ветер выстудит небеса и румяное от мороза солнце заскребет по заиндевелому стеклу подслеповатого оконца, за печью завозится мышь, а неугомонный сверчок на какое-то время прервет свою монотонную песню; когда глуповатый котенок в погоне за лишь ему ведомой тенью опрометью пробежит по небольшой лужице натаявшего снега у недавно принесенных из дровника крупных березовых поленьев и, потрясывая лапками, нырнет на твой низкий топчан, только тогда, отложив в сторону отяжелевшую книжку, ты очнешься и поймешь, что уже вечер и пора начинать писать свои истории.

А может, за окнами будет другая погода и не будет ни котенка, ни печки, а лишь белесый экран компьютера, лампадка напротив, внимательные и добрые глаза Христа и тишина городского кабинета.

А может, легкий ветер будет хлопать синим тентом над белым балконом, висящим над ласковым морем, и где-то далеко будут галдеть чайки, указывая рыбакам косяки мелкой и вкусной рыбешки.

А может, по подоконнику будет барабанить надоедливый дождь, а голые, корявые ветви огромного столетнего дуба будут пытаться продрать низкие серые облака и выпустить на истосковавшуюся землю солнечный свет.

А может, это будет затерявшийся на краю белорусской земли хутор, и перед твоим окном будут мирно бродить ручные косули в ожидании хрустящих городских баранок.

А может, а может, а может быть очень по-разному, но я должен, даже обязан написать эти эссеистые мемуарики. Я люблю мою Могилевщину, мою Беларусь — последнюю незамутненную криницу Бога, а главное — мне есть кому писать эту книгу. Как-то сами собой навернулись неожиданные стихи:

Я знаю, Могилеву тыща лет,
И пусть заткнутся грамотей,
Я право Божие имею,
Презрев, не слушать их ученый бред.



Ты сквозь века веков, как исполин,
 Как духа вольная твердыня,
 Несешь прославленное имя,
 И я пою его, твой верный сын.
 На грани двух враждующих миров
 Ты держишь арки небосвода
 И дух единого народа
 Хранишь в себе, мой вечный Могилев!
 Седому Могилеву тыща лет,
 О том нам Днепр в веках глаголет,
 И Матерь Божья Сына молит:
 «Храни, храни его от новых бед!»

БАТУРА

Идея этой книги родилась совершенно спонтанно. Где-то лет двенадцать назад я приехал в свой родной Могилев и удивился творящимся здесь переменам. Последний раз, насколько я помню, железнодорожный вокзал капитально отремонтировали и драили еще пленные немцы. Первомайскую, самую главную и длинную улицу города, принялись латать асфальтом, лишая привычных выбоин. С фасадов старинных домов не только ободрали дрянную штукатурку, но привели их в первозданный вид, выкрасили хорошими фасадными красками, при этом колонны, декоративные оформления окон, восстановленная лепнина были, как и подобает, оттенены светлым колером. Люди на автобусных остановках повеселели, что ли. Мужики стали вроде добрее, женщины и девушки красивее. Над всей областью, а не только над ее центром, завращались башенные краны, даже извечно непрезентабельный внешний вид здешних сельских угодий — и тот стал радовать глаз. Одним словом, что-то кардинально изменилось на моей малой родине.

Жизнь — она великая штука и телевизор не смотрит. Сколько ни надрывайся, призывая к улучшению демографической ситуации, жизнь глуха к подобным стенаниям. Но стоит достатку появиться в домах, а не в статистических отчетах, как уже окрестные скверы и парки полны детских колясок, и вам навстречу все чаще попадаются самые прекрасные в мире женщины, несущие в себе свет будущей жизни, нашего с вами будущего.

Видя всю эту необычайность, я пристал с расспросами к сестре, в отличие от меня почти безвыездно живущей в родном городе.

— Так у нас же теперь губернатором Батура, — с какой-то неожиданной гордостью сказала она и принялась рассказывать и вовсе необычные для здешних мест вещи. Губернатор заставил привести в порядок городские кладбища, огородил, отремонтировал подъезды к ним, за три месяца открыл памятник воинам-афганцам, учредил пешеходную улицу с площадью звезд, получил разрешение Минска на восстановление городской ратуши. Сам мотается по области туда-сюда, совещания проводит не только в своем кабинете, но и в поле, на стадионе, в театре, в школе или больнице. Одним словом, чудеса да и только!

К тому времени я уже не жил в родных местах ровно тридцать лет, хоть и приезжал часто, но города как-то не замечал, гостил пару дней и спешил побыстрее уехать. Серым он был, как мышинового цвета памятник Ленину на площади Ленина, в городе, где Ленина никогда не было. За спиной высокой статуи низкорослого человека серым полукругом вздымалось грандиозное здание областной власти — Дом советов, точная копия минского оригинала, немое свидетельство патологического страха большевиков перед своими коричневыми побратимами. Подкармливая немецкий фашизм, мудрая сталинская власть не только строила индустрию на Востоке, в том числе и бесплатными руками белорусских рабов ГУЛАГа, но и, забываясь о своем



комфорте, возводила за Уралом красивые города, перепадало что-то и нацкомам. В какое-то время по рекомендации Дракулы белорусского народа Лаврентия Цанавы, опасавшегося близости западной границы, проходящей всего в нескольких десятках километров от Минска, было принято решение о переносе столицы Беларуси в Могилев. И вот с берегов Свислочи на берега Днепра стали перекочевывать двойники столичной помпезности. Так, расчистив для себя пространство от старинных построек, в центре нашего города и появился памятник сталинской градостроительной безликости. Мрачный, исполинский и суровый, как шинель чекиста, дом возвышался нелюдимо и пугающе. Машины по площади не ездили, люди без особой нужды не ходили. Старался не ходить там и я.

Где бы я ни служил в России, какие бы должности ни занимал, желания встретиться с местной властью и знакомиться с ней у меня ни разу не возникало. Я был убежден, что на серой площади в сером доме обитают серые люди, превратившие город моего детства в безликое пыльное поселение с кислым пивом, плохим футболом, всегда переполненными автобусами, сплевывающей подсолнечную шелуху молодежью, населенное людьми с навсегда испуганными глазами. Однако после разговора с сестрой я решительно побрился, что в отпуске со мной случается крайне редко, съездил в городской, пугающий своей унылой совковостью универмаг, выбрал столь же советского покроя костюм, местного пошива рубашку, которая, сколько ее ни гладь, все равно остается мятой, уже не помню какой галстук — и отправился знакомиться с этим самым таинственным Батурой.

Описывать свои добрые отношения с этим замечательным человеком спешить не буду, всему свое время, но именно в тот день я решил, что когда-нибудь напишу о нем книгу. Позже, лучше узнав могилевского губернатора, убедился, что книгу о себе Борис Васильевич не воспримет, виду не подаст, кисло улыбнется, скромно поблагодарит и засунет ее куда-нибудь с глаз подальше. Писать надо не о нем, а о его величестве Могилеве, воскресшем из серого небытия во многом благодаря энергии и воле этого человека. Так появилась первая точка опоры моей книги — современный Батура.

Вторая уже имелась — легкие, почти воздушные словесные акварельки — зарисовки из моей собственной жизни, призванные связать мой спрессованный обложками труд в монолит.

Прозаик я относительно недавний, моя первая книга прозы вышла всего лишь семь лет назад. По мере того как я расписывался, меня все сильнее и сильнее тянуло к первоисточкам: к истории древней Славяно-Балтии, к легендам и былям летописных кривичей-радимичей, к великой средневековой Литве, которой и была прежде сегодняшняя Беларусь. Я запоем читал Владимира Короткевича, Всеволода Ивановского, Яна Борщевского, Владимира Орлова, Анатолия Тараса, Олега Трусова, часами слушал могилевского историка и краеведа Игоря Пушкина, бросал все и мчался на раскопки к гениальному археологу Игорю Марзолоку, лазил по белорусским замкам, городищам, церквям, костёлам и музеям. Я наверстывал упущенные знания. Меня все сильнее затягивало вглубь времени, где-то там жило нечто, должное стать еще одной, главной составляющей будущей книги. Нужна была третья точка опоры. Нашел я ее совершенно неожиданно однажды осенью у разбитых стен старинного замка в Гродно. Нашел благодаря талантливому поэту-барду Виктору Шалкевичу.

— Векапомные у нас мястины, Валерик! — говорил Виктор, разливая по стаканам горэлку. — Векапомные... Когда-то тут помирал великий Баторий...

Баторий! Вот оно! Стефан Баторий, король Польский и Великий князь Литовский, человек, давший моему родному Могилеву большое Магдебургское право и новый герб. Его тогда на Литве-Беларуси звали по-тутешному — Степан Батура.



Так и родилось название «От Батуры до Батуры», которое как нельзя более емко отражает и смысл книги, и ее содержание.

Книги, особенно такие, пишутся долго, неспешно, многие места переписываются, многие забываются или уступают место описаниям новых фактов и событий.

Ну, вот и книга еще толком не написалась, а ее главный герой — волей государственной необходимости — переведен в столицу на высокую должность. Должность сия во все времена и у всех народов называлась громко, даже очень, но проку в ней, на мой взгляд, большого не было, да и нет. Так, дань моде. Когда-то давно у играющих в тайны масонов родилась идея разделения власти, не любили они, эти смутьяны и конспираторы, единоначалия, данного Богом и одобренного народом. Вот и появилась на свет идея о якобы независимых и отделенных друг от друга ветвях власти: исполнительной, законодательной и судебной. На месте мощного векового древа зазеленел разлапистый куст с перепутанными ветками и корнями, а главное, ничего не видно, что там в этом кусте творится, шелестит он себе и горя не знает.

Назначили Бориса Васильевича руководить Парламентом страны. Охрану приставили, чтобы народ близко не подходил, и все прочее. Хотя здесь, в Беларуси, какая-то странная демократия: ни народные избранцы, ни начальники исполнительные не имеют даже первичных признаков торжества свобод: машины персональные — так себе, в России на такой порядочный мент постеснялся бы ездить. Да и странная какая-то атрибутика у белорусской власти. Мигалок нет, спецномеров нет, машин сопровождения по городу я ни у кого, кроме президента и автобусов с детишками, не видел. Охрана только у тех, кому положена по закону, да и то — один-два человека, движение транспорта для проезда премьер-министра, его замов и губернаторов не перекрывается. В магазине, в очереди в театр, на рынке можно встретить представителей всех уровней власти. Я не заливаю. Сам нос к носу как-то столкнулся в супермаркете с тогдашним главой администрации президента Владимиром Владимировичем Макеем. В другом магазине за мной в кассу стояли с тележками Борис Васильевичем Батура со своей женой Тамарой Ивановной, а Батура, как я уже говорил, был тогда главой национального Парламента республики. На одном из рынков встретился с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мясниковичем, он искал какую-то фурнитуру. Я уже не говорю о министрах, губернаторах, мэрах, с теми и в метро можно увидеться, вон, с сенатором Владимиром Ивановичем Пантюховым в троллейбусе пересекаюсь. Другого сенатора, Игоря Александровича Марзюлюка, на трассе раза три летом голосующего подбирал и подвозил к его археологическому раскопу. Поразительно, но ни одного белорусского депутата, ни одного сенатора в списках «Форбс» не значится. И главное, все эти государственные чины ходят в нерабочее время без охраны. А Европа на всех углах кричит: «диктатура, диктатура»!

Я даже в страшном сне не могу представить себе равновеликих представителей российской (и не только российской) власти в подобных обстоятельствах. К примеру, Медведева без охраны на Чертановском рынке или Матвиенко в гастрономе «Пятерочка»! А вы представляете?

Не долго мой герой просидел на законодательных хлебах, подался с мягких кресел обратно в губернаторы. На сей раз повезло Минской области.

У каждого человека в жизни бывают какие-то знаковые, определяющие события. Как капля росы, как горный кристалл отражает весь мир, так и эпизод этот фактически символизирует собой целую человеческую жизнь. Искал я такой кристалл и в жизни Бориса Васильевича, долго искал. И однажды Тамара Ивановна, добрейшая и хлебосольнейшая из белорусских хозяек, рассказала мне, как они с



Батурой в глубокой молодости на их первой машине взялись отвезти беременную подругу из Волковыска в Брест.

Машина была синяя, старая, почти сгнившая, чихала, чадила, но ехала. Машина была горбатым «Москвичом». Молодая и веселая компания тронулась в далекий и сложный по тем временам путь. И все бы хорошо, но случился дождь, дорога поплыла, а по дороге поплыла и машина, а впереди — затяжной подъем. И вот молодая чета впряглась в свое чудо советского автопрома. За рулем впервые в жизни беременная подруга, у которой вот-вот схватки начнутся, Тамара Ивановна сбоку толкает и подругу подбадривает, а Борис Васильевич сзади. И казалось, вот и до-толкали, вот она — вершина, а «Москвичонок», словно въюн в грязи, вертанулся и сполз к подножью холма. И так семь раз. Жена выбилась из сил, беременная плачет, а Батура один, злой и грязный, взволнок этот чертов «Москвич» на этот проклятый бугор. Короче, доездили они роженицу, оставшуюся дорогу потешались друг с друга.

Вот так и жизнь моего героя — толкать и толкать к вершине непомерный груз новой жизни.

Перевели Бориса Васильевича из Могилева, вскорости сменился и мэр города Виктор Иванович Шориков, но ни область, ни город не просели, не запаршивели. На смену пришли рачительные и надежные приемники: Петр Михайлович Рудник и Владимир Михайлович Цумарев. На них надеются люди нашего Поднепровского края, на них надеюсь и я.

ТАК МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ

Если ты родился в деревне, то город едва ли станет для тебя родным. Но мне повезло: внутри меня одинаково сильно зацепились и моя деревня, вернее, станционный поселок Реста, и областной центр, взгромоздившейся на крутом берегу мелеющего летом Днепра.

Первые воспоминания о Могилеве связаны с пивом, вернее, вкусом пива, которое мне дал попробовать из большой стеклянной кружки отец. Помню, что удержать эту непривычную сосудину самостоятельно я не мог, и батя, опасаясь, что я разолью возжеленную влагу, присел на корточки и поднес кружку к моему рту. Губы и нос обволокла противная лопающаяся пена, а рот заполнился, как мне показалось, тошнотворной, мыльной водой. Я с силой увернулся, выплюнул пиво и заплакал. Отца моя реакция огорчила, зато обрадовала маму. Пиво с тех пор, не-взирая на бурную офицерскую молодость, я не пил сорок лет.

Картинок улиц, площадей, каких-то достопримечательностей того восстанавливаемого пленными немцами города моя память не сохранила. Наверное, из-за того, что не только я, но и сами родители, как всякие сельские люди, особенно далеко от железнодорожного вокзала, около которого была отцовская работа, отходить особенно не решались. Хорошо помню привокзальный рынок, он еще кое-как жив и поныне, тенистые клены уже давно вырубленного привокзального сквера. Особое место в моей памяти, конечно же, занимают стаи безбилетников на крышах вагонов. Когда я их видел, меня охватывал панический страх. Мне казалось, что мама или отец обязательно потеряют билеты и нам придется, отмахиваясь от проводников и свистящих милиционеров, лезть на крышу. Слезы текли в два ручья. Я знал, что с крыши меня обязательно сдует. Страх этот мне внушил дед Никодим, авторитетно объяснивший, потрясая узловатым, с черной отметиной, пальцем, что детей с крыш поездов сдувает, как пух с ладони. При этом он тут же поймал гуся, выдернул из него серое перышко и наглядно продемонстрировал, как это произойдет.

Билеты тогда были — не чета нынешним: плотные, картонные, коричневатого цвета; они всегда имели определенную цену в детском обиходе. В деревне на них можно было выменять много дельных и нужных вещей. Однако по малолетству



своего персонального билета мне было не положено. Даже и сейчас помнится, как это было обидно. И билет мне доставался, как правило, только один — мамин. Отец ездил по своему годовому, как железнодорожник.

А еще на вокзале безногие калеки продавали глиняные свистульки, и самой козырной из них был — соловейка. Все прочие — просто дудели и сухо свистели, а соловейка, если в него налить воды, пел. Позже инвалиды куда-то разом пропали, а с ними и соловейки. Сколько я ни приставал к старшим с вопросами: «куда подевались веселые дядьки со свистками?», меня как будто не слышали и спешили увести от злосчастного скверика, на месте которого ныне автомобильная стоянка. Только уже весьма взрослым я узнал, что по приказу Хрущева всех покалеченных войной людей оперативно выловили по крупным городам и убрали с глаз долой. Места их скорбных поселений назывались громко: «Специальные интернаты для инвалидов», размещались они зачастую в бывших монастырях, откуда совсем недавно ушли по домам или на тот свет бывшие враги народа, а иногда — и вовсе в бывших лагерных бараках. Так стыдливая Родина и родная коммунистическая партия сполна отблагодарили своих защитников, которым ни великий Сталин, ни его железные маршалы счета никогда не вели.

Уже в девяностые годы я встретил остатки этого увечного, одичавшего племени на острове Валааме, когда по благословлению святейшего Патриарха Алексия началось возрождение одной из православных святынь — Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. Господи, во что был превращен «Северный Афон» советской властью и согнанными сюда людьми, которых все та же власть обратила в жалкое подобие человек! Сегодня обитель радениями игумена, епископа Панкратия, возрождена и голубиной куполов своего главного храма славит Бога и труды людские. Следует сказать, что с воскресением монастыря воскресли и души бывших интернатчиков, а также их детей — они прилежные прихожане.

Но вернемся к моему родному Могилеву. Конечно же, той старой свистульки у меня не сохранилось, но на какой-то из ярмарок, по-моему, в Новогрудке, я вдруг услышал залиvistую, слегка захлебывающуюся трель глиняного птаха, и теперь он всегда со мной. Когда совсем становится муторно на душе от действительности нашей олигархической, я, как шаман свой бубен, достаю соловейку, заливаю его водой или чем покрепче и — свищу на удивление жены, на радость дочке! Вы знаете, здорово помогает...

ВТОРОЙ КРЕСТ АПОСТОЛА АНДРЕЯ

1.

Темнело в здешних местах медленно, уроженец юга, он никак не мог к этому привыкнуть, порой казалось, что ночь никогда не наступит, а эта сумеречность, обращающая реальность в призраки, неожиданно прервется рассветом, так и не выпустив на небосвод луну со звездами. Он любил низкие звезды пустыни и гор, это клубящееся в бесконечности мерцание, которое своей тяжестью прогибалось бархат небесного мрака почти до самой земли. Прохладный и звенящий чистотой воздух ночной Галилеи, как его не хватает ему в этом обволакивающем весь мир тумане! Странные и таинственные земли лежали вокруг, неведомые и дикие, населенные разноязычными и враждующими между собой народами. Только широкая, величавая река неспешно катила свои воды в соленое море, связывая воедино пестрый мир побережных обитателей. От моря они и плыли.

Вездесущие греки помогли ему и трем его ученикам устроиться пассажирами на большую ладью в купеческом караване, отправляющемся на далекий север к жестоким и таинственным варягам. Плавание было трудным и опасным. Шли про-



тив течения, а оно местами бывало таким стремительным, что чуть оплошай кормчий — и тяжело груженное судно завертелось бы волчком, словно щепка, и полетело бы на предательские пороги или прибрежные камни, и только сила гребцов могла в этом случае спасти от неминуемой гибели. Андрей в такие минуты падал на колени и молился Спасителю, молился истово, забывая все на свете. Он, как никто иной, знал, что только такая молитва дойдет до сердца Того, с Кем он шел вместе, смерть и Воскресение Которого видел. Это Он научил его так молиться, и по словам воздавалось просящему. Ни гребцы, ни стражники, ни надменные купцы никогда не мешали Андрею говорить со своим Господином. А после «Диких порогов», которые преодолевали только волоком, и вовсе зауважали; даже те немногие из солдат, кто не упускал случая его задеть, позубоскалить, примолкли и смотрели с удивлением на странного иудея, пытающегося всякому встречному рассказать про своего Бога. На порогах случилось чудо, свидетелями которого были многие.

Тяжеленную ладью с помощью волов и экипажа вытащили на берег, взгромоздили на большущий помост, расклинили, расперли и укрепили канатами. Судно стояло высоко и гордо, упершись в помост веслами, смущая степную окрестность своей водоплавающей неестественностью. Хозяин и кормчий лично проверили все крепи и только после этого велели освободить толстые бревна, подведенные под настил. Сооружение дрогнуло и, слегка покачиваясь, поползло по широкой песчаной дороге в обход страшных камней, почти перегораживающих Борисфен. Тащили и толкали эту громадину все — и местные погонщики быков, и наемники, и гребцы, и пассажиры. Двигались медленно, не останавливаясь, все время перемещая освобожденные бревна вперед. Уже была видна небольшая заводь, к которой и тащили ладью, еще немножко усилий — и ее крепкий изогнутый кверху нос весело вспорет блестящую на солнце воду притихшей реки.

Несколько молодых людей шли позади и внимательно слушали Андрея, свидетельствующего о том, как Спаситель накормил пятью хлебами пять тысяч человек.

— Байки все это, — скептически хмыкнул пожилой наемник из римлян, поправляя веревочные лямки своего кожаного панциря, укрепленного узкими бронзовыми бляшками. — Я за свой век столько слышал рассказней о разных чудесах, что и со счета сбился, а вот видеть чуда ни разу не приходилось, потому как не бывает никаких чудес! Побасенки все это, а вам, иудеям, лишь бы только пустое молоть да доверчивым дурочкам головы морочить! — презрительно сплюнув, он пошел вперед.

— Солнечный человек! — позвал его рассказчик. — Не спеши, дослушай до конца и ты поверишь! Ибо говорящий о Спасителе не может врать.

— Дуболом, что ли, солнечный человек? — заржал проходивший мимо начальник стражи. — Да он же садист и убийца. В Македонии бросил дом, жену и двоих детей только ради того, чтобы волочиться по белу свету и убивать. Правда, Серпий?

— Истина твоя, командир! — оскалился, обернувшись, наемник. — Если и есть какой бог — то это Марс, а ты — лжец, плетешь про распятого еврея, да разве бог даст себя распять?

— Ты ошибаешься, солнечный человек! Тогда в Иерусалиме распяли Христа за всех нас, за все человечество, и в милости к нам, недостойным, Он не пожалел Сына Своего. Бог — это добро и радость...

— Да какое же добро, если он Сына отдал на распятие? Жестокий у тебя Бог, иудей, выходит...

— Берегись! Берегись! Зашибет!

Громкие крики прервали их спор. Платформа с ладьей переваливала через небольшой пригорок, волов уже выпрягли, у бортов стояли люди, готовые выбить крепления, длинные веревки справа и слева были вынесены далеко вперед, натянуты, и добрая половина команды, ухватившись за них, изготавилась сдернуть



корабль с настила в воду. Все так спешили закончить тяжелый и опасный труд, что бросили без присмотра высвобождающиеся бревна, те выскочили из под настила, подскочили и покатались, набирая скорость, на идущих по дороге людей. Убегать было поздно да особо и некуда. Дорога в этом месте прорезала небольшой известняковый холм, полого подымаясь вверх по вырубленному в белом камне коридору.

Людей охватила паника, все бросились назад, но путь им преграждали волны следующего волока. Только Андрей не испугался, он спокойно встал на колени и, казалось, собрался смиренно принять смерть.

— Господи! Не ради жизни моей, а ради славы имени Твоего — пощади нас грешных! — прошептал апостол.

Случилось невероятное: неведомая сила развернула летящие на людей бревна, перед одинокой фигурой коленапреклоненного они стукнулись друг об друга и скатились на обочины.

В тот вечер под пьяные песни гребцов и наемников восемнадцать человек окрестил он именем Учителя в днепровской воде.

2.

Чем выше поднимались они к северу, тем гуще становились туманы, тем жестче были нравы и обычаи встречавшихся им племен. В одном месте, где ему особенно понравились высокие берега, он всю ночь молился, а утром с учениками воздвиг Крест — как символ, как залог того, что здесь, на этих диких горах когда-то воссияет великий град со множеством Христовых храмов. Но не успели они и землю как следует утоптать у святого знака, нагрянули лихие люди, избili всех, ограбили, ели живыми добрались до ладьи. Крест с собой принесли, не оставляя же его на поругание. Ему хотелось остаться здесь, пожить, смягчить жестокосердие местных жителей, открыть им Истину. Да корабли долго стоять не могли, надо было спешить, спешить туда, где снега не таяли круглый год. Андрей вспомнил, как он первый раз увидел в Скифии снег. Было так холодно, что он подумал: не настал ли конец света, о котором так много говорил ему Спаситель? Но ничего, со временем привык, даже умывался этим холодным пухом, как местные кочевники.

И вот впереди еще одна круча вздыбилась над рекой. Ее он заметил издалека. Солнце только спряталось за вершины огромных сосен, капитан начал искать подходящее место для ночевки. Их ладья шла сегодня первой, как бы в авангарде, остальные чуть позади. На радость апостола, пристали как раз под приглянувшейся ему горой. Последний корабль каравана зашуршал носом по прибрежному песку уже в темноте и почти одновременно с этим мир накрыл и туман.

Разговор у костра не сладился, все за день умаялись, попутного ветра не было, так что приходилось грести. Спалось Андрею плохо. Рассвет он скорее почувствовал, чем увидел. Он осторожно, чтобы не разбудить товарищей, выбрался из-под покрывала и пошел к воде. Силуэты лодок, словно головы исполинских рыб с высокими надменными носами, чернели в тумане. Казалось, еще немножко — и они, извиваясь длинными телами, бросятся на спящих людей, пожрут их, как кит Иону, и уплывут в свои мрачные глубины.

Ополоснув лицо теплой водой, пахнувшей рыбой и какими-то пряными водорослями, Андрей потянулся, покрутил головой, руками, разминая затекшее от неудобного лежания на прибрежном песке тело, отряхнул свое платье. Утренний запах реки всегда вызывал далекие воспоминания, которые при всей изменчивости судьбы продолжали жить в его памяти. Море никогда так не пахло, а этот речной дух возвращал его в далекую юность, когда они с братом Симоном промышляли рыбной ловлей, и их небольшой домик на берегу Генисаретского озера был полон этих запахов. Дышалось легко, туман к утру почти спал и, несмотря на то, что солнце только встало, уже плясал легкой дымкой над речной гладью, даже быстрое



течение не нарушало этой зеркальной поверхности, разве что где-то плеснется большая рыбина, и побегут слегка вытянутые по течению круги, и вновь безмерный покой. Трудно сказать, скучал ли он по дому, по родной Вифсаиде, где почти все говорили по-гречески, может, отсюда и его непривычное для галилеянина имя. Где сейчас брат Симон, ставший опять-таки на греческий манер Петром? Он в последнее время пугался таких вопросов, да и вообще не очень любил неожиданные набег воспоминаний. Когда же они ему особенно докучали, апостол прогонял их другими картинками из своего прошлого. И сейчас, чтобы избежать дальнейшей игры памяти, он представил себя стоящим рядом с Иоанном, которого позже назовут Богословом, на берегу Иордана. Они внимательно слушали своего первого учителя, а неистовый Иоанн Креститель, страшноватый и нелюдимый, в звериных шкурах, вдруг просиял и, указывая им на худого и очень спокойного человека, произнес: «Вот — Агнец Божий». И они поняли тогда, что это Господь и последовали за ним.

Путем Спасителя он продолжал идти и сегодня. Что это за путь и куда он его приведет, праведник старался не думать, как бежал он и от многих других сторонних мыслей, могущих отвратить его от этого неведомого и неизбежного пути, предначертанного ему самим Спасителем. Глянув еще раз на речные красоты, поглубже вдохнув взбудораживший его воздух, апостол не спеша пошел к еле заметной тропинке, начинавшейся на речной отмели и скрывавшейся в густых зарослях кустарника, карабкавшегося по крутому склону высокого берега.

«Хорошая круча, крест, наверное, будет с нее виден издали! Река здесь делает поворот, горы эти выступают вперед, — по-детски радостно думал святой, — надо подняться и посмотреть, что да как. А уже потом с учениками и крест поднимем...»

— Эй, странник! Не ходил бы ты никуда один! — прервал его мысли окрик одного из охранявших лагерь солдат, ловко притаившегося за густым ивовым кустом.

— Ты что-то у меня спросил, солнечный человек? — подслеповато сощурился Андрей.

— Да оставь ты его, это же блаженный с рыжей галеры, говорят, он не только слегка тронутый, но еще и прикидывается жрецом какого-то нового бога, — произнес второй наемник, выглядывая из-за спины товарища и срезая острым ножом тоненький ломтик вяленого мяса. — Его без толку куда-то не пускать, все равно не послушает, а если ты его зацепишь, то придется битых часов пять слушать про его бога, если тебе нужна эта нуда, сходи как-нибудь вечером к их костру, а меня уволь, я как-то послушал. Иди, иди себе с миром, только потом не упрекай нас, что тебя не предупредили, — отправляя в рот мясо, махнул в сторону тропы охранник, — там наверху копошатся какие-то троглодиты, смотри, чтобы не сожрали. Они всю ночь здесь по кустам шарились.

— Спасибо, солнечный человек, за предупреждение. На все воля Господина моего! — ответил Андрей, и его высокая фигура в странных длиннополых одеждах скрылась за поворотом тропинки.

Подъем был долгим и трудным. Тропа порой вовсе куда-то пропадала, ветхая одежда цеплялась за острые сухие сучки, приходилось продирается сквозь густые ветки кустарника. Андрею показалось, что он заблудился, сомнения и укору предательски полезли в голову: может, действительно не надо было идти сюда в одиночку? Что решат эти два часа? Дождался бы учеников, взяли бы топоры, заступы, крест и решили бы все одним махом! С досадой, вырывая клоч рукава, зацепившегося за какую-то крюковину, он вдруг замер от неожиданности. Совсем недалеко наверху кто-то играл на свирели. Усталость как рукой сняло, не разбирая дороги, не обращая внимания на сучья, он поспешил в сторону этого чудного звука. Вскоро вышел на неширокую хорошо натоптанную дорогу, спускающуюся к реке где-то чуть дальше места их ночевки. Другой конец этого пути полого шел вверх.



Пройдя еще какую-то сотню стадий по уже открытому косогору, Андрей вышел на край речного обрыва.

На большой опушке векового леса, стеной вздымавшегося по ее краям, стояли какие-то неказистые сооружения, у огромного одинокого дуба за невысокой круглой загородкой горел небольшой костер, слева от частокола на камне сидела спиной к нему молодая девушка и играла на небольшой пастушьей дудке, играла жалобно и самозабвенно. Вокруг — о чудо! — стояли десятки деревянных и каменных крестов, они были не совсем похожи на крест мучений Спасителя, но это были кресты, равносторонние, аккуратные, некоторые — забранные в круг, судя по всему, многим из них было уже не по одному десятку лет, настолько они почернели и обветшали.

«Господи, откуда это все здесь, ведь такого не может быть! Кругом язычники, им не ведомы ни Имя Его, ни Слово Его!» — Андрей недоумевал и крестился.

Музыка стихла. Девушка с удивлением и оторопью смотрела на странника, неожиданно появившегося в их древнем святилище. Пепельные волосы ее были заплетены в длинные косы и забраны нешироким бронзовым обручем с небольшими подвесками в виде зреющих лун. Такие же луны украшали и ожерелье на длинной красивой шее. Загоревшее, слегка продолговатое лицо с высоким лбом, легко выраженными скулами, густыми русыми бровями, большими глазами небесного цвета и чувственным ртом в рассветных лучах солнца казалось отлитым из старого античного золота. Апостолу никогда не доводилось видеть такой красоты. Нет, нечто подобное он видел в Египте в древних храмах, где стояли статуи цариц и великих жен великого царства, живших на берегах Нила тысячи лет назад.

Но внизу тек к Эвксинскому понту Борисфен, до древних пирамид было далеко, а юная прекрасная музыкантша стояла перед ним и с доброжелательной улыбкой протягивала глиняную чашу с молоком.

Андрей принял этот знак уважения, отпил несколько глотков:

— Солнечный человек! Как называется твое племя? — спросил он по-гречески, возвращая сосуд.

— Ой дядечка! Я зусим и ня разумею аб чым ты гаворыш? Ты крышачку пачакай зараз придучь старэйшыя можаж, яны неяк тябе зракзумеюць.

Старику казалось, что девушка не говорила, а о чем-то пела, таким мелодичным и приятным был незнакомый ему язык.

— А что это? Как это называется по-вашему? — указал он рукой на ближайшие к нему кресты.

— Дык, неразумю ж я тябе. Маладая ящэ, нерозумная, таму и мовы чужанскай ня ведаю, алеж дай часу вывучу, — девушка говорила медленно и громко, так ей казалось, что чужинец может хоть что-то понять из ее объяснений. С недоумением она смотрела, как странный человек встал на колени перед самым большим крестом, посвященным давнему хранителю святилища великого Ярылы, и принялся, махая перед собой рукой, что-то негромко и горячо говорить.

— Гэта крыжыки, — глядя на кресты, произнесла она. — Мы так сама каля их молимся Богу.

— Христуc! Ты сказала Христуc? — вскакивая с колен и повторяя латинское слово, закричал Андрей.

Их громкие крики эхом отозвались в утреннем бору, откуда уже спешили люди в длинных белых одеждах.

К радости Апостола, среди служителей этого языческого культа оказались люди, знающие и греческий, и ромейский, и, что его особенно поразило, немного понимающие иудейский. Узнав, что он из Иерусалима, высокий седой старик, видно, старший здесь, куда-то отослал девушку. А сам принялся объяснять через толмача, что находятся они в древнейшем святилище главного бога земли, бога света и жизни, и зовут их бога Ярыло — Солнце.



— А кресты, что значат эти кресты? — нетерпеливо перебил седобородого Андрей. — И почему их так много?

— Мы не знаем, когда появился этот знак и откуда его принесли наши предки, но известно доподлинно, что обозначает он солнце...

— Это знак их бога, — на чистейшем иврите перебил толмача подходящий к ним человек, по одежде и манерам гефсиманский купец. — А ты, наверное, из последователей Иисуса из Назарета?

— Да, я Андрей Галилеянин, ученик моего Господина.

— Да, брат, далеко тебя завел твой учитель! Ну и много, рыбак, ты наловил душ человеческих?

— Ты знал Учителя? — обрадовался Андрей.

— Я видел его и пару раз слушал бред, который он нес. Я купец и меня устраивает мой старый и проверенный бог. Он не требует от меня никаких истязаний тела и совести. Зачем ты пришел в эту тихую и спокойную землю? По одежде вижу, что не торговать. Хочешь рассказать им, — обвел руками все прибывающих людей, — про распятого преступника? Воля твоя. Пробуй, я тебе даже помогу с переводом. В моей торговле это может сгодиться. Я не против быть роднею нового Бога. А вообще-то, — купец крепко обнял Апостола, — я рад тебя видеть, иудей. Три года не слышал родной речи в этой глуши.

— А как называется народ, здесь живущий? — пропуская мимо ушей слова собеседника, поинтересовался Андрей.

— Сами себя они называют радимичи и кривичи, есть еще и дреговичи, но те сюда приходят редко. Фактически, это один народ, но они считают себя людьми разных племен, хотя между собой воюют редко, говорят, как мне кажется, на одном языке, жен берут друг у друга, вот из-за последних у них чаще всего и возникают конфликты.

— Да, я уже успел заметить, что женщины здесь необычайно красивы.

— Вот останешься, поживешь малость и выберешь себе жену. У них нравы просты, надо только праздника дожждаться, а там ни одна тебе отказать не решится, если поймаешь, конечно. Можешь после священной ночи в дом свою избранницу привести, можешь оставить без особого внимания, все равно она в одиночестве не останется, дитё не помеха, ребенок, зачатый в святую ночь, считается ребенком бога. Да и вообще они чудной народ, денег не знают и особой любви к ним, в отличие от нас, не питают.

— Моему Господину такие люди понравились бы. Извини, я совсем забыл спросить, как тебя зовут, солнечный человек?

— Давид я из дома Вениамина. Мне тоже здесь нравится, скоро сыновья вернутся, с женами и детьми. Решил я здесь осесть, чего уж от добра добра искать, на родине давно уже несладко, да и опасно.

— Послушай, Давид, как ты думаешь, позволят ли они здесь воздвигнуть Господень Крест? Где-нибудь на краю обрыва, чтобы видать было издалека?

— Сейчас узнаем, — и купец заговорил с седовласым стариком. Речь его была гортанной и крикливой, как речь иудея, а слова чужого языка, так понравившиеся Андрею, звучали из его уст проще и грубее, с характерным рычанием. — Он спрашивает, означает ли твой крест Свет?

— Да-да, это символ Света! Это знак Солнца солнц, это древо вечной Жизни.

— Блаженный ты, как и твой Учитель, — усмехнулся Давид и с серьезным и важным видом принялся что-то объяснять старику.

Крест установили всем миром и на том месте, которое понравилось Андрею. Когда все, довольные работой, стояли, полные братской любви друг к другу, изливаемой на землю великим Богом, апостол сказал проповедь, Давид переводил, но никто не мог поручиться за точность перевода.



Солнце было уже высоко, а корабли и не собирались уплывать, прямо на берегу развернулась бойкая торговля. Капитанам хозяева дали команду задержаться до следующего утра. Давид, видя такое дело, зашпешил по своим делам. С Андреем остался главный смотритель святилища, его помощница, которая так очаровала апостола игрой на жалейке, так здесь называли эту дудку, да средних лет толмач из местных. Они не спеша обошли святилище, по лесной тропе и тайным деревянным мосткам спустились в небольшое городище, расположенное за довольно широкой и шумной речкой. Речушка разделяла старую дубраву, оттого, наверное, и звалась Дбровенкой. В глубине дубового леса тоже было святилище, но Андрею его не показали, чужим, детям и молодым женщинам туда ходить запрещалось под страхом смерти. Все попытки разузнать, какому божеству там жгут негасимый огонь, остались безуспешными. В городке люди жили одинаково, и жилища одних не особо отличались от жилья других. Все сооружения служили больше обеспечению безопасности поселян, чем комфорту и роскоши отдельных граждан. Дома, равно как и сундуки в них, не запирались.

«Живут как по заповедям Господина моего, хотя и не знают их. Но я верю, воссияет свет Истины от Креста, мною воздвигнутого, над местом этим, и много послужит народ здешний имени Христову, — думал Андрей, возвращаясь уже в сумерках к своей ладье. — Много невзгод, бед и кривды придется им претерпеть за это, ой, много!»

У костров шел настоящий пир. Радимичам не понравилось виноградное вино Ольвии, и они прикатали несколько бочонков своей медовой браги.

— Вот где живет настоящий хмель, а вашей кислятиной только мясо старого хряка квасить! — лихо выбивая чоп и подставляя под шипящую золотистую струю деревянную братину, крикнул местный предводитель Рюр. Отхлебнув меду, он искал глазами, кому бы передать братский ковш, чтобы не обидеть гостей. Приняв Андрея за местного жреца, протянул его ему.

— Да уж, этот точно по достоинству оценит твое вино, вождь! — пошутил кто-то из купцов. Все весело засмеялись.

Андрей не любил спиртного, а если доводилось пить, обязательно на греческий манер разбавлял его водой. Отказаться от чаши сейчас было бы оскорблением, он сделал небольшой глоток. Напиток ему понравился, под одобрительные возгласы он еще отпил сладкой, хранящей вкус воска, медовухи. Передал ковш капитану самого большого корабля и пошел собирать своих. Когда веселье набрало обороты, хозяева по команде своего предводителя попрощались со всеми и, оставив гостям заповедные бочонки, удалились, не забыв выставить стражу на подступах к своему городищу.

Слегка захмелевший Апостол сидел в кружке единоверцев и рассказывал им забавные истории из своей жизни.

— Смотри, учитель, смотри! — перебил его пожилой гребец из скифов, указывая рукой в темноту. — Крест Господень, наш крест.

Все повернул головы. Высоко над Днепром вздымался темный силуэт креста, свет недалекого языческого костра не застил его, наоборот, подсвечивал и делал необыкновенно величественным и огромным.

— Помолимся, солнечные люди! — предложил Андрей.

Все встали на колени, над засыпающей рекой, словно перезвон будущих колоколов, поплыли упругие слова молитвы: «Отче наш, иже еси на небеси...» Все дальше и дальше улетали нездешние слова и растворялись в белесом тумане, и становились его частью, и никакая сила уже не могла их разъединить. Так и остались они едиными и в жизни, и в помыслах живущих и ныне окрест людей.

Утром сборы были быстрыми. Следовало спешить, лето уже подходило к своей середине, а путь еще был долог.



— Городище и святилище наше зовется «Могуливы».

— Оно похоже на иудейское «мога аб левер», — обрадовано перебил жреца Андрей, — и может быть истолковано как «место избранных».

— Значит, действительно Бог един! — улыбнулся в белую бороду жрец. — Наш «Могулив» мало чем по смыслу от вашего «избранного места» отличается и тоже обозначает место, на которое изливается могущество и величие Ярылы. «Могутный» значит «великий», а «лив» — «лить». Вот так-то.

— Да, воистину неисповедимы пути твои, Господи! Вы уж за крестом приглядывайте.

— За крест не переживай, досмотрим. Возвращаться не зову, хотя — кто знает. Вот возьми, это тебе Ярислава просила передать, сама придти не могла, ей играть надо, Бога будить. Он любит ее жалейку, — старик протянул Апостолу странный крест, похожий на римскую цифру десять. — Во сне она видела вот эту странность и еще засветло его сама смастерила. Говорит, что он твой, ты с ним никогда не расстанешься.

3.

Ладьи уплыли быстро, гребцам помогал попутный ветер. Только истоптанный песок, головни и пепел костров, пустые бочонки и другой мусор напоминали о недавней стоянке спешивших к северу гостей. Сверху над всем этим золотился в первых лучах солнца второй крест апостола Андрея.

Пройдут века, небольшое торговое городище переберется на место древнего языческого капища, сгниют, сгинут, растворятся в неизвестности древние кресты, погаснет вечный Знич, и только одно выживет слово — «Могилев», и будет оно сиять в поднебесье крестами своих церквей и костелов, славить Бога и своих великих сыновей. И будут ученые и поэты ломать головы над его смыслом и придумывать красивые и не очень истории. А правда и о Могилеве, и об Андрее, и об Яриле, и о Рюре как жила, так и будет жить в преданиях и памяти моего славного и древнего народа.

БАБУШКИ

Как и у всякого законнорожденного внука, у меня были две бабушки. Два абсолютно разных человека, оставивших в моей жизни два светлых и незабываемых следа. Во многом благодаря им я стал тем человеком, книжку которого вы сегодня читаете. Бабушки, бабушки мои любимые и милые, как вам там, в вашем таком далеком жилище? Вот сижу в своей тихой подмосковной баньке, пишу эти строки, а учащенно стучащее сердце уже далеко, далеко, в том сладком и недоступном для чужого взгляда мире, имя которому — память.

Так уж сложилось, что деревни мои, по-нашему — вески, распределились в моей жизни не совсем равномерно. Ресты с Горбовичами было и осталось больше, а Завожанья с «53-им разъездом» меньше.

Реста, здесь прошло мое детство, несмотря на то, что я родился в железнодорожной больнице Могилева, всегда пишу в анкетах, что родился именно здесь, нисколько не обижая соседнюю с нашим поселком деревню Горбовичи, которая считается официальным местом моего появления на свет.

Реста — это бабушка Ева, зычный голос, властный и упрямый подбородок, кулацкая хватка, чисто выметенный двор, подпол с канистрами самогона, стол — полная чаша, ломящийся для любого, самого захудалого гостя, хотя захудалых гостей для бабушки не было. На кухне и в комнатах перед войной построенного дома простенькие бумажные иконки. Про Бога бабушка вспоминала перед праздниками или когда что-то не ладилось в делах, приснился дурной сон, скотина прихворнула,



от тетки долго писем не было — мало ли еще чего могло приключиться в большом деревенском хозяйстве. Обращения эти были ненавязчивые, и следовали уже после того как бабушка сгоняла на попутной подводе в соседнюю деревню погадать к Аксинье, проконсультировалась с парой-тройкой авторитетов в знахарстве, все подробнейшим образом обсудила с закадычной подругой-соседкой бабой Аделей Бардиловской, сама чего-то пошептала, поплевала, поскребла гусиным крылом. Зато уж в церкви Ева Ивановна молилась от всей души, с поклонами и слезой, правда, по малолетству я так и не запомнил, исповедовалась ли она когда-нибудь, была ли у причастия или нет. Мне кажется, с причастием и покаянием у белорусов дела обстоят весьма проблематично, большинство считает, что само посещение церкви, зажжение свечей перед образами, покаянная молитва и откровенный разговор со Спасителем или Богородицей достаточны для надежды на их милость и прощение, а все остальное придумали власти и попы, чтобы выкачивать из людей деньги. Бабушка, мне кажется, придерживалась этого принципа.

Особой статьей незлобного бабушкиного гнева были наши внучики развлечения, прежде всего — рыбалка и купание до дрыжиков на Амхинецком или на Лявоново, когда-то так назывались самые купальные места на неширокой и мирной Рудее. Мне кажется, что и сейчас в ушах звучит бабушкин голос: «Валерья, лиха матри твою, утопишься — домой не приходи!» Надо сказать, что жизнь внуков и внучек, а свозили к бабке всех шестерых, была строго регламентирована, у каждого были персональные обязанности: прополка, поливка, догляд многочисленных цыплят, утят, гусят, сбор тли и колорадских жуков, уборка двора, участие в заготовке сена, пила дров и прочее, прочее, прочее, не говоря уже об обязательных походах по грибы и ягоды. Гляжу на своих детей и внуков и диву даюсь: в отличие от них, у нас никогда не было проблем с аппетитом и сном, и никто из нас понятия не имел, что такое аллергия или насморк в разгар лета. Самой большой проблемой было перед школой отдраить ноги, черные от загара и ввевшейся в них грязи. Сегодня трудно и представить, как это можно было — бегать по ржищу босиком! Недавно попробовал, скинул свои модельные туфли и резво так зашагал вслед за комбайном, однако резвости не получилось, да и прошел-то шагов пять. Исколовшись, косолапя, вернулся на межу. А ведь тогда мы, в полном смысле этого слова, носились по полям и весям, и все нам было нипочем! Три месяца про сандалии и иную обувь мы и не вспоминали.

Мы были дети, игравшие в свои игры в еще не заросших траншеях недавно отгремевшей войны. Нас окружали ее атрибуты: инвалиды, трофейные патефоны и велосипеды, ржавое и поломанное оружие (все исправное взрослые повыбрасывали или припрятали в укромных местах на всякий случай). Артиллерийский порох, из этих серых тонких макаронин запускали ракеты, жгли, как бенгальские огни. Патроны, гильзы, какая-то немецкая амуниция, коробки, мешки с большими фашистскими орлами — все это жило рядом с нами. Помню, мой матрас, который периодически набивали свежим сеном, был сшит из мешков, украшенных свастикой, спал я на нем лет до шестнадцати; были еще штык-ножи, и еще много разной военной разности, да, чуть не забыл, в обязательном порядке у нас во дворе была большая стальная «фрицовская» каска, прилаженная к длинной березовой палке, ею чистили выгребные ямы туалетов и вычерпывали жижу из скотского приямка. Надо отдать должное некоторой толерантности моих земляков, многие то же черпали и красноармейскими шеломами. Немецких касок было больше, скорее всего, из-за того, что они своих погибших хоронили, на могилах ставили кресты и вешали на них таблички с именами и почти всегда стальные шлемы. Наши, если отступали, совсем не хоронили своих убитых, присыпали прямо в окопах, а чаще всего оставляли на попечение местных жителей или неприятеля. Безусловно, похоронные команды все же иногда работали, несчастных хоронили в общей ямке, как правило, без гробов, под одной палкой с пятиконечной звездой. Каски, оружие,



а иногда и обмундирование собирали и после определенной чистки и подладки вновь пускали в жутковатый оборот.

Жизнь в бабушкином доме была тесно связана с железной дорогой. Дед Никодим до глубокой старости проработал стрелочником. Наверное, поэтому железнодорожная станция была для нас отдельным и доступным миром, со своими запахами, звуками, гордостью за городской хлеб в тяжелых деревянных, а потом и алюминиевых ящиках, которые привозили раза три в неделю на пригородном поезде из Могилева и продавали только поселковским. Новогодние елки в красном уголке станции, Дед Мороз с мешком под портретами Ленина и Сталина и, конечно же, подарки, пахнувшие мандаринами! Бьюсь об заклад, сегодня мандарины так не пахнут! Кто постарше — помнит этот запах, в бумажном пакетике были дешевые конфеты, печенье и два, только два мандарина или один небольшой апельсин. Помню, как душила жаба, но этими вкусными нездешними «яблоками» приходилось делиться и с родственниками, и с друзьями по деревенской улице — в колхозах новогодних подарков в то время не было. Руки мерзнут, отламываешь излучающую свет и летний запах дольку и даешь по очереди откусить друзьям, и каждый кусает немножко, чтобы не подумали, что жадный, самая большая кроха доставалась последнему. Даже странно, что такое когда-то могло быть. Цитрусовые корки никогда не выбрасывали, а в обязательном порядке сдавали бабушке, которая их сушила, а потом заваривала вместе с чаем или настаивала на них самогон, для пущей изысканности, что ли.

Здесь, в этой бесхитростной жизни входили в меня древние токи загадочных радимичей, от которых, петляя, тянется нить отцовского рода.

Нет уже «53-го разъезда» с трехминутной остановкой пригородного поезда. Нету, стерт прогрессом, словно мел со школьной доски. А ведь разъезд этот периодически всплывал в моей жизни на протяжении целых восемнадцати лет. Два или три маленьких строения в глухом лесу, казарма станционного начальника, крохотный огородик и воняющая разогретыми на солнце шпалами железная дорога. С поезда прямо на насыпь прыгивали редкие гости, а кто-то, вталкивая вперед себя мешки и кошелки, ухватившись за поручни, с сопением и матюками поднимался в вагон. Звонил станционный колокол, трубил рожок, гудел паровоз, и, зашипев паром, звякнув сцепками, поезд торопливо уползал в сторону далекого Богушевска.

На разъезде нас, как правило, встречал дедушка Константин или кто-то из Заважанских, подъезжавших за своими, или никто не встречал. Заранее мама про встречающих не знала, но всегда надеялась на это. А потом была лесная дорога длиною в девять с гаком километров. До сих пор никто точно не определил длину белорусского гака. Если на подводе да летом — то это незаметно и даже где-то весело, кругом ягоды, грибы, а если зимой, ночью да пешком... О, я знаю, как замерзают слезы обиды и страха на щеках! И какие страшные и живые тени в лунном морозном лесу. Наверное, после тех страхов я перестал бояться ночного леса и даже где-то полюбил его за надежность и безопасность.

Чем для меня была эта дорога? Я долго не мог ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. Ответ пришел сам собой: лесной путь был естественной машиной времени: преодолев положенные километры, я попадал из относительной цивилизации в мир древней Беларуси, из середины века двадцатого — в середину девятнадцатого столетия, из языкового суррогата тростянки — в заповедную сказку родных мовы.

Бабушка Феня, бабушка Феня, платочек кофейный... — старые мои стихи, а имя у бабушки было Федора, но деревенские звали ее на кривицкий манер Хадося, Тадора, а иногда — Тэкля, хотя это уже русская Фёкла. Худенькая, небольшого роста, живая, все время согнутая работой, улыбчивая и очень набожная. С бабушки можно было в равной степени писать и икону, и портрет кривичанки. Безбрежное



добро и смирение поразительным образом сочетались в ней с негибимой волей и настойчивостью.

Электричества в Завожанье не было года до шестьдесят пятого, были керосиновые лампы для зимних колядных застолий, а так по хозяйству управлялись при лучине, летом же и вовсе старались обходиться без света. Исключение делалось только для гостей, которые по городской привычке любили почитать перед сном. Здесь, в забытом всеми уголке, жил дух чего-то таинственного и уходящего. Здесь я узнавал, для чего служат различные деревянные приспособления, части которых встречались мне и в Ресте. Оказывается, вот это странное, громоздкое сооружение — ни много ни мало, а целый ткацкий станок, да к тому же работающей! И бабушка зимними вечерами ткала красны, а до этого почти все лето совершались длительные приготовления: пахалась земля, высаживался лен, потом он необычно цвел, набирал силу, потом его надо было «брать» — вытаскивать из земли по стебельку, вязать в снопы и ставить в «бабки», потом мочить, потом мять, трепать, чесать, сучить нитку и уже только после всего этого ткать узкое полотно. В мое время из самотканой холстины уже не шили одежды, а использовали ее для домашних рушников, занавесок, подзоров и каких-то сакральных действий. Дежу с тестом для хлеба покрывали только самотканым, испеченный хлеб тоже выкладывался остывать на палицу, застланную чистым домашним холстом. Исключительно в домотканое заворачивались различные примочки, компрессы, им покрывались наговоренные вода, соль, масло. Все, что касалось давнины, не терпело металла и должно было быть изготовлено только руками человека, при соответствующих молитвах и заговорах.

Бабушка и дед молились всегда. Дед, конечно, с меньшим усердием и менее многословно. Он вообще был молчуном, за свою долгую жизнь, а прожил он до ста двух лет, дед Костусь убедился, что молчание почти всегда дороже пустого и долгого разговора, может, поэтому он сторонился людей и предпочитал больше бывать в лесах и на работе.

Бабушка знала уйму сказок, старых, не вычитанных в книжках, да и читать-то она не умела, она рассказывала нам те сказки, что передавались из поколения в поколение. «А вось гэтую казку мне казала ажно мая прабаба...» — так часто начиналось бабушкино повествование. Долгое время безуспешно силился я вспомнить эти сказки, чтобы записать, но, увы, ничего не выходило, не вспоминалось. Расстраивался, злился: тот сказочный мир живет где-то глубоко во мне, его волшебные образы рядом, кажется, вот протяни руку, а нет, не получается. Время идет поразительно быстро, уже сам стал дедом, уже внуки просят рассказать сказку. И все встало на свои места, просто, наверное, пришло время, и старинные небылицы как-то сами собой стали сказываться. И что удивительно, часто начинались они со слов: «А эту сказку мне рассказывала еще твоя прабабушка...» Дальше по-русски говорить не получалось, волшебство из сказки уходило, она становилась пресной и похожей на плоский американский мультик. Я понял, что народные сказки, как и народные песни, на другой язык перевести нельзя, их можно только пересказать чужим языком.

Странно, внукам эти старинные истории на малопонятном для них языке нравятся, и слушают они их с загаенным дыханием и открытыми ртами. И еще. Дважды повторить одну и ту же сказку одинаково у меня не получается. Однако я этого не замечаю, благодарные слушатели поправляют, списывая изменения на забывчивость деда.

Вот такие сказки были у бабушки Фени. Может, действительно живое слово, записанное на бумаге, теряет свое волшебство и таинственность, и способно жить только в благодатном поле живого родного языка.

Бабушка не умела читать и писать, и от этого мучилась, ей хотелось самой прочесть Святое Писание. Библию в те годы купить было невозможно, да и хранить подобную литературу в доме было делом рискованным. Однако у бабушки



это сокровище было, хранилось оно в только ей ведомом месте и извлекалось по праздничным дням. И, если я оказывался под рукой, меня заставляли читать непонятные мне тексты. Писание было на церковнославянском языке, правда, в новой орфографии. Вот так, спотыкаясь на незнакомых словах, поправляемый бабушкой, я делал свои первые шаги к Богу.

И последняя картинка из Заважанья, которую бережно хранит моя память. Я приехал попрощаться с бабушкой и дедушкой, через неделю предстояло уходить в армию. Помню, что, как и в детстве, долго читал старикам Евангелие. А потом было хмурое утро, и я уходил вдоль покосившей изгороди в первую свою неизвестность, и надо было спешить на поезд, но что-то екнуло внутри, оглянулся: бабушка молча плакала и крестила меня в спину. Больше я ее живой не видел, но крестное ее знамение хранит меня и поныне.

Пишу эти слова, а в голову приходит название книги известного сербского поэта Благоя Баковича «Поворот на Итаку», как это важно — не прозевать, не забыть свой поворот на свою Итаку, поворот к своему Дому, к своим Истокам.

ЛАЗЬНЯ

У каждого народа есть свои сакральные места. У кого-то это вековые деревья, у других — причудливой формы камни, священные источники, высокие горы и еще много всевозможных разностей. Чем дальше в историческую глубину, тем больше священного, почитаемого и самого важного, помогающего или вредящего человеку. Присутствует этот набор в полной мере и у белорусов. Вряд ли вы найдете, даже сегодня, хоть одну область, где бы вам не показали и «лысую гору», и «святую крыницу», и «чароуный камень» и еще много всего такого, о существовании чего вы и думать-то никогда не думали. Однако среди всех этих чудес останется, наверное, неназванным одно очень важное в былом обиходе место. Это баня или, по-нашему, лазьня. Вас туда обязательно пригласят, ежели вы подоспеете к субботе, а может, и специально истопят по случаю вашего приезда. Сейчас это стало модным. Раньше бани в неурочные дни в деревнях топили очень редко и не всегда по добрым поводам.

В моем детстве была крестьянская баня, срубленная под старой грушей-дичкой, недалеко от хаты. Она являла собой предмет особой гордости деда Никодима и белой зависти соседей. Надо сказать, что подобные оплоты гигиены были далеко не у каждого хозяина. Кто-то ходил к соседям или родне, кто-то, поддавшись моде, мылся в колхозных банях, по-моему, такие в Горбовичах уже тогда были, а кто-то по-старинке мылся в печи. Помню, что мне два раза приходилось в Заважанье подвергаться такой экзекуции, по-другому подобную помывку и назвать трудно. Особенно было страшно в первый раз, мне казалось, что меня решили зажарить заживо в огромной русской печи. Ревел и сопротивлялся отчаянно, пока дед Кастусь своим примером не показал, как это делается и не втащил меня каким-то обманом внутрь печки.

Много с тех пор чего изменилось, много различных приспособлений для мытья пришлось повидать мне по всему свету, а по-настоящему любовь к горячему пару у меня привилась в той самой крестьянской баньке.

Вон она, слегка скособочившись, стоит и ныне на том же самом месте. И когда проезжаешь по шоссе из Могилева в Чауссы, мелькнет ее слегка просевшая крыша, да как-то по-особенному царапнет глаз серым сиротством былой отчий дом. Банька моя, наверное, и сегодня верой и правдой служит незнакомым мне людям, таков уж ее удел.

Вообще, по части сакральных строений Беларусь — уникальная страна, здесь истина и время претерпели столько метаморфоз, что с первого взгляда и разобраться трудно. Вон, в центре столичного Минска стоят два кафедральных собора, почти



одинаковой архитектуры, красоты и великолепия, а верники в них разные, одни католики, другие православные. Иной раз глядишь и дивишься, как все переменялось, раньше безбожники в церквях клубы устраивали, а сегодня церкви в сельских клубах заводить стали, а народу — все одно, ему до фонаря, куда по воскресеньям ходить и кого от скуки слушать, партийного агитатора или слегка трезвого попа. Чего уж тогда удивляться особой ретивости отдельных церковных активисток, все норовящих научить вас, как свечку ставить, как в храме стоять, как в нем ходить. Заходишь к Господу помолчать — не дадут, затуркуют, замордуют. На них, главное, не обижаться, старушки эти, религиозный актив, были прежде комсомольскими активистками и никакого Бога в упор не знали и знать не хотели, а их бабушки и дедушки в свое время эти самые храмы закрывали и устраивали в них танцульки, так что все возвращается на круги своя.

Однако Бог им судья. Вернемся мы к нашему вечному сакральному храму — баньке. Почему баня объект мистический — говорено уже много и даже слишком. Однако в моем детстве еще были отчетливо слышны отголоски той великой земледельческой культуры, на которой, по большому счету, и донныне стоит современная цивилизация. Сельская детвора по части этнографии, демонологии и магии была подкована получше нынешних телеколдуний и отдельных ученых. Даже самый последний двоечник в деревне знал, что в бане не всегда творится доброе, а потому ночью туда, как и на кладбище, лучше одному не ходить, а то мало ли что... Живут там банник с банницей, маленькие да страшненькие, любят они, когда в бане люди парятся, моются или еще каким необходимым делом занимаются. Да и не только баня была обитаемой, подобные истоты (существа) жили всюду: и в поле, и в хлеву, и на сеновале, и в лесу, и в озерах, реках, криницах, да во всем, с чем человек соприкасался. Наяды и нимфы не только в гречиях и римах обитали, они вон у нас под окнами донныне бродят в лунные да туманные ночи, надо только захотеть их увидеть. Смешно признаться, но я до сих пор верю, что банник, если ему не погрязнуть, может запросто пар испортить, пересушить его, баню враз выстудить, дурных запахов нагнать, а то и более серьезную какую напасть наслать. А потому, при всей своей крещености и воцерковленности, я с мелкими домашними духами, пенатами, по-античному, стараюсь жить в мире и добрососедстве. Потому и баня у меня — залюбуешься, и парок отменный, а уж какой чай из старинного самовара! Нет, не подумайте, я нисколько не хвастаюсь. Мне не верите, у внука спросите, ему почти четыре года стукнуло, а в баню со мной он первый раз пошел в неполных два и уже тогда «деду Банному» из ковшика водицы с пивком мимо каменки плеснуть учился. Так-то. И чай Миколка любит, а как не любить, когда чаек на алтайском разнотравье да на таёжном бадане настоян, а на столе горный мед, а в самоваре на дне пять «николаевских» серебряных целковых лежат, водицу томят. Вот она какая, банька-то!

Отец говорил, что когда-то у них была старая баня, но как-то сама собой развалилась, и дед на ее месте решил образовать новую. Мне кажется, что я и сам принимал участие в ее возведении или очередном обновлении. Баня наша начиналась с узких сеней, носивших гордое название «примыльник», к одной стене была прилажена доска, служившая лавкой, над которой были прибиты какие-то самодельные крючки для верхней одежды, у другой, рядом со входом в саму баню, стояла большая бочка с холодной водой. Прямо за дверью слева располагалась сложенная из кирпича топка с каменной и вмурованным котлом. Котел был не обычным, а каким-то немецким, со стальной нержавеющей внутренней поверхностью, внизу в него был врезан большой латунный кран. За котлом следовал широкий полоч, чуть ниже — одна широкая ступенька, служившая одновременно и лавкой. Правая сторона помещения была пустой, там стояли две-три скамейки, тазы да, пожалуй, и все. Свет Божий в эту избушку проникал сквозь одно маленькое окошечко, тем и довольствовались. Осенью и зимой, когда быстро темнеет, на специальной полочке



коптит керосиновый фонарь. Помню, что старшие все время боялись, чтобы мы не брызнули на него, стекло к этому свету найти в те времена было весьма сложно. Позже, где-то году в шестьдесят пятом — в баньку провели электричество.

Банное священнодействие начиналось почти с самого утра. Необходимо было попервости принести дровишек, да не лишь бы каких, а специальных, сухих, нехвойных пород. Потом наносить воды и в бак, и в бочки, а воду носить приходилось издалека: или со станции, или от «Магазинных», это уже позже дед перед домом колодец выкопал. Где-то после обеда начинали баньку топить, топить по-настоящему, обстоятельно и долго, чтобы под каменкой и котлом образовался толстый пласт пышущих огненным жаром углей. Как только над углями переставали плясать маленькие голубенькие язычки огня, надо было закрыть вьюшку, а на каменку положить специальную металлическую заслонку с приклепанной посередине ручкой. Главное было — не пропустить этого момента, поэтому топящуюся баню без присмотра старались не оставлять. Когда внуки подросли, дедушка Никодим посылал нас «пильноваць агонь». Вот и все. Двери плотно затворялись, и баня начинала томиться, вбирая в себя энергию и тепло сожженных деревьев. Наконец наступал самый ответственный момент, после недолгих препирательств — кому идти первым, мужикам или бабам, — мужики побеждали, и мы шли в «Неё».

Баня стонала от жара. Раскалено было все: и печь, и стены, и лавки, и потолок, казалось, плесни на стенку воды — и она зашипит. Мы, мелкота, прижав уши, рассаживались по полокам и с ужасом ожидали неизбежного. Нас парили первыми, начиная с младшего. Младшим был Толик, один из моих двоюродных братьев, или я. Конечно же, я верещал, жарко было и где-то даже страшно, ты как бы куда-то улетал, что-то с тобой происходило, и юный мой разум еще не мог всего этого объяснить, потом незаметно и осторожно, словно глубокий сон, приходило тихое блаженство. Дед холодной воды на лицо да на голову малость плеснет — и ничего, терпимо. Зато как неповторимо благоухает распаренный свежий березовый веник. У нас почему-то дубовыми не принято было париться. Может, оттого, что дуб — дерево Перуна и оно священно, а может, и по каким другим причинам. Только притерпишься к размазывающим тебя по вселенной горячим волнам, которые бегут перед веником, как снизу слышишь елейный голосок Игорька или Серёги, старшеньких, двоюродных:

— Деда, а там на каменке уголек какой-то тлеет, видишь?

— И деж гэта?

— Да вот же, дед, вот!

— А матри яго!

И на раскаленные камни летит ковш воды, настоящей на мяте, чабреце или душице. И новые, новые волны накрывают тебя с головой. И неведомо, где и когда ты из них вынырнешь, и плоть твоя отстает от костей, и душа твоя отделяется от тела, и становишься ты неотъемлемой частью великого и неистребимого мира, имя которому Бог. Однако чтобы все это понять и вместить в себя, мне понадобились годы и годы, и слава тебе, Господи, что мне есть кого сегодня парить и кому, вспоминая своего деда, заливать водой горючь-камень.

А еще в бане гнали самогонку, но это тема совсем другого рассказа.

СЕНОВАЛ

Засыпается на сеновале не быстро, но сразу. Нет ни дремы, ни бесцельных городских лежаний в ожидании прихода сна. Казалось, только Игорёк что-то такое интересное рассказывал-рассказывал и вдруг — споткнулся на полуслове, и все. Ты его хоть толкай, трясги, из пушек стреляй — все без толку. Спит человек, а юная и робкая душа его бродит в какой-то своей сказочной стране. Может, именно тогда,



на том деревенском сеновале, и научился я трепетно, с пониманием относиться к чужому сну и никогда без особой нужды спящего человека стараться не будить.

Свежее сено еще пахнет лугом и солнцем, летним зноем и терпкостью выскошенных до ломкости цветов, из которых еще порой нет-нет, да и высыплется, словно липкая ярко-желтая сажа, цветочная пыльца и измажет лицо или рубаху, или мягкую самотканую подстилку, еще недавно выстиранную и слегка подсиненную.

Сеновал — это целый мир со своими шорохами, скрипами, вздохами добрых домашних духов, копошением, где-то там далеко, кур, сонным похрюкиванием свиней, медленным и бесконечным, как время, жеванием коровы и телят, приглушенной возней кроликов. Все здесь необычно, привычно и слышимо. Вот в саду упало яблоко, далеко, аж на краю села, у колодца звякнул стальными путами конь. Великолепен, чист и не размыт деревенский ночной звук, и услышать его ты можешь только с сеновала — даже обычная изба застит и притупляет его своей тишиной. Подольше бы только звук этот жил да находил бы своих слушателей.

Сеновал живет и своими запахами, которые до чиха ввинчиваются в нос, забиваются в глаза и рот. В отличие от урбанистической вони, эти запахи — живые и не несут тебе, а равно и всему Божьему миру, никакого вреда. Ты чувствуешь их на вкус и видишь сквозь полусмеженные веки. Здесь своя — образно-вкусовая — система обоняния.

И вечер, и утро, и ночь, и день неодинаковы на сеновале, каждое время особо и неповторимо, разве что только затяжной мелкий дождь может внести свою серую монотонность в этот древний мир. В дождь на сеновале особенно уютно, и тогда там господствует особый вид лени и неиссякаемой сонливости. Тогда хорошо, чтобы внизу на перевернутой дежке, подложив старую овчину, уселась бы бабушка и стала бы, перебирая горох или бобы, рассказывать сказки или какие-нибудь деревенские были, лучше, конечно, о войне, о партизанах, о сбитом летчике или еще о чем-нибудь, сотни раз повторенном, но как впервые интересном.

Утро выдалось ясным. Яркое, молодое и оттого юркое солнце вливалось во все щели и мелкие дырочки сеновала. В его лучах и лучиках суетились мириады пылинок, оно золотом искрилось на тонюсеньких паутинках, резвилось и игралось на наших сонных, загорелых, с облупившимися носами, лицах — мы в детстве своем были неотъемлемыми его частичками. Корову уже подоили, и звона тугих струй молока, ударяющих в подойник, я не слышал, проспал. Но зато я с наслаждением вдыхал запах парного молока, у нас его называли сыродоем.

Три запаха я вынес из своего беззаботного, босоного детства — это запах сыродоя, стойкий и всепроникающий, как запах утреннего кофе. Хотя, мне думается, это не совсем верное сравнение, парное молоко пахнет жизнью, как кровь — болью и смертью, и его нельзя ни с чем ни спутать, ни сравнить.

Второй — запах свежееиспеченного хлеба, который, казалось, заполнял весь мир, он был невесомо-тяжелым и приземистым. Порой легкий ветерок мог унести этот древний дух далеко-далеко, к речной пойме на общинные покосы... И тогда мужики, уловив его носами, обтирали свои «литовки» пучками только что скошенной мокрой травы, втыкали косы в мягкую луговину, взбирались на какой-нибудь пригорок, где было посуше и, продолжая втягивать в себя далекий хлебный дух, затевали перекус, одобрительно судача о том, что (несмотря на недавно открытую в райпо хлебопекарню) старая Казачиха не ленится печь домашний хлеб. Хлебный дух был будничным — ржаным, и праздничным — пасхально-куличовым. Я долго думал, что Бог пахнет воском, долежавшими до Свята антоновками и пасхой (так у нас называли куличи, а творожную пасху, по-моему, вообще не делали). Богом пахли руки моих бабушек, а позже — мамыны. К сожалению, сейчас живущий во мне бог ничем не пахнет.



Третий запах — запах пророщенного жита, бродящей браги и урчащего по белой суровой нитке самогона. Самогон на Беларуси гнали всегда и все, считая это занятие исконным правом, своеобразной основой неподлежности и почитая за особый гонор.

ПОКАЗАЧЕННЫЕ

Андрей Селява спешил. Солнце еще не встало, но восток, уже напитавшийся светом будущего дня, гнал прочь блеклые тени прошлой ночи. С Днепра натянуло тумана. Андрей украдкой прошмыгнул поросшим травой проулком, подкрался к своему забору и с радостью увидел перекинутую им еще вечером через высоченный тын веревку.

«Добра, что веревка на месте, значит, батька ночью в этот угол сада не ходил и на сеновальчик мой не лазил», — подумал парень, ловко карабкаясь вверх. Уже встав на внутреннюю перекладину забора, он оглянулся и замер. Над белым безбрежным морем тумана, словно небесное чудо, гордо возвышался Могилевский замок с куполами, звонницами храмов и костелов. Лучи еще не видимого солнца уже играли в золотых крестах. «Боже ты мой, Боже! Уж коль явил ты мне эту красоту, то и помоги мне в разрешении планов моих. А, Господи?» — парень трижды перекрестился. Проворно соскочил с забора, смотал веревку и ловко взобрался на еще недометанный стог сена, поверх которого он соорудил себе временный будан, вроде шалаша. Припрятав веревку, Андрей весь обратился в слух.

Казалось бы, сонная, накрытая туманом усадьба уже давно проснулась и жила своей столетиями заведенной жизнью. Сотни звуков и шорохов свивались в некую замысловатую, слабо понятную спираль, перетекали друг в друга, неожиданно замирали, растаяв в набухшем влагой воздухе, и вдруг вновь воскресали где-то совсем рядом. Хотя для человека неместного они были и не слышимые вовсе.

Андрей по этим малым шорохам пытался определить, что сейчас происходит на широком дворе перед их хатой. Судя по всему, мать уже давно подоила корову и обметала ее пучком какой-то наговоренной и освященной травы — прежде чем выгнать за ворота. Отец что-то перебирал в своей пристройке и смолил самосад. Сморд от батькиного курева стоял такой, будто татары запалили свои кизяки и собираются смазать конину. Бабуля Феня и жена старшего брата Кастуся, Марыся, собирали на стол, стучая глиняными плошками и деревянными ложками. Летом в доме ели редко, только что по большим праздникам или когда нагрянут почетные гости, а так трапезничали прямо в саду под навесом, здесь же дымилась и печь-временка, от которой уже вовсю разносился пах жареной на шкварках яичницы.

На мягком, словно перина, сене Андрея потянуло в сон. Привычные дворовые звуки, которые он только что жадно ловил ушами, пытаясь разгадать, постепенно уплывали в сторону, пропадали, растворялись в тумане. На их место из того же тумана вкрадчиво вползал тихий и нежный шепот Яни, казалось, еще немножко — и ее горячие, как полуденное солнце, губы коснутся его напряженной ожиданием щеки. Парень с трудом оторвал голову от подстилки, сел, помотал головой и, засунув в волосы пару сухих травинок, нехотя спустился на землю. Почесываясь и потирая глаза, он побрел к столу.

Бабуля глянула на внука не то сочувственно, не то осуждающе, покачала головой и, что-то пробурчав себе под нос, продолжила заниматься своим кухонным делом. Швагерка еле себя сдерживала, чтобы не засмеяться, глубже нагнулась над корытом, в котором запаривала еду свиньям. Мати, похлопав корову по бочине, выпроводила ее со двора. Застоявшаяся за ночь животина с независимым удовольствием влилась в размеренно шагающее по улице стадо. Мать тоже не преминула сокрушительно покачать головой и погрозила ему пальцем.



«Да что это они на меня собак спускают, — взвился внутри Андрей, понимая на свой лад молчаливое осуждение родни. — Все на что-то намекают, будто в чужом саду застучали. Ну их, хай себе думают. Можно подумать, что меня кто-то в чем-то уличил. Да хоть обдогадывайтесь, я все равно спал на сеновалке. Вот и хавайся от них! Не хватало только, чтобы и батька что-нибудь еще высказал».

В этот раз вместо отца все, чего так опасался влюбленный, высказал его средний брат Кастусь, который еще жил в родительском доме, а свой достраивал невдалеке и собирался окончательно съехать к Филиповке.

— О, дивитесь, хто это к нам заявился? Сам пан закаханец собственной осой! Ну и як Яночкины ласки, брате? Поделись со старшим брательником, мот чем дельным подсаблю.

Андрей оторопел, потом хватанул стоящее у прясла коромысло и, не произнося ни слова, зло пошел на брата.

— Эй, когуты! Охолоните! — беззлобно, но требовательно остановил их отец. — Ишь ты их, на батькиным гумне вздумали бойки устраивать. Я от счас уши вам надеру, да и осоку за Днепр косить спроважу. Дажуся, сыны один на однага з дрекольем пошли. Вунь за стол сядайте, солнце ужо взошло, а мы тут лодырничаем. Давай, матка, зави усих на сняданак.

Прочитали молитву, отец благословил трапезу. За столом говорить было не принято, можно только отвечать на вопросы главы семейства. Дом у Селявы считался зажиточным, так что за стол — с семейными, работниками и невольниками — садилось человек двадцать.

Неволя на Литве, как тогда еще звали нынешнюю Беларусь, была намного легче господствующего вокруг рабства. Она, эта самая неволя, могла быть вечной или часовой, временной. Вот тебя, бедолагу, продают на Быховском рынке: навсегда это уж, тебе, брат, не повезло, тут уж ни Бога, ни совести, все зависит от воли хозяина. Может он и отпустить тебя, может и перепродать, а может и членом своей семьи сделать. Но из всей этой суровости было одно незыблемое исключение: если про твои мытарства узнала родня, поднапряглась и прибыла с выкупом, то не отпустить тебя по всем действующим в ту пору законам никто не мог. Возникали, конечно, трения сторон по вопросам цены, но, как правило, они в конце концов улаживались, невольник получал полную свободу. Только вот не всегда он радовался этой свободе, а иногда и вовсе не спешили невольник или невольница возвращаться назад в Московию. Свобода — она, вестимо, дама со странностями.

А еще в Могилеве продавали в неволю на время. Это прямо при совершении сделки и оговаривалось, дескать, я, такой-то, продал такому-то бабу или девку, полоненную на неприятельской стороне под Вязьмой, за четыре талера и три гроша на три с половиной года неволи. По истечении этого срока человек был своден и сам выбирал свою дальнейшую судьбу — оставался в городе, уходил на отхожие промыслы или возвращался домой.

Но в Могилеве невольничий рынок был не большой, так, отдельный куток, где людей выставляли среди других товаров. Самым большим, известным и, что называется, специализированным был подобный базар в Друцке, столице одноименного княжества, к которому в глубокой давнине относился и сам Могилев. Так что невольники за столом у Селявы не были какой-то диковиной. Дождавшись, пока все вышли из-за стола и получив у отца задания на работу, стали расходиться по своим делам, Андрей, перекинув через плечо вожжи, как-то боком подошел к отцу, который задумчиво раскуривал свою старую, еще дедовскую люльку.

— Бать, а бать, — стараясь придать голосу значимую самостоятельность, обратился к нему Андрей.

— Чего тебе? Ты мне там смотри, на покосе не вздумай лодырничать. Все были молодыми, все по девкам шастали, а работу робили, гляди мне, — отец с улыбкой



показал ему здоровенный кулак. — Чего тебе? Давай говори, а то вон Кастусь уже вожжи ищет, ехать же надо.

— Бать, ты только не руби сразу свое завсегдатое «не». Послушай, дело серьезное.

— Ну-ну, сурьёзник, давай уже глаголь.

— Благослови, отец, показаться! — выпалил одним махом Андрей и бухнулся перед отцом на колени.

— Ча-во! — взревел старый Селява так, что закричали куры и загоготали гуси. Все кинулись врассыпную. Кастусь с дугой в руках шархнул за стенку сеновала, кто-то, не разбирая дороги, ломанул в сад, мать с ведром застыла на пороге погребя.

— Бать, лучше благослови, а то ведь и так убягу, как некогда ты сосвоеволил! — твердо, с достоинством произнес сын.

— Матерь Божья, заступница небесная! — взмолилась мать и, опрокинув пустое ведро, бросилась к сыну. — Охолони, отец! А ты чего удумал, поганец, никак жениться...

— Какой там, мать, жениться! Енто он и без родительского благословения творит! Того гляди, с Янькой Бадриловской байструка нам в хату принесут! Он, мать, — лицо старого Селявы побагровело, — он... он показаться вздумал!

Мать охнула и повалилась на землю. Теперь уже испугались все и бросились обратно во двор. Отец и сын наклонились над упавшей. Текля была безпритомной. Брызнули водой. Развязали платок, под голову подложили свернутую овчину. Мать пришла в сознание быстро.

— Ах ты, негодник! — Текля рывком вскочила и, сорвав с плеча сына вожжи, принялась ими охаживать свое любимое чадо. — Да я ж тебе сама, вось гэтыми руками забью! От я тебе наказачу! От я тебе нарабую людей! Во гора так гора у хату. Это где ж ты разум свой покинув? О горя нам, так горя! — женщина, устав, откинула вожжи. — Что ж ты, Селява, глядишь на меня, як конь? Атлупшуй яго, чтоб на сраку неделю сесть нязмог!

— Позна ужо, старая, лапцавать, вырас нам на горя и позор сынок, — старик пытался заново раскурить трубку. — Во халера. Чаго-чаго, а этокого от тебе, сыне, не ожидал. Пойдем, мать, и вам неча тутатька стаять, работы вон полны двор.

Все молча стали расходиться, скоро во дворе остался один коленопреклоненный Андрей. Из-за сеновала вышел брат с дугой на шее.

— Ну ты и придурок, брательник, нашел на што благословляться. Што, совсем головой тронулся от своей Яньки? Какое тут у нас у доме казакование? Давай ужо вставай да поехали за Днепр, трэба делать, что тата наказал, к вечеру батька и мати трохи отойдут, за вячерай и погутарим.

У старого Селявы было семеро детей — три дочки и четверо сыновей. Как-то первыми родились два сына, потом пришла Божья немилость, и четверо деток, три мальчика и девочка, или родились неживыми, или помирали, не прожив и трех дней, так что ни покрестить, ни дать имени бедолагам не успевали, оттого и в семейных поминальниках они не значились. Ох, и молились все, и по монастырям, и по колдуньям ходили, сжалился Бог, уж неведомо какой, старый или новый, но понесла после долгого времени Текля и родила хлопца, назвали его Кастусем, потом подряд трех девок, а последним родился Андрей.

Скрипела телега, братья ехали молча. Первым заговорил Андрей. Заговорил с обидой, с надрывом.

— Ну, а никак я в разум свой не могу взять, чего они так на меня взъелись. И главное, и батька, и матка! Ну, что я такого особого попросил. Показаковаться, так у нас что ни месяц — кто-то казакуется. Вун, у начале лета хлопцы с Лупалова казаковались.



— Ну, казаковались, — как-то нехотя отозвался Кастусь, — аж двадцать пять человек сватажились, и только трое побитыми назад возвернулись, а остальных — кого посекали, кого в полон похапали.

— Ну, знаешь, эт как каму подвезет. Тут она судьба, — попытался возразить младший брат. — Лупаловским и впрямь не повезло, а вун бондарям и ружейникам, что в прошлую осень ходили, подшансило, и скарб немалый принесли, и полон большой пригнали, и сами все живые вернулись. Вот Бронька Казарята и собирает ватагу, он-то горобец стреляный, ужо раз пять за Смоленск шастал. Да и гутарит, что абы кого брать не сбирается, человек десять, не боле, и чтоб на конях. Не за полоном и рядом мы сбираемся, Бронька татлычит, што место одно ведает, дом барский, не то тамашнего князя, не то хана какого. Пустяшное дело: перебить челядь, забрать пару сундучков да одежки парчовой — и домой. Ночь идем, день в лесах да оврагах хоронимся. Если все добро ляжет, то и тремя неделями управимся.

— Дурень ты, Андрейка, ох и дурень. Заманки они всегда слаще меда. Мы што, галеча какая, вон у семьи какой хозяйство. Я вун скоро отделюсь, у таты с матулей только на тябе вся надега: и их на старости доглядеть и гаспадарку соблюсти, а ты, як той дейнека, у лихие люди собрауся падаться. Я вон у великакняжским войску паваявау, параниты звярнулся. Добра што все дабром скончылася. Бать тож весь пасечаны — и за веру, и за лихость. Ты его сегодня дужа заобидел, сказав, што он без благославления казачился, а ён и не казачився, там другая совсем история была. Ты, видать, пра Поклонскога и слыхивать ничего не слыхивал?

— Ну, не чув, а хто это?

— А эт, брате, што ни на есть первый казачий полковник на Литве, ему Масковский царь за сдачу Могилева шубу со своего плеча жаловал, соболью, денег дал и повелел первый беларуский полк казаков набирать и Чаусы с окрестностями под это дело ему выделил...

— Так наш батя оттуда родом, — перебил его Андрей.

— Об том и разговор. Их там, в Горбавичах пятеро братьев было, так Поклонский их всех в казаки загнал. Вот так Селявы и стали казаками. Бацька наш убег, раза три ловили и крепко били, но он сверавно убег аж в Вильню, а потом, погода, и домой вернулся. Ужо полка казачьего и в помине не было, да и сам полковник Поклонский назад к королю Жигимонду переметнулся и где-то в Эвропе сгинул. А наша родня Чаусская так Казаками звацца и стала, мы только одни Селявами остались.

— Я такого не знал. Бронька говорил, што наш батька знатным был казаком и што чуть ли не Маскву грабавать ходил, и вроди как ему наш дед благаславленья на это дело так и не дал.

— Слушай ты больше этого балабола. За ним вообще недобрая слава тянется. Брось ты его. Примирись с родителями и девку себе найди талковую, не эту вертихвостку. Пастой, пастой! — замахал руками старший брат, видя, что Андрей собрался ему возражать. — Ты к сваёй каханке приди как-нибудь вечерком в субботу.

— Што?

— От сам все и убачишь. Она ж тебя к себе по субботам и воскресеньям не подпушчает, так?

— Дык...

— Индык, от ты сходи, мот потом спасибо скажешь.

До делянки доехали молча, молча весь день работали, и уже когда в потемках возвращались домой, Костя вдруг спросил:

— Андрей, а ты знаешь, што у нас были еще старшие браты?

— Як были?

— А так были, табе, видать, памалалетству не рассказывали. Первага, Рыгора, матка радзила рана, яму б сейчас было б ужо за сорак. Другога звали Матеем, яго



татары зьявляи яще малым хлапцом. А Рыгорка годов в двадцать заказакавал и сгинул на маскальщине. Одни баять — пасекли яго, другие, што сгнил он в солеварне.

Я малым был, кали они в круг стали, побратались, у батьков благославления взяли. В воскресенье в церковь все собрались, абедню атстояли, потым занесли оружье свое, сложили яго у царских врат. Батюшка молитву над ним прочитал, и паказаченных и их зброю водой святой окрапил. Рыгорку нашего на атаманство благославил, все на святой книге поклялись десятину от добычи отдать церкви. Вот так, брат, а ты, як дурень, не познав броду паперся к бацке.

— Так я ж и не знал усяго этого...

— Не знал, так сейчас знай...

САМОГОНКА

У этого напитка нет запаха, у него есть пах. Кто не знает что это такое — пах самогонки, — может смело считать, что он впустую прожил свою сытую жизнь. Белоруса без бимбира не бывает, как не бывает грузина без чачи, украинца без буряковки, черногорца без грушки, перуанца без текилы, а американца без виски. И все это великолепие — всего лишь разновидность водки домашнего приготовления, ради которой варят, гонят, пекут и еще чего только не делают, чтобы она, родимая, появилась на свет и сделала свет этот милее и несерьезнее.

Маленький исторический экскурс. Момент появления крепкого спиртного напитка из подручных, подверженных брожению элементов, теряется где-то далеко в глубине веков, и подлинных истоков мы вряд ли когда дойдемся. Рассказни о том, что самогонокурение родилось чуть ли не на территории современного московского Кремля в одном из монастырей, скорее всего, досужие байки, так сказать, рекламная летописная страничка — для увеличения массовости прихожан. Спору нет, и самогон, и винишко в наших православных монастырях испокон веков курили, да и не только православных — и в инославных обителях тоже по этому делу дым коромыслом стоял. Неслучайно на Западе многие элитные и дорогие вина имеют свой исток в священном мраке монастырских подвалов. Но Запад Западом, а мы ведь с вами — и не Запад, и не Восток, мы, как совсем недавно выяснилось, — Центр Европы, почти «пуп атлантической цивилизации». Почему «пуп», а до сих пор все еще в навозе ноги греем? Это вопрос, скорее всего, риторический и к моей книге никакого касательства не имеющий.

Однако я нахально рискну предположить, что предки мои задолго до московских монахов тешили свое нутро и туманили разум житным напоем. Да и как по-другому быть, когда города и веси нынешней Беларуси, годков, как минимум, на триста-пятьсот постарше Московии.

А питейное дело в Москве сразу стало казенным, как только Иван Четвертый, по прозвищу Грозный, привез после взятия и разорения Казани на угро-финскую землю понятие «кабак». В кабаке, в отличие от наших шинка и корчмы, можно было только пить, не закусывая, и брать водку на вынос — и все это на не укрепленный еще как следует славянскими генами татарско-мордовский организм. Так что вон еще с каких пор, уважаемые господа патриоты, нынешних россиян спаивать начали, и главное — кто! Сам великий из великих, предтеча Петра, Сталина и чуть ли не самого Путина, царь с гнилыми зубами, гнилым телом и не менее гнилой головой — Иоан, по прозвищу Грозный, хотя по мне, к нему подходит более кличка Людожор. До сих пор, насколько мне ведомо, ученые так и не предъявили миру ни одного клочка бумажки с буквами, написанными собственноручно царем, а знаменитая Либерия, библиотека царя, — очередной миф. На кой фиг, скажите мне, безграмотному книги? Байка про бабкино книжное наследство тоже никакой серьезной критики не выдерживает. Засидевшуюся в Риме в девках Софью Палеолог,



царевну уже несуществующей Византийской империи, по всей видимости, униатку, сбаврили к вящей славе Христовой и Святого престола в далекую и дикую Московию иезуиты с каким-то своим умыслом. Никаких книг из уже давно несуществующей Александрийской библиотеки она с собой возами не везла. По свидетельствам современников, Ванюшина бабка Софа была завзятой чернокнижницей, гадалкой и ведьмой, а из Рима привезла с собой с полдесятка соответствующих пособий. Вот и все наследство! Кстати, как и внучок, выпить, говорят, была не промах.

На территории же нынешней Беларуси вопрос производства спиртного впрямую был увязан с вопросами чести, привилегий и личных свобод. Право гнать самогон, как и рыцарское достоинство, надо было заслужить перед Великим князем или Королем. Так было и в Украине. До московского подданства казаки и их старейшина обладали правом винокурения, посполитые — нет. «Посполитый» — это всего лишь народный, а никак не польский, как у нас многие думают. Так вот, право варить бимбир надо было заслужить, а потом еще чуть ли не в бою отстоять. Может, поэтому и в наших Поднепровских краях было модным едва ли не со времен Хмельницкого затесываться в черкесы, то бишь казаки. Отсюда, к слову будет сказано, пошла и моя фамилия, до семнадцатого века звучавшая короче и понятнее — Казак. И вот это некогда завоеванное право личной свободы колобродит и в моем роду, да и во всем нашем народе. Белорусы всегда, при любой власти, гнали, гонят и, я надеюсь, будут гнать одну из лучших в мире хлебных самогонок. При этом гонят ее не для продажи, а для личного, так сказать, употребления, для утверждения своей самовитости и господарства. Одним словом, «мой дом — моя крепость», где я сам себе государь и государство.

Я далек от мысли, что мои давние предки, а уже тем более дед, бабушка, да и отец так сложно подходили к этому простому житейскому вопросу. Они по мере необходимости гнали самогонку, и она у них всегда была. Некогда им было задумываться, что этот горючий напиток — есть в предельной удобоваримой для человека концентрации солнечная энергия, сакральный смысл употребления которой давным-давно утерян.

В моем детстве жито на приусадебных огородах сеяли мало, так, небольшие полоски, «скотине да курам на зиму» — хитро улыбаясь, говорил дед. И все соседи так же говорили, а на задах приусадебных участков буяла и набирала силу будущая брага. В процессе приготовления самодельной водки принимала участие вся семья, от мала до велика, впрочем, все деревенские дела и работы, как правило, коллективны. Сначала рожь замачивали, зерна набирали влагу и набухали. Потом их ровным слоем выкладывали на здоровые противни и проращивали в теплом затененном месте. Пророщенное зерно сушилось и после этого приобретало таинственное название «солод». Тогда мне трудно было понять, почему это рожь была зерном, а вдруг стала каким-то солодом, хотя внешне они мало чем отличались. Я, украдкой от всевидящей бабушки, запускал ручонку в мешок с прошлогодним житом и шел сравнивать его с солодом. Разницы почти никакой не было. Ну, может, чуть растрескавшиеся зернышки с присохшими темными пуповинками — и все. Смотрел и недоумевал: почему из этих подпорченных получается самогонка, а из блестящих и красивых — нет? Приставать с расспросами к взрослым было пустым делом. Ответ бабушки Евы на подобные заковыки я знал наперед: «Так кто ж яго ведае? Видаць, так трэба». Дед начинал разводить какую-то ученость про белки и крахмалы, а потом, внимательно оценив мой абсолютно тупой взгляд, давал в руки молоток и насыпал на фанерку приличную горку перекореженных гвоздей. «Иди ужо, цвики прамь, химик!» Я нехотя плелся выполнять наряд, а в голове нераспрямым гвоздем торчала опаска вечером попасть в помолочную команду.

Солод надо было обязательно молоть, для этого на жерновах был или съемный деревянный круг с железной набивкой, или другой камень, или специальное при-



способление в виде клинушка, который регулировал плотность прижатия рифленых камней жернова. На хороших старых жерновах можно было смолоть муку для самых пышных пирогов и блинов. Солод требовал грубого помола. Каменный жернов вращать было очень тяжело, и мы, малышня, крутили отполированную деревянную ручку по очереди. В Ресте были и каменные, и деревянные жернова. Каменные, настоящие, если верить деду, доставшиеся ему еще чуть ли ни от его прапрадеда, потом куда-то исчезли. Может, отдали кому, а может, камень милиция изъяла в порядке профилактической работы по искоренению самогонварения. Жалко, мне и сейчас иногда снится этот куполообразный, словно огромный хлебный каравай, серый камень с затягивающей взгляд воронкой посередине. Испещренный по бокам какими-то таинственными отметинами и знаками, вращаясь, он как бы оживлял их, и мне казалось, что я вижу несущихся куда-то всадников, летящих диковинных птиц и неведомых зверей. Снится мне камень и будто хочет что-то поведать такое, чего я без него никогда не узнаю. Грустно. И я светлой завистью завидую своему знакомому итальянскому поэту, который живет в доме — ровеснике Рима. А в отдельном сарае у него, как в настоящем музее, хранятся старинные орудия труда его предков, в том числе и целая вереница старых каменных жерновов. Это — Европа, а мы все продолжаем жить по принципу «перекасти поля». Может, пора остановиться?

Потом солод «забалтывали» и «заводили». Первое — это заливали его теплой водой в большой бочке, иногда туда еще добавляли сваренную и потолченную картошку, запускали разведенные в воде дрожжи, всыпали какие-то сушеные травы, все это тщательно взбалтывали специальным длинным и узким веслом — мешалкой. После всех положенных манипуляций и обязательного шептания не то молитвы Божьей Матери, не то старинного заговора, эта вкусно пахнущая субстанция получала громкое имя — брага. Брагу «заводили», делалось это просто: в бочку бросали раскаленные в печи крупные камни и укутывали бочку старыми овчинами и ватными одеялами. Через какое-то время брага начинала урчать, пыхтеть, одним словом, работать, или — «бродить». Ее тоже надо было «доглядывать», но детям этого никогда не доверяли.

И вот оно — самое таинственное и сакральное, что называется — момент истины. Вы же помните, древние безапелляционно заявляли: «In vino veritas» — истина в вине (а не в примитивном выведовании у перепуганного радиста паролей и предателей в одноименной повести о войне). Всё завершающей этап. «Сегодня ночью гоним!» — тихо с утра сообщалась заветная весть.

Гнали самогонку в бане, ночью, соблюдая все правила партизанской конспирации и светомаскировки. Еще днем в различных мешках в баню доставлялись комплектующие заветного аппарата. Верхняк — огромный чугунок со специально вырезанной в днище круглой дырой. Гусек со змеевиком — это специальные трубки; одна — изогнутая, как гусиная шея, другая — медная, завитая в кольца. Специально обрезанная и подогнанная под большие чугуны печка-буржуйка с набором жестяных труб. Специальное корыто, с отверстием в одном торце почти у самого дна и полукруглой выемкой сверху на противоположной стенке. И, наконец, специально коротко напиленные и некрупно наколотые сухие дрова — чтобы горели жарко и без дыма.

Следует оговориться, что все это добро в повседневной жизни тщательно хоронилось от посторонних глаз и друг с другом никак не пересекалось. Тогда, да и ныне, за хранение таких агрегатов полагалось уголовное преследование. Ох, живы еще в наших государствах замашки Ваньки-людоеда. Нигде в мире за это давно уже не сажают в тюрьму, ежели гонишь, конечно, для себя, а не на продажу и государству не составляешь конкуренцию. У нас же все по-прежнему.

Гнала самогонку бабушка Ева, деду она не доверяла. Не умел он «ни первач увесь узяць», «ни агонь толкам саблюсь», однако при всем этом недоверии,



свой первый хозяйский стакан еще теплого самогона дед Никодим получал неизменно.

Собирался аппарат следующим образом. Устанавливалась буржуйка, дымоходные трубы, изгибаясь коленами, уводились в отверстие банной вьюшки. На печку ставился большой целый чугунок, в него заливалась отгулявшая и успокоившаяся брага. Сверху на него прилаживался такой же чугунок, только с дырой в доннышке — верхняк. Тот верхняк гуськом соединялся с помещенным в корыте змеевиком, конец которого выходил из корыта наружу. Все это плотно зачеканивалось чистыми матерчатými жгутами, хлебной замазкой и глиной. В корыто наливалась холодная вода, зимой набрасывался снег, в печурке разводился небольшой и ровный огонь, и вот процесс, как говорил генсек, — пошел... Да, еще: на выходную трубку змеевика повязывалась недлинная ниточка, по которой долгожданная влага тоненькой струйкой стекала в разнокалиберную тару.

Может, у кого этот процесс был налажен и по-другому, а у нас так. На бабкину самогонку никто никогда не жаловался, и голова ни у кого с утра не болела.

Первым шел первач — первый из первых, крепкий из крепких, градусов под шестьдесят, его надо было взять до конца и не смешать с рядовой самогонкой. С чугуна брали какое-то определенное количество водки — и все, остальная, почти безалкогольная жидкость собиралась отдельно, отдавалась детям или выливалась. Назывался этот кисловатый, но пахнущий настоящей водкой напиток «бориська». Почему так — не знаю, но моей первой выпивкой был именно он. Хотя бабушка Ева нам, внучатам, и первача давала попробовать из маленькой серебряной ложечки, которой и сама снимала пробы.

Прошло более полувека, нет уже в живых ни бабушек, ни дедушек, ни отца с матерью, а я, попробовав года в три или четыре белорусского национального продукта, до сих пор не спился, не одурел, а как-то по-тихому выучился, обзавелся семьей, можно сказать, вышел в люди и вот сижу и слагаю гимн во славу вольного духа своего народа, его древних традиций и неистребимых обычаев.

На том и стоим.

СЦЕНА

Говоря об актере, я имею в виду только исконное и единственное смысловое наполнение этого слова — театр. Вне его актера нет по определению. Мне возразят: а кино? В кино подлинного, исконного актера в чистом виде нет и никогда не было, лучшие киногерои пришли на отечественный экран с театральной сцены. Собственно, они из театра никуда и не уходили, для большинства из них кино служило и служит своеобразной халтурой, приносящей деньги и популярность. Вообще, на мой взгляд, кино — это искусство механики и трюков, в нем нет души. Есть цена слезы на сцене и цена слезы на экране. Первая — горячая и горькая, вторая — холодная и пресная, потому что родилась в пипетке ассистента.

Рос я в обычной рабоче-крестьянской среде, где театру места попросту не было, хотя сама основа театра — лицедейство — конечно же, жила в сельской повседневности. В то время без магических действий и соответствующих заговоров-молитв не начинали ни одного более-менее значимого дела. Не всегда творилось это прилюдно, но творилось, и нами, детьми, впитывалось, благо, заслоняющих белый свет радио и телевизоров еще не было, и остатки древних чудес доживали свой век в наших дворах, банях, лесах и пущах. Да что телевизоров — книг в сельских домах практически не было. И к шестидесятому году двадцатого века мечта барина и крепостника Некрасова о народном просвещении так и не осуществилась в отдельно взятой моей маленькой деревеньке, расположенной всего в двадцати километрах от областного центра, и, не переедь мои родители в Могилев, неизвестно, как бы сложилась моя судьба.



Театр сыграл в моей жизни, наверное, главную роль: не став актером, я все же стал человеком, сумевшим вырваться из приклатненного дворового окружения, куда я с головой окунулся по приезду в город.

После восьмого класса во мне произошла какая-то разительная перемена, мне стало неинтересно бесцельно шататься по пыльным улицам и искать приключений на одно место. Мне вдруг захотелось чего-то нового: по-детски наивного и по-взрослому необычного. Думаю, что все мы в той или иной мере, каждый в свое время, проходим через это. Можно это назвать испытанием улицей, можно и другими словами, смысл от этого мало изменится. Улица и городской двор, в обход стараний наших наставников и родителей, оставляют у каждого в жизни свою отметину. Тогда, в шестидесятые годы, все мы без исключения причисляли себя к дворовой шпане. Мы воспитывались бабушками и двором, родителям было не до нас, они самозабвенно, на полном серьезе строили коммунизм за нищенскую зарплату. Кто-то переболел свой «дворовостью», как корью, получил иммунитет и ушел в большой мир, а кто-то так в «пацанах» и остался, забосаячил и пропал в мутных водах блатного мира. Где они сегодня, мои однодворцы Булочка, Псинка, Абдула, Филипчик, Тютюньник? Живы ли, какие их ветры гонят, греет ли кто добрым словом их озьявшие души?

Не помню уже как, но где-то в октябре 1968 года я попал в драмкружок нашего родного ДК железнодорожников, по-моему, пришел в библиотеку менять книгу и зашел в зал, где шла репетиция. Зашел на минуточку, а застрял на всю жизнь.

Проводником в таинственный мир Сцены для меня стала Эсфирь Матвеевна Михайлова, заслуженная артистка РСФСР, прима нашего драматического театра, а по совместительству — и руководитель нашего народного юношеского театра. Это сегодня примы и звезды за снисхождение к народу требуют предоплату. Да и какие они звезды! Звезды за деньги не светят. В те годы все было по-иному, тогда исповедовался принцип Евгения Михайловича Винокурова: «учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться». Вот нас и учили настоящие мастера, и учили не на «фабриках звезд», не в «домах» с прозрачными перегородками, а на провинциальных сценах. Фактически, наш драматический кружок был мастер-классом Эсфирь Матвеевны. Я сегодня не знаю, многие ли из ее учеников стали профессиональными актерами, но то, что десятки людей, как и я, обрели благодаря ей свой путь в жизни и непреходящую любовь к театру — в этом уверен. Боже упаси, меньше всего я бы хотел идеализировать свою «совковую» юность и принижать нынешние ценности: в каждом огороде хватает и ягод, и сорняков.

Почти олимпийский свет рамп, таинственная тишина кулис, ни с чем не сравнимая легкая и летучая пыль «колосников». Кто однажды это впустил в себя, кто однажды познакомился с великой музой Мельпоменой — тот до конца своих дней останется посвященным в великие таинства служения Свету.

Увы, я не стал актером, но юношеская любовь к театру и почти мистический трепет перед сценой до сих пор живы во мне.

Мы играли новогодние детские утренники. По три представления в день, плюс еще выездные спектакли. Мы не роптали и были счастливы вместе с нашими маленькими и такими благодарными зрителями. На обед мы бегали в столовую в конце улицы Белинского, а ДК наш находился в самом ее начале, грим и костюмы снимать было некогда, поэтому среди бела дня по заснеженному тротуару гоняла веселая и весьма экзотическая ватага вполне себе сказочных персонажей. Народ в изумлении останавливался, пропускал, дети узнавали и объясняли родителям, кто есть кто и чем заканчивается сказка. Одним словом, нас на «вокзале», так в просторечии назывался наш район, знали и любили.

После сказок мы, и вся великая страна по имени Советский Союз, которую так бездарно профукали коммунисты, активно включились в подготовку к столе-



тию со дня рождения величайшего из величайших, человеческого из человеческих — Владимира Ульянова по кличке Ленин. До конца сказки, в которой действительно жила страна, оставалось еще двадцать долгих лет. Павликов Морозовых среди нас и наших родителей не было, и к юбилею мы относились, как в анекдоте тех лет.

«Первое место в соцсоревновании производителей сувенирной продукции, посвященной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, занял минский часовой завод.

— Это что, вот за эти обычные ходики? — недоумевая, спросил высокий начальник из Москвы.

— Да, уважаемый Леонид Ильич, вот эти простенькие часики и заняли первое место...

— А символика, символика где юбилейная? — с раздражением напустился гость.

— Вот сейчас, сейчас сами все увидите...

Стрелки ходиков слиплись на цифре двенадцать, механизм ожил, дверца отворилась, и, вместо привычной кукушки, из часов выехал броневик, на броневике — Ленин, он вытянул “вперед ведущую руку” и закуковал. И так двенадцать раз».

Как бы кто ни куковал, но играли мы этот спектакль, что называется, на подьеме, и заняли первое место среди народных молодежных коллективов республики. Лауреатскую медаль и диплом уже позже забирала мама, я пошел осваивать азы солдатской службы.

Потом жизнь меня сводила с великими актерами и режиссерами: Юрием Никулиным, Юрием Любимовым, Валерием Золотухиным, Владимиром Высоцким, Татьяной Дорониной, Роланом Быковым. А в Московском театре миниатюр, времен Вилькина, я одно время дневал и ночевал и чужим в актерской компании, благодаря урокам Эсфирь Матвеевны, себя не чувствовал.

Недавно наведаясь в родной ДК, на большой сцене шла репетиция, осторожно заглянул в зал. Старая и до боли знакомая сцена, неполный свет софитов, в центре зала, у стола с настольной лампой, — женщина. Все внутри напряглось, и я, помимо своей воли, с надеждой произнес: «Эсфирь Матвеевна!»

— Стоп! — громко хлопнула в ладоши незнакомая мне дама. — Вы кого-то ищите?

— Да, наверное, — извиняясь, ответил я, — навьерное, ишу свою юность...

СЕНОКОС

Прежде чем стать сеном, трава должна пропитаться потом, первые капли которого брызнут со лбов разгоряченных косцов, упадут и останутся незаметными, смешавшись с буйной росой, еще сизой от утренней прохлады. Потом, когда солнце войдет в силу и мертвые стебли, лежащие сверху, пожухнут, а нижние от избытка влаги и тепла станут подпревать, на луговину с песнями, пересудами и смехом придут бабы и девки и тоже уронят свои соленые капельки на буйство прошлой растительной жизни. И приходиться им сюда будут несколько дней кряду, а когда травинки начнут набирать ломкость, их станут на ночь сгребать в небольшие копешки, а утром, после того как пропадет роса, вновь растаскивать и расстилать ровным ковром по колкой щетине срезанной травы. И снова пот будет падать и падать, становясь одним целым с бывшей травой. Иногда, утром, одна или две копны окажутся примятыми и разеложенными. Женщины постарше неодобрительно покачают головами, на всякий случай припомнив, где был и во сколько вчера вернулся благоверный. Молодицы украдкой прыснут в кулак, внимательно и с любопытством поглядывая друг на дружку, пытаясь определить, кто смутится более всего. А будущее сено сохранит обет молчания, уже впитав в себя сладкий пот любви и терпкую тягучесть семени.



Потом будет день итога. На луг придет почти весь поселок с вилами, граблями, восьмеркой свернутыми веревками, широкими двуколыми колясками; невыпряженные кони будут с жадностью скубсти молодую сочную траву, уже готовое сено, сгуртованное в равные, крупные скирды. Скирды будут горбатиться, словно спины каких-то доисторических живел, так и не доползших до спасительной реки. Потом кто-то, на кого укажет сход, возьмет в руки грабли у самой гребенки, а второй выборщик, почему-то почти всегда — женщина, опустив платок на самые глаза, отвернется к лесу. И первый, указуя, словно гигантской указкой, на одну из копенек, громко выкрикнет: «Кому?» «Галагаю!» — словно эхо, протяжно и певуче ответит баба. «— Кому? — Бардиловкому!»; «— Кому? — Магазинному!»; «— Кому? — Катерлихе!»; «— Кому? — Тихоновичу!»; «— Кому? — Казаку!»

И мы, детвора, срывались и летели к той копне, на которую только что пал выбор. Облепляли ее и дожидались деда Никодима и бабу Еву, которые, вырвав из стожка по клоку сена, принимались его рассматривать, мять, нюхать с таким заинтересованным и серьезным видом, что создавалось впечатление, будто это им, а не Лыске заготовили корма на зиму. Оставшись довольными (что бывало очень редко), старшие принимали решение: досушивать стожок или сразу на сеновал. К нашему счастью, бабушкой выносился правильный вердикт: «У пуню!» И мы с радостными криками начинали носиться кругами, как дорвавшиеся до свободы щенки. Команда «у пуню», то бишь в сарай, означала конец ночевкам в душной избе под чутким надзором взрослых и переход (о, радость!) на бесконтрольную территорию сеновала.

Помогать метать сено на воз разрешалось только старшим внукам. Вилы — нешуточный инструмент, неизменное орудие всех неудачных белорусских бунтов и восстаний. Бунтов было много, а лучшей доли как-то до сих пор особо и не перепало. Четырехкогистая, большущая стальная лапа была глубоко запрятана в пахучем ворохе и, как нам казалось, все норовила дотянуться до наших голых и загорелых животов. Кто помладше, помогал сено утаптывать и растаскивать по возу. Воз получался огромный, и опять обильными ручьями на сено струился пот. Чтобы, не дай бог, вся эта рукотворная травяная гора не расползлась или не опрокинулась на какой-нибудь рытвине, на спластованное и тщательно утрамбованное сено сверху клали специально приготовленную толстую жердь, похожую на длинную оглоблю, называлась она «рубель», наверное, оттого, что на концах имела специально вырубленные выемки. Мужики, правда, часто смеялись, мол, белорусы такие богатые, что даже сено русским рублем прижимают. Однако рублей у моих односельчан тогда особо и не водилось, заменяли их палочки за трудодни в блокноте табельщицы, так что жить приходилось своим трудом. Рубель поднимали на воз, размещали посередине, в выемки пропускались веревки, крепящиеся к передку и задку возка — таким нехитрым образом сенная пирамида, получив еще одну порцию пота, становилась устойчивой и вполне транспортабельной. Потом была разгрузка сена во дворе и его перетаскивание в специально для этого оборудованный над погребом сарай, и снова на сухие стебли обильно капали крупные капли пота, капали и растворялись в этом шуршащем и пахучем море.

Но перед сеновалом еще была ни с чем не сравнимая езда на этой, по нашим мальчишечьим меркам, громадине! Мы сидели высоко, а внизу, помахивая хвостом, никуда не спеша, шла наша лошадка. Старший из нас, Серёга, гордо держал совершенно ненужные вожжи, позади за возом шли, довольные сеном и радостью внуков, бабушка с дедом. Невидимая, древняя магия работы незаметно перетекала от старых к нам, молодым, а вместе с ней в наши юные души переселялась и некая иная неведомая древняя сила, без которой трудно жить и страшно умирать. Сухая, пахнущая будущей жизнью, трава поднимала нас высоко над землей, и мы летели, мы парили над окрестом под мерный скрип невидимых колес.

Это были первые полеты в моей жизни, как высоко я тогда летал! Ныне, боюсь, уже ни один самый современный лайнер не сможет поднять меня на этикие высоты.

ПОРА! ПОРА!

Горе, как и счастье, приходит неожиданно.

Старый Трофим безразлично глядел на сгрудившихся вокруг стола московских стрельцов, облюбовавших его хату для своих еженощных попок. Подслеповатые коганцы и толстая восковая свеча, прилаженная посередине широкого стола, уставленного разнокалиберными бутылками, чарками и небогатой снедью, лишь слегка освещали лица людей. Косматые, бородатые, в странных, похожих на бабьи одежды, халатах, чужинцы отбрасывали на стены страшные, длинные тени.

«Ровно черти повылазили из преисподней, — осенив себя крестным знаменем, подумал Трофим и завернулся в длинный, весь перелатанный овчинный тулуп, — и когда же ты, Господи, сведешь эту напасть с земли нашей? Почитай, седьмой год нет покоя. Только лихо гуляет окрест. Вон, люди бают, что за стенами города ни селян, ни жилья, ни скотины на десятки верст не сыщешь. Псы одичалые рыщут да крумкачи-вороны по пепелищам кости людские носят. Боже, боже, за что же мне все это дано видеть и терпеть? Вчерась ввечеру струги приплыли из-под Шклова. Стрельцы и черкесы возрадовались, бросились к Днепру, думали было, гостинцы царицы подоспели, ан нет: в ладьях свинец, ядра, порохов малость, а остатне все — полон, полон. Поднепровье все уже давно обезлюдело, так они теперь городенских, виленских и полоцких людей ловят, яко зверье, по десятку веревками вяжут — и в струги, в струги, а от нас по прямому тракту — на Мстиславль, Смоленск и далее — в бескрайнюю Московию. Полон гонят по дорогам, словно скот, больных и немощных бросают в придорожных канавах окалевать. А единовѣрцы ведь, православными себя именуют, в церкви ходят, каются, причащаются, — Трофим вздохнул. — Ох, грехи, грехи наши, сколь это еще будет длиться?» — старик отвернулся к стене и, не почувствовав тепла в своем высушенном работой и временем теле, погрузился в чуткую дрему.

Дом у Трофима был просторным и видным, на высоком каменном подмурку, который возвел его прапрадед, а может, и еще кто-то из более далеких предков, сейчас разве упомнишь. Род их, как говорилось в фамильном предании, уж века два занимался оружейным ремеслом, а отсюда имел уважение людей и добрый достаток. Дом гордо стоял в начале улицы, полого подымающейся к центру города от Ветряной башни. На первом, каменном, этаже и в глубоких подвалах дома были сами ружейные мастерские, небольшая кузня, кладовки, слепые каморки для работников. Особой гордостью хозяев было просторное сводчатое помещение с широким дубовым столом посередине, служившее и для артельной работы, и для цеховых трапез, здесь же в углу был сложен из дикого камня большущий очаг, имевший, помимо кузни, свои меха. Неширокие, стрельчатые окна давали достаточно света, а в случае напасти служили неплохими бойницами для ведения огня. До прихода москвитов хозяйство Трофима числилось в зажиточных, а сам он, как товарищ мастера оружейного цеха, был именитым горожанином и не раз выбирался лавником при магистрате.

Детьми Трофима Господь не обидел, послав четыре сына и пять дочек. Два сына и три дочки жили своими домами, предпоследний, Бронька, попер в дурь, не стал учиться семейному ремеслу, а с детства задружил с книжками, перешел в унию и подался в далекую Европу учиться аж в самих университетах. По редким письмам да пересказам знакомцев выходило, что выбился Бронислав в люди, важной птицей стал и служит нынче чуть ли не при самом гетмане Сапеге. Остальные сыновья, два зятя и пять внуков при родовом деле остались. И все бы хорошо, кабы не война. В былые-то времена любая баталия только прибыток в дом несла, а нынешняя — все подчистую вон вымела и по белу свету разметала. Нет ни достатка, ни домочадцев,





да и самого дома, почитай, нет: верхняя деревянная часть почти выгорела еще в начале войны, когда сдавшийся без боя Могилев начали грабить новоявленные освободители.

Царь Алексей Михайлович каких только благ горожанам за добровольную сдачу фортификации ни предлагал, а как только город ворота открыл, поддавшись и царским посулам, и уговорам попов, и подметным письмам непутевого Костяна Поклонского, так уж всего сполна изведаль. Почитай, за год остался Трофим одинок как перст и гол как сокол. Старшего внука и одного из зятьев свел под Чаусы в казаки все тот же Поклонский, жалованный Москвой чином полковника и получивший за предательство во владение почти всю окрестность. А месяца через четыре и вовсе беда грянула, лихо-то в одиночку не ходит. Когда Трофим отлучился по делам в Шклов, москвиты с татарами подчистую ограбили дом, а всю фамилию, с бабами и малыми детками, вывели куда-то под Ярославль в рабство. Видишь ли, Руси великой шибко мастеровые нужны! Благо дело, соседи хоть дом потушить успели, хотя кому он теперь нужен, дом-то этот? Бросился было полурехнувшейся старик к епископу Ермолаю, последней надежде и заступнику, тем боле что для владыки Трофим был не последним человеком. Сколько от себя, да и от всего цеха он в архиерейские покои добра и денег переносил! Да куда там! Назвал его преосвященнейший «литовским человеком» и посоветовал идти с челобитной к воеводе Войкову, а то и к самому Шереметьеву, дескать, оба будут сегодня на обедне. Не получилось с челобитной — ни в храм, ни в какое иное место, где бывали воеводы, его не пустили, выгнали взашей, с матюками и побоями.

Постепенно свыкся Трофим со своей бедой, да еще и Бога благодарил, что дочек да внучат в полон свели. Может, они хоть там как в жизни устроятся, все уж лучше, чем терпеть насилие от пьяной солдатни и казаков Золоторенко. Будь они все неладны!

А москали лютовали, особенно если им кто хвост прищемлял. Глядя на их зверства, душу терзали сомнения: люди ли это? Божий ли образ носят на себе? А самым тяжким бременем было стоять с ними в церкви и глядеть, как они умиленно каются, замаливая свои изуверства. Иные прям перед церковью руки от крови в снегу оботрут — и на обедню, да еще и к Чаше норовят первыми подойти. Года три уже как Трофим в церковь не ходил. Здесь, у себя в подвале, божницу соорудил и молился, словно раскольник какой.

С год как повадились к нему на пожарище ходить пьянствовать стрельцы. Поначалу страшно было, да стерпелся. Так уж устроен, видать, человек, что ко всему привыкает, и как бы плохо ни было, страх того, что может быть еще хуже, заставляет терпеть нетерпимое. Одичалые, немые и всегда пьяные вояки не обращали на него никакого внимания, только иногда толкали палками и гнали разводиться огонь в очаге, благо, дрова все еще были рядом, на втором этаже. Зато утром, когда непрошенные гости убирались вон, на столе всегда оставались объедки, а то и пара глотков выпивки. Старику этого хватало.

Трофим услышал, как завывало в трубе, громко застучала полусорванная ставня. Первая февральская ночь выдалась морозной и ветреной. Не дожидаясь тумачков от весело ржущих ратников, старик вылез из своей норы и, шаркая стоптанными бурками, поплелся за дровами.

«Ну, погодите, буде вам скоро, ой, буде!» — подумал и испугался: а ну как услышат окаянные его мысли?

Дрова занялись быстро, весело затрещали в настывшем камине.

— Эй, польская скотина, поди сюды, — обернувшись в его сторону, позвал молоденький стрелец, из вновь прибывших.

Видя, что старик никак не реагирует на его приказ, молодец, громко икнув, стал выбираться из-за стола.



— Уймись, голуба, старый — глухой, да и не поляк он! — хлопнув напарника по плечу и усаживая на место, произнес Орефий, года четыре безвылазно служивший в крепости и, видать, с этим уже свыкшийся. Иногда, напившись, он плакался Трофиму на свою горькую долю и просил похоронить по-людски, когда его убьют в этом чужом и ненужном ему городе.

— А кто ж он? — продолжая икать и все еще косясь на старика, удивился новобранец.

— Литвин, такой же православный человек, как и мы с тобой.

— Как — православный? Батюшка нам в Смоленске говорил, что они ж все католики и жиды, а христианскими...

— Да брось ты его, — перебил новобранца старожил, — сбрежал твой поп! Давай-ка, друже, лучше выпьем! Скверно на душе, ой, братушки, скверно. Что-то не так, не так, чует мое нутро. Кажись, измена царевым людям зреет. Уж больно покладистыми последнее время сделались горожане, даже смутьяны в остроге — и те буянить перестали. Не к добру это, эх, не к добру.

— Буде-то каркать, Арефа! Затишье на войне. Войска большого поблизу нетуть, разви что шиши по лесам озорничают, так оне в город не сунутся. Куда им с их рогатинами! А мещане притихли, так их, почитай, уже и нема в городе, посекли, да и повыводили. Так нечя тут зазря-то напраслину гнать. Вот отсидимся до весны, а там и домой, мот, отпустят, хоть на месячишко. Каково оно там, на Руси? Вот за энто давайте, друже, и выпьем.

Трофим чуть было не упал в очаг от услышанного. «Неужто кто из горожан протрепался? Если так — ох и беда будет, лютой будет беда». Осторожно глянув на пирующих, старик ничего особенного в их поведении не заметил. Пьяные — как пьяные. Подбросив пару поленьев, он поплелся в свой закуток. Завернувшись в овчину, стал внимательно вслушиваться в пьяный разговор, а в голове вертелась и вертелась одна и та же мысль.

«Знамо дело, тяжкая штука такое долго держать в секрете, всякому платок на роток не накинешь, да разума своего не пришьешь».

Почти все взрослые горожане уже с месяц как знали, что десятого февраля по кличу бурмистра Левантовича следует кончить русский гарнизон. Затворить ворота и поднять над ратушей стяг Великого княжества литовского. А там — что будет, уж лучше, чем медленно дожидаться, пока тебя зарежут, как барана, или, как безропотную скотину, уведут в рабство.

Трофим был одним из зачинщиков этого рискованного дела, и пьяные страхи стрельца не на шутку его встревожили.

«Надо бы поутру переговорить с Язэпом да и с надежными друзьями. Упустить такого шанса нельзя. На безумство наши помярковные решаются редко, а если решаются, то обратного хода не дают». Старик осторожно раздвинул доски своего лежака и нащупал прохладную рукоять тяжелого боевого топора. Надежного и верного оружия, постепенно вытесняемого мушкетами и ручницами. Близость зброи успокоило, сердце застучало ровнее и, как ему показалось, мене громко. Незаметно пришла и зыбкая дрема.

Стрельцы так упились, что даже не пошли утром на башню демонстрировать начальству свое служебное рвение. Трофим спешил поделиться своими опасениями с товарищами. Спрятав под одеждой короткий корт, он с презрением обошел валявшихся у очага вояк, остановился у сгруженных в углу ружей. Оглянулся на спящих. Вдруг как будто что-то его толкнуло изнутри. Старик нагнулся к оружию и профессионально, как и подобает ружейному мастеру, выщелкнул из замков кремни. Мгновение подумав, он сунул пять опрaвленных в металл камешков в небольшую печурку, что сбоку от очага. Опытные рейтары часто осенью и зимой вытаскивали из своих мушкетов огнива и держали в сухом месте — для пушей надежности. Так



что ежели хватятся и напустятся на него с пристрастием, можно будет показать, где камни, и как-нибудь отвертеться. Еще раз глянув на врагов, дед вышел вон.

Утро выдалось на редкость ярким. Застуженное ветром солнце казалось кроваво-красным, как при закате, и с явной неохотой вылезало на небо из своей Заднепровской, морозной дали. Обезлюдивший город начинал помаленьку оживать. В церквах пономари застучали в биты; звоны, гордость местных прихожан, «освободители» давно уже снимали с колоколен и растащили по своим уделам. Чуть в стороне выбитыми окнами мрачно смотрел на белый свет ободранный костел, дальше, среди невысоких домишек, закопченной руиной грудилась синагога. Евреев в городе не осталось ни единой души. С десятков покрестили, да и тех после татары куда-то свели, а остальных с детьми и пожитками, с согласия горожан, выперли за городские стены, и где-то в Печерских лесах их всех до одного порезали запорожцы. Грех темным пятном лег тогда на души многих могилевчан.

Трофим шкандыбал по родному городу. Он любил свой кут, знал его со всех сторон. У города, равно как и у человека, есть в жизни и плохое, и хорошее, есть и свое сокровенное, а иногда и постыдное, которое глубоко прячется и не всякому сказывается.

Людская молва именно Трофимову далекому предку приписывает хитрость с крепостными стенами. Люд окрестный из стари сплошь был мастеровым, предпочитал более торговать, чем воевать. Даже бедняки в Могилеве отродясь в лаптях не ходили; хоть в худой, но в коже шествовали Трофимовы земляки по грешной земле. От лиха норовили откупиться, в магистрате даже специальный сундук с хабаром имелся. «А со стенами, — Трофим ухмыльнулся в длинные вислые усы, уже успевшие схватиться добрым инеем, — забавная вышла история».

Теперь уже толком никто и не вспомнит, когда это было, может, при Батории, а может, и ранней, однако пришло время ладить новые стены. Старые и погнили, и врагами побиты были — срам, одним словом, а не городская фортелия. Долго в магистрате рязали-спорили, с чего, а главное, за какие такие гроши все работы исполнить. Вот тогда его предок вкупе со своим дружкой и кумом, местными гончарами, взялись за месяц обновить половину главной стены, что над Днепром шла. Радцы погалдели-погалдели, однако денег дали, припугнув, что ежели не исполнят зарок, тройне сыщут. Кумовья наняли ватагу, расселили за стеной и затеяли работу, которая кипела и дни, и ночи. Что они там творили, горожанам было не ведомо, но глины и камней плоских возилось изрядно, а к концу срока по ночам по стене стали солому и хворост жечь. Первое время народ пугался, в набат бил, шутка ли — зарево над городом стоит. По окрестью слухи поползли недобрые, что над Могилевом неведомые силы ночами огни жгут и души христианские изводят. Тут уже не до шуток, а кумовья только лыбятся, да народ на стены ни с той, ни с другой стороны не пускают.

Однако пришел час предьявлять подряд. Горожанам, кто пожелал, предложили спуститься вниз к Днепру, а весь магистрат во главе с бурмистром разместили на большой ладье и перевезли аж на Луполовский берег. Дали мастера команду, упали утлые леса и хилые помосты, и открылась всем великолепная белая стена неприступной твердыни. Загалдел народ, закрестился, наземь пал. Попы про бесовство загундосили, а поплечники стоят-бухмыляются. Магистрат затребовал враз на стену идти. Пошли малым кругом, епископа с ксендзом прихватили. Оказалось, умельцы старую стену подлатали, снаружи глиной обмазали, плоские камни в нее для виду вмуровали, обожгли, ровно горшок, а поверх известкой побелили. Вот и вышла что ни на есть первостепенная цитадель. Посовещались городские старейшины и порешили: дальше таким же чином обновлять стены, пока в казне денег на настоящие не накопится. Духовенство возвестило народу, что не бесовское сие дело, а промысел Божий, коим и бережется град наш.



Сколько те стены простояли, какие беды своим видом одним отпугнули, только Господу ведомо.

«К чему эта старая побасенка мне припомнилась? Были бы внуки дома, им бы баял, а так вот сам себе, как полоумный, сказы сказываю». Трофим остановился у корчмы, что насуплено стояла на самой рыночной площади. Редкие торговки, притопывая на морозце, раскладывали свои товары, в основном снесь и соленья. «Да, захирел рынок, как и весь наш Поднепровский край!» — и дед, с досадой толкнув дверь, вошел внутрь некогда самого известного в городе питейного заведения.

В каждой вещи, в каждом доме живет некая неведомая сила, идущая от их хозяина. Трофим это хорошо знал по своей мастерской; ограбленная, опаскуженная москвитями, она продолжала жить своей старой жизнью, только затаилась пока, что ли. А вот просторная Лейбова корчма со смертью хозяина лишилась этой силы и доживала свое время неприкаянной кирпичагой, как ни силился дать ей новой жизни Явген, шустрый невеличкий человек из пришлых. В корчме было чадно и накурено. Солдатни утром здесь никогда не бывало, поэтому заговорщики облюбовали это место для своих коротких встреч. Когда Трофим выплыл из белого морозного пара, люди, сидевшие за столом, повернулись в его сторону, а что-то говоривший бургомистр Язеп Левантович замолчал и сел.

— Дак это же Трофим, заходи, брате, какие у тебя вести? — подал голос Рыгор Осковский, подвигаясь на лаве. — Иди ужо, садись сюда.

— Пан Бог у хату! — поздоровался со всеми оружейник и присел рядом с Рыгором, предварительно скинув с себя драную овчину.

— Бургомистор опасается, как бы наша затея ранее срока не открылась, — пояснил Трофиму сосед.

— Вот и я об том же спешил вам поведать, — поднявшись, начал старик, — сегодня у меня опять стрельцы пьянствовали...

— Да чтобы они от этой водки синем огнем погорели! — стукнул со злостью кулаком по столу Сымон-шорник, у которого недели две назад опившиеся стрельцы на потеху изнасиловали старуху тещу, и та, не снеся позора, повесилась в баньке.

— Держись, Сымон, недолго уже осталось — кто-то попытался успокоить кожевенника.

— Ну, и что там стрельцы? — спросил Левантович.

— Да ничего особенного, только вот старый Арефа по пьяному делу стал говорить о том, что нечто неладное затевается в городе, чует он это своим поганым нутром, больно уж мы тихими стали, острожные — и те буяннить да хлеба требовать переста...

Трофимов рассказ прервал страшный, душераздирающий женский крик. Народ повскакивал с мест, бросился к дверям и высыпал на площадь. Почти напротив корчмы, на утоптанном снегу сидела молодая баба и, по-звериному воя, пыталась затолкать обратно в себя вывалившиеся наружу внутренности и еще что-то, шевелящееся в прозрачном сером пузыре. Рядом стоял здоровенный стрелец в грязно-червонном кафтане и вытирал кривую арабскую саблю о его заскорузлый подол. Пузырь лопнул и, перекрывая весь гвалт, на морозной февральской площади закричал ребенок. И этот крик жизни, начатой преждевременно, переполнил чашу людского терпения!

Побелевший Левантович еле слышно прошептал условленные слова: «Пора! Пора!»

Через какое-то время это слово — «пора» — уже гудело грозным набатом над пробудившимся городом, а городской голова как заведенный бегал по улицам с длинным несуразным мечом в руке и все выкрикивал осипшим голосом одно единственное: «Пора! Пора! Пора!»

По заранее определенному плану Трофиму надлежало идти к арсеналу, чтобы помочь народу разобраться с оружием. Другие должны были бежать к остро-



гу — перебить стражу и выпустить пленных, среди которых было немало умеющей воевать шляхты. Город кипел.

— Трофим! Трофим! Да не крути ты головой, тут я. Иди пособи.

Не сразу старый оружейник понял, кто и откуда его зовет, оказалось, сродник его Адам, распахнув настежь входную дверь, кричал ему из темных сеней.

— Что там у тебя стряслось? Много ли от меня, старого, помощи?

— Ты главное иди глянь, того ли мы их?

Трофим вспомнил, что Адаму недавно назначили на постой трех стрельцов.

— А чего же ты сам не глянешь?

— Да робею как-то. Ты же знаешь, я мертвяков — спас как боюсь...

— А забил как?

— Да шилом он их, ровно боровов, заколол, они даже и хрюкнуть не успели, — ответила вместо мужа жена, заматывая в тряпку длинное острое шило с большим медным кольцом на конце. — Такой инструмент испоганил, чем теперь скотину бить будешь?

Три непрошенных гостя словно спали — ни кровинки вокруг, ни смятых борьбой постелей. Только черная, небольшая дырочка, с запекшимися по краям капельками крови выдавала место, через которое в сердце вошла смерть.

— Ну что — того? — почему-то шепотом спросил сосед.

— Мертвее, Адам, не бывает.

— Слышь, Тимофей, а кто и когда их хоронить-то всех будет? Это ж какую уйму народу мы сегодня перебили?

— Да уж, может, тысяч с пять, а мот, и боле, — ответил Трофим и зашагал дальше.

Много московских ратников в это утро так и не проснулось, остальных же горожане казнили часов за пять, как и договаривались, в плен никого брать не стали. Исключение сделали только для воевод Семёна Горчакова, Матвея Полуэктова да командира стрельцов Сафона Чекина, которых, по настоянию шляхты, вместе с неприятельскими хоругвями отправили к королю Яну Казимиру. Тяжелым выдался день.

Тимофей возвратился в свою конуру поздно. Город ликовал и праздновал победу, после стольких лет унижений и скорби во всем Могилеве гуляла бескрайняя радость. Сколько врагов было повержено в этот день, никто считать не стал, да и ни к чему было это. Весть о подвиге горожан молнией полетела по окрестным городам и весям, и не завтра так послезавтра должна была достигнуть обеих враждующих столиц.

«Вот и хорошо, — думал старый оружейник, — может, и мои там, в своих скитаниях, порадуются за земляков. А то, глядишь, Господь смилуется и даст еще годков сколько жизни, может, и победу увидеть доведется», — старик толкнул дубовую дверь своего жилища. Она была заперта изнутри.

— Что за халера! — Трофим поставил на снег небольшой узелок со снедью, которой разжился в ратуше, и с силой толкнул дверь плечом. Дверное полотно поддалось, и тут же Трофима силой втащили в темноту мастерской.

— Так, а вот и дедок с ноготок явился, — поднося каганец к лицу Трофима, произнес Орефа. — Ты куда, гнида, огнива дел? — здоровенный кулак въехал в лицо.

«Вот гад, были бы зубы, выбил бы к едрени фени!» — подумал старик, сглатывая соленую от крови слюну, и огляделся. В просторном покое яблоку негде было упасть, кругом стояли, сидели, выглядывали из боковых московиты. «Да сколь вас здесь набралось?» — искренне удивился старик и потерял сознание от сильного удара по голове чем-то тяжелым.

На холодном, заплеванном полу Трофим быстро пришел в себя, но продолжал лежать, не подавая признаков жизни.



— Ваша милость, не надоти спешить. Пушай смутьяны успокоятся, хорошенько отметят победу, да и почивать себе с миром улягутся, — убеждал кого-то Орефа, — вот тогда мы и двинем, до ворот-то — всего ничего...

— Башни надобно взорвать, все как есть в щепу! Я еще сюда вернусь, они у меня за все ответят! Воры!

— Ответят, барин, ответят! И башенки рванем! Порохов-то там — слава богу! Только вы пока не кричите, а то неровен час...

— Старика придушите, кабы чего ни выкинул.

— Нет, батюшка барин, удушить мы его всегда успеем, а сперва он нам еще послужит: и дорожку покажет, и перед царем об измене городской поведает. Он дошлый старикан.

— Гляди, сукин сын! Что не так — три шкуры спущу.

— Не извольте беспокоиться, барин, все будет путем, — ответил елейным голосом Орефа и, дождавшись когда начальник отойдет, позвал: — Грязь, Никита, подь сюды! Волоките эту падаль в подвал, там, где-то справа, кажись, дверь есть. Только не поломите деда, он живым и целым нужен.

Стрельцы затащили Трофима в заваленное хламом подземелье и, примостив у какого-то разбитого ларя, уже собрались подыматься обратно, как, плотно прикрыв за собой дверь, со свечкой в руке спустился Орефа.

— Знач так, молодцы, как дадим деру и будем уже за городом, барина в расход. Тихо так — споткнулся де и шею свернул, кто там в темноте да суматохе разберет. Деда же бережите пуще ока. Мне тут сегодня про его сынка средненького шепнули. В случ чего поторгумся. Эй, дед, ты уже давно очухался, я знаю. Ты, это, на меня не дуйся, эт тя барин мушкетом по калгану саданул. Он плохой. Будешь меня слушать — мот, и сжалюсь, и по-людски похороню.

— Свечу-т оставь, заботник, а то пока бегчь надумаешь, меня тут крысы уже заживо сгрызут, — не подымая головы, отозвался Трофим.

— Знай православную доброту, токи с огнем, гляди, не балуй! — хмыкнул Орефа и, приладив свечку на предназначенную для этого полочку у двери, вышел наружу.

Глухо шоркнул засов.

Лежа без движения, даже не отгоня осмелевших крыс, уже с веселым писком сновавших вокруг, оружейник прислушивался к происходящему наверху и обдумывал свое положение.

«Эх, оболтусы, у литвина из подвала путей столько, что до Вильны к утру добраться можно. Но бегчь мне не с руки, да и не к чему... Вот, Трофим Зеноньч, а ты вечор бедовал, что ни одного гуся московского на вертел не насадил. Вона их сверьху сколь, мот, душ с тридцать. Хотя откуда у них души-то, с душой-то разве бабу беременну по животу саблей рубить буш? Эх, Матерь Божья Востробрамская! Не погневайся на меня за содеянное».

Старик, пошатываясь, встал, подпер толстым дрыном дверь, взял свечу и направился в дальний угол своего подвала. Там, повозившись с заржавевшими запорами, отворил потайную дверцу в соседнее помещение, заставленное бочонками с порохом. Порох этот он с сыновьями ночами втихаря катал из городского арсенала, куда вел всеми забытый старинный подземный ход. В первые же дни оккупации они семейством и вовсе осмелели, прилично цапнули. Уже и барыши посчитали. Но вишь ты, как дело обернулось. Проход этот они позже от греха подальше взорвали. Пламя свечи колебалось, колебался и Трофим. Он знал, что самым страшным врагом решительности являются мысли. Поднял свечу повыше и, найдя глазами разбитый бочонок, подумал: «Ну вот, Орефа, не получилось по-твоemu, не ты меня, а я тебя хороню», — и поднес к черным зернам желтоватое пламя.



Почти четыре века минуло с тех времен, все забылось и уплыло в зыбкое болото беспамятства, только проклятие московского патриарха Никона, как высшая похвала мужеству граждан Могилева, до сих пор висит над этим городом.

ПО ЧЕРНИКУ

— Ложитесь спать, лиха матри вашу! — кричала бабушка Ева, вешая на частокол вымытый подойник. — Завтра с коровами подыму, по чарнику пойдем, лежабоки и гультаи, каб вас пранцы зъели!

Мы, глотая смех, начинали дружно храпеть.

— Во уж я вам! Пагляжу, як вы на золку похрапитё!

Неизвестно, что нам, четверем ее внукам, пришлось бы еще выслушать от любимой и строгой бабули, не угляди она на улице свою закадычную подругу и соседку — бабу Аделю. Моментально забыв про внуков и завтрашний поход, бабушка, выгирая руки о передник, подалась со двора.

О дружбе, о взаимной любви и смертельных обидах соседок, сплетниц, гадалок, закадычных выпивох, непревзойденнейших матерщинниц и мастериц на все руки надо повествовать отдельно. Соседские отношения в деревнях на Могилевщине того стоят.

В тот вечер наша внучья команда угомонила на удивление быстро, каждый отнес это, скорее всего, на счет наговоренной бабулей соли, в которую мы за ужином усердно макали свежие и еще колючие от пупырышек огурцы.

Разбудили нас рано, но коров выгнали, видать, давно. Солнышко висело уже высокогато, только над станционнoй канавкой да сажелкой (ставком) стоял неплотный туман.

Собрались быстро, благо основные приготовления были сделаны накануне. Накоро перекусив «яешней са шкварками», попив еще теплого молока, мы двинулись небольшим табором, сплошь из женщин и детворы, через железную дорогу, туда, далеко, за «шашу», что грунто-щебеночно петляла по лесам из Чаус в Могилев. По этой дороге когда-то отступал Константин Симонов, оставив в вечности своего несломленного и бессмертного Серпилина.

Мы шли в Антоновский лес, черный и нелюдимый от густых вековых елей. Местами еще не спала роса, наши следы на траве оставались темно-зелеными тропками, как поврежденный снег на зимней целине. Пройдет немного времени, поднимется выше солнце, и они исчезнут, природа, как и сама жизнь, не терпит в себе чужого следа.

Еловый лес почти не имеет подлеска. Немного пройдя по наторенной дороге с вечными мутно-глинистыми лужами-колеями, мы вступили в сумрак ельника — царство мхов, кореньев, каких-то широколистных рослин, белесых лишаяев, ползущих по голым нижним веткам и взбирающихся вверх по северным сторонам толстых деревьев. Кругом стлались густые заросли уже обобранного черничника. Это был другой, непривычный для нас лес, мы жались поближе к взрослым и говорить старались негромко. Незнакомое всегда пугает. Многообхватные ели росли друг от друга на почтительном расстоянии, постелив под собой толстые ковры, сотканые из маленьких, рыжих и острых иголок. Вскорости наш отряд как-то незаметно распался, утреннюю дрему нарушили первые крики «ау!». Каждая семья, звеня пустыми бидонами и ведрами о прутья и ветки мелкого кустарника на небольших солнечных прогалинах, спешно ломанулась на свои, только ей ведомые делянки, и минут через двадцать быстрой ходьбы, приняв позы подмосковных огородников, все прикоснулись к самой таинственной и древнейшей из охот — собирательству.

Бабушка строго-настрого запрещала есть ягоды, считая, что это расхолаживает человека и потворствует утробному эгоизму. У нас для ягод были припасены



большие литровые алюминиевые кружки и два трехлитровых эмалированных бидончика. Ягода детьми собиралась в кружки и уже потом пересыпалась в соответствующую емкость. Вековой опыт показывал, что так для ребенка было сподручнее, а в случае опрокидывания емкости — потери невелики. Сначала наполнялись бидоны, которые, чтобы их не потерять, пристраивались на покрытые мягким мхом пни или буреломины, затем по две-три кружки каждый должен был сдать в бабушкин общак — двенадцатилитровое ведро, ну а уж потом можно объедаться сколько душе угодно.

Конечно же, мы объедались ягодой еще до первой кружки. Особенно вкусной здесь была земляника, по-нашему — суницы. Не знаю, как вам, а мне белорусское название нравится больше. Вообще, по своей образности, емкости и поэтичности белорусский язык, на мой взгляд, находится на одном из первых мест среди славянских языков.

Так вот, суницы росли на небольших солнечных проплешинах, может, вырубках, может, старых пожарищах, в высокой, уже местами подсыхающей траве. Разгорнешь траву — и вот они, огромные, темно-бордовые ягоды, напоенные соком девственной земли, напитанные ароматной сладостью солнца, готовые от любой неосторожности пасть наземь. Однако с этим лакомством рядом очень часто гнездилась и смертельная опасность — гадюки. Они, как известно, тоже слывут большими любительницами понежиться на солнышке. Так что глаз да глаз надо было иметь, палкой, незаменимой для леса, особенно не помашешь, ягоды пошибаешь. Вкусную ягоду ел только отважный и осторожный. Но не у всех они, эти отваги да смелости наличествовали, тогда в ход пускались маленькие хитрости: заметив в траве вожделенные гранатовые сгустки, следовало изрядно пошуметь и, убедившись в отсутствии шипящих тварей, собрать драгоценные ягоды, выложить их сверху своей кружки для показа, а наиболее переспелыми измазать перекусанное комарами лицо, особенно губы — дескать, «уелся по не хочу»!

И вот бидоны, ведра и кружки наполнены черными лоснящимися крупными ягодами, да еще из снятых с себя и завязанных маек выглядывают головки крепких грибов, и вестимо, сверху — боровики. День удался. Все сгруживаются вокруг бабушки и, подостлав под себя ставшие ненужными куртки и стеганные кабатки, это такие безрукавки, перешитые из старых телогреек, как оголодавшие щенята, с нетерпением ждут. Бабушка медленно развязывает опоясывающий ее шерстяной платок и, размотав его, достает завернутую в чистую холстину и бумагу еду: черный хлеб, сало, сваренные вкрутую яйца, спичечный коробок с солью, помятые перья зеленого лука. Все это моментально пропадает в наших голодных глотках. Остатки еды, крошки и щепотка соли оставляются на каком-нибудь заметном месте для лесовика, в благодарность, что не заблудил и дал достаток на зиму.

СТЕФАН

Если что и есть на этом свете неудобное, так это королевская кровать в Горденском замке. Еще задолго до своей хвори он не раз сам лично осматривал лежище, сгружая на пол традиционные перины, одеяла из лебяжьего пуха, какие-то льняные, разукрашенные местными вышивками-оберегами подстилки, узелки с сушеными ароматическими травами и кореньями, докапывался до потемневших от времени досок, ощупывал их, поражался прохладной ровности и отсутствию трещин. Даже при самом придирчивым осмотре широких дубовых плах никаких неровностей найти он так и не смог, но, черт тебя забери, что-то же не дает толком расправить усталое и ноющее от старых ран тело! Почему, вроде, удобно уляжешься, а минут через двадцать начинаешь ворочаться, и так — почти всю ночь, под утро чуть забудешься зыбким сном — и уже пора, уже гремят тазами и кувшинами, уже брадобреи



раскладывают свои прилады. Не любил он этот утренний народ, ну, что делать, и без него тоже не обойдешься. У каждого на этой земле свое предназначение, кому бороды брить, кому государством управлять, правда, неведомо, какое из этих занятий важнее.

Королю и Великому князю с каждым днем становилось все хуже и хуже. Пу-
стяшная, казалось бы, царапина на ноге никак не желала гайтаться*. За последнюю неделю небольшая дырочка, из которой он без особого труда вытащил тот злополучный сучок, превратилась в гниющее и смердящее месиво.

«Нога, нога, будь она неладна, эта нога!» — Баторий попытался опереться на край кровати и повернуться на бок. С третьей попытки ему это удалось и, пропуская сквозь сжатые зубы стон облегчения, он вытянул изувеченную ногу. «Ой, и дрянь дело. Что же это ты ко мне привязалась, как валашская попрошайка? И так я тебя на себе таскаю уже почти лет тридцать, а ты все не отстаешь, то затянешься тоненько синюшной пленкой и притихнешь, словно дожидаясь чего-то, то вот прободешься, истекая гноем, сзывая на себя мух со всей округи. Как же это я тот сук не увидел!» — покосившись на набрякшие лоскуты тонкой материи, он тихонько застонал и испугался этого стога, таким он ему показался беспомощным, бесцветным, почти лишенным жизни. К нему большой темной птицей метнулась женщина, дремавшая чуть поодаль в деревянном кресле.

— Что, что, мой король? — склонившись над больным, вымолвила она польски, и вдруг как бы встрепенувшись, быстро повторила свой вопрос на латыни. Баторий, при всех его стараниях, так и не выучил, как он говорил, «змеиного языка» аборигенов, потому весь двор его прилежно зубрил латынь.

Стефан с трудом поднял как будто налитую свинцом руку, долго ее удерживать было трудно, и женщина подхватила, прижалась губами к запястью. «Какие у неё холодные губы, как у покойницы, — проплыла медленно мысль. — Она хорошая, и лучше чем с ней мне никогда не было, да, наверное, уже и не будет. Надо звать лекарей. Странно, но эти чертовы грамотеи приходят поодиночке, и каждый советует свое снадобье; сдается мне, что один лечит меня от лечения другого. Встану, выгоню обоих».

— Каханий, не верь этим разбойникам, — будто угадывая его мысли, произнесла женщина, — они тебя травят. Я вот принесла отвар наших трав, он поможет: и жар снимет, и боль уйдет. Эти зелья сама собирала и сушила, только старая Рухля варить помогала. Выпей, каханенький, а потом я сама тебе рану промою и перевяжу.

Стефан приподнялся и послушно выпил зелье, оно было горьким и пряным.

— Фу, мерзость, но из твоих рук я и отраву выпью. Так ты думаешь, я еще встану? — сирым голосом спросил gospodar и попытался улыбнуться.

— Встанешь, мой король, на радость люду поспалитому и на зло ворогам. Как тебе не встать, Господь милостив и не даст нам осиротеть. Я когда сюда шла, забежала на конюшню с коньками твоими поговорила, сказала, что поправишься ты скоро. Мне кажется — они обрадовались.

— Ох, смотри, дознается инквизиция, что ты не только мне зелье носишь, но еще и с конями разговариваешь — беды не оберешься. Знаешь, а мне и в самом деле легче стало, в сон потянуло. Засну я, ты только не уходи... — рука Великого князя совсем отяжелела, и он мирно засопел.

Аделя с опаской оглянулась. Кроме них в опочивальне никого не было. Ловко спрятала пустую склянку в потаенном кармане, достала другую, вытащила зубами пробку и осторожно сдвинула одеяло с больной ноги. Полоски перевязки пропитались гноем и бурой сукровицей, закорели и уже издавали дурной запах. Тонким, острым кортом, висевшим у нее на поясе, женщина разрешила повязку в двух местах,

* Закрыватьяся (белорус.)



оставив только припекшуюся к ране ткань, которую, после недолгих колебаний, принялась осторожно смачивать жидкостью из бутылки. В комнате резко запахло настоящей на травах самогонкой. Больной негромко застонал. Аделя замерла, глядя на любимое, изможденное болезнью и бессонницей лицо.

Впервые она увидела его два года назад, он приехал к отцу в Сокулку охотиться. Еще за три дня до этого в доме начался переполох — еще бы, к малозаможному лесничему едет сам круль Польский и Великий князь Литовский. Ее и трех кузин, постоянно живущих в их доме, отправили от греха подальше на хутор. Было ей в ту пору почти шестнадцать лет, она наравне с братьями лихо скакала на лошади, умела читать лесные следы, неплохо палила из ручницы и пистолей, да и зверя могла затравить. К ее просьбам «хоть глазочком глянуть на короля» отец остался глух, дескать, нечего здесь под ногами путаться, да и не пристало молодой девице среди разогретых охотой вельмож разгуливать. Вот в глушь и отправил.

И надо же было тому приключиться, что именно в эту глушь и вывел олень короля. Зверь, отбиваясь от дворовых собак, ускакал дальше, а всадник спешился и попросил воды. Аделя и подала ему ковш. Глаза их встретились, и что-то светлое произошло в их сердцах, они, правда, про это никогда и не говорили. Потом он стал наезжать в их дом почти каждую неделю, один, без свиты, с четверкой своих венгров. Где-то месяца через два, ближе к снегу, все у них и произошло, красиво и просто. Сначала отец узнал, а потом уже и все. Начались досужие разговоры, сплетни, отец и братья даже о замужестве поговаривать между собой стали. Она никогда не хотела стать королевой, она просто любила этого человека, иногда, когда он засыпал, гладила его шрамы и тихонько пела старые местные песни. Она знала и любила язык местных людей, может, оттого, что ее мать была наполовину белоруской, ей даже казалось, что и Степану, так его звали местные, ее песни нравятся больше, чем латинские псалмы. Он часто уезжал воевать, и она не находила себе места, вскакивала по ночам и до боли в глазах вглядывалась в оконную темень. Потом были сладкие и радостные минуты встречи. Он привозил ей целую подклеть подарков, но она к ним была безразличной, почему-то ей нужен был только этот израненный и уже стареющий мужчина. «Гта твой Крыж» — постоянно повторяла ей Рухля, гадая или помогая варить отвары.

Стефан громко вздохнул и широко улыбнулся во сне. Аделе показалось, что над Городней взошло яркое солнце. Размоченные тряпицы отстали от глубокой раны с неровными краями, вытекла целая лужица липкого гноя. Промыв дыру из очередной бутылки, девушка заложила внутрь почти черную мазь с неприятным запахом и аккуратно забинтовала ногу.

Король проспал до самого утра, рядом перед рассветом прикорнула и каханка.

Смерть пришла к королю через полтора месяца, он лежал в Городенском замке в той же неудобной кровати, вокруг которой стояли придворные, негромко молились монахи.

— Позовите ко мне Аделю, — еле слышно прошептали уже синюющие губы.

— Мы уже послали за ней, — ответил командир венгров, — скоро будет.

— Запомни и передай всем мою волю, ты меня слышишь?

— Слышу, мой король!

— Похороните меня здесь, в Городне, я давал приказ иезуитам подготовить мне склеп. Слышишь меня, слышишь? Где Аделя?

— Скоро будет, госпадар.

— Не дождусь я ее, видно, уже не дождусь. Иди ко мне ближе, — он, не поднимая руки, позвал пальцами человека, с которым столько было вместе пройдено, что и припомнить трудно. — У Адели будет ребенок, — еле шептали потрескавшиеся губы, — мой ребенок. Присмотри за ним и помоги ей. Слышишь, слышишь меня?



— Я все исполню, только и ты сам все это сможешь сделать, рано тебе, король, помирать.

Но не успел верный Ишвант подняться с колен, как его господар отдал Богу душу.

Первым это заметил стоявший рядом лекарь Симониус, он дотронулся до того места на шее, где всегда бьется жилка жизни.

— Король умер! — необычно громко произнес он, поспешно отдергивая руку.

Страшная весть остановила Аделю недалеко от городских стен. Она ехала в коляске, верхом скакать было уже опасно для ребеночка. Сопровождавшие ее венгры прищипорили коней и полетели в город. Она не плакала, стояла и тоскливо глядела на высокие башни замка, в котором ей больше нечего было делать. Она знала, наперекор своей молодости, книжной грамоте, лжи летописцев и придворных историков, что все это — и этот замок, и королевство, и эти по-муравьиному снующие люди, все — исчезнет, растворится, разрушится. Останется только ее сын, вернее, их сын, похожий на отца и обликом, и своими делами.

Неспешно развернулась коляска и вскорости растаяла в вечернем сумраке спешащего на запад дня.

— Это ты короля уморил в смерть! — надрывно и чуть ли не воя, кричал долговязый мужик с козлиной бородкой. — Ты, ты. Тебе отвечать, тебе! Это он, господин Ишвант, давал ему белладонну...

— Белладонну! Ха-ха, корешки! А ртуть, ртуть кто королю втирал? А кровь непомерно кто пускал? Ты, Бучелло, душегуб, ты! — старался перекричать собеседника лекарь Симониус, крепкого сложения монах средних лет, первым возвестивший о кончине великого полководца.

— Мне это надоело! — громко хлопнул о стол плеткой королевский стражник. — За ночь не разберетесь — повешу утром обоих. Вон покойник, — венгр указал на каменный стол в углу каземата, — глядите на него и решайте, чья вина в его смерти.

Глухо лязгнула засовом сводчатая дверь.

Верный Ишвант и в страшном сне не мог себе представить, что с его господарем за ночь сотворят эти два лекаришки, обуреваемые профессиональным гонором и подгоняемые страхом петли. В глубоком подвале замковой часовни, при мигающем свете смоляных факелов, впервые в цивилизованном мире было произведено вскрытие трупа, так сказать, в научных целях, для уточнения диагноза, подтверждения правильности лечения и снятия с медицины обвинений. Причину смерти созерцена горе-патологоанатомы определить не смогли, но и ошибочности своих лечений не отыскали. Ишвант не сдержал своего слова, он их не повесил, он зарубил обоих прямо здесь, в подвале.

Короля похоронили в Горodne. Но столичный Краков не унимался и требовал сановные останки в неприступный Вавель, где покоились себе с миром хорошие и не очень хорошие владельцы короны Речи Посполитой. С небывалыми почестями, флагами и трубами перевозили гроб к новому месту упокоения, позади оставалась освобожденная королем от неприятеля земля, города с жалованными им гербами и Магдебургией. Проползла пестрой змеей траурная процессия и Сокулку, и никто не обратил внимания на одинокую фигуру хрупкой, одетой в черное женщины, крепко прижимающей к груди младенца.

СШ № 24

Так уж получилось, что школу я помню хуже всего остального из моего Могилевского прошлого; хотя в течение долгих десяти лет я вроде как был с нею связан, но, видимо, моя настоящая жизнь протекала вне ее стен.



С самого раннего детства меня непреодолимо тянуло учиться, то я пытался ходить в школу в Горбовичах, куда меня не пускали по причине малолетства, то почти всю зиму просидел в классе другой сельской школы, в деревне Завожанье, что под Богушевском — там жили мамины родители. Школа была начальной и представляла собой большой деревянный дом; в одной половине жила семья наставников Весяловских, с сыном которых я дружил, а в другой — размещался один-единственный класс с шестью партами в два ряда, одним учительским столом и двумя грифельными досками на стене. В первую смену здесь постигали премудрость ученики первого и третьего классов, во вторую — второго и четвертого. Ни электричества, ни света в деревни не было, учились при керосиновых лампах. Учащимся пятых, sixth и седьмых классов надо было ходить пять километров через глухой лес в Ледновичи, а желающим окончить десятилетку топтать приходилось еще дальше, в Асинники, а это километров одиннадцать. Сейчас этих школ уже нету, в Горбовичах школу открыли в новом здании, в Завожанье школа умерла вместе с деревней. За тридцать лет от почти сотни дворов осталось пять... А ведь с деревней постепенно ветшает, скукоживается и дух народа — его ни с чем не сравнимая самовитость.

Так вот, я тянулся к учебе, а меня все время заставляли получать отметки. Учебу я понимал как приобретение навыка, который даст вполне осязаемый результат. Учишься свистеть, итог — молодецкий свист; косить — ровный покос; думать — свое мнение; верить — добро и сострадание, и далее в таком же ключе. А в школьной учебе уже тогда было все с вывертом, нас больше учили поведению и послушанию, чем самостоятельности в жизни. В старших классах запоем читал о Сухомлинском и его методе учебы-игры, читал и завидовал.

И все же память хранит тысячи маленьких осколков школьной жизни: солнечные блики на темно-зеленой крышке парты — довольно странного, но удобного сооружения, которое надо было опрокидывать на бок при уборке класса. Парты красились ежегодно, к первому сентября, и периодически с остервенением мылись, потому что тяга человека к наскальным рисункам и письменам древнее бумагомастерства, и выплескивалась сия тяга на ближайшие подходящие для этого поверхности: парты, столы, стены. Каких только историй ни писалось на них, какие трагедии только ни запечатлевались.

Помню белые конусы казенных чернилниц-невывлишашек. Нехитрое приспособление, состоящее из усеченного конуса со встроенной внутри воронкой, которая и не давала выливаться чернилам, но свободно позволяла перу проникнуть внутрь себя. Даже была такая октябрятская общественная нагрузка — раздавальщик чернилниц, которую я одно время исполнял.

К большой перемене школа наполнялась смачными запахами буфета, и тогда учеба уже никак не хотела влезать в мою стриженую голову. Пятнадцать копеек прилипали к вспотевшей от нетерпения ладошке, но не всегда этот пятиалтынный водился в моем кармане, иногда мама, порывшись в своем стареньком кошельке, выдавала скудный пятак — а это стакан теплого чая и маленькая, не совсем белая булочка.

Из учителей почему-то больше других запомнилась географичка Дыбова, может, потому, что бредил я тогда путешествиями, а может, потому, что сама учительница была красивой, молодой и часто выводила нас на природу. Вальдман Мария Израилевна навечно вклинилась в память теоремой «про Пифагоравы труссы», которую «надо, таки, говорить раз и навсегда, а кто нет, тот будет мучительно шукать мене летом, слышите, дети?» Теорему я так и не выучил, а может, просто теперь забыл, а вот «Пифагоравы труссы» ношу и поныне. Еще помню школьную достопримечательность — худую, подвижную и, по-моему, курящую физичку по прозвищу Керагаз. Если не ошибаюсь, в девятом классе была контрольная, которую я

полностью завалил, однако казенную тройку мне Керагаз вывела. Кто-то возмутился: дескать, я почти все решил — и тройка, а кое-кто — вообще ничего, и тоже трояк.

— Он от меня всегда будет иметь свой трояк, — и прямой, как указка, палец метнулся в мою сторону, — а ты уже имеешь крепкое два вместо той хилой трешки, что я вкатила в твою тетрадь. Ему физика, — и опять — перст, указующий в мою ушастую голову, — судя по его сочинениям, уже не нужна, вспомните меня, он будет писателем, а вот тебе без Ома с Вольтом не обойтись, потому сам переправь тройку на два, и продолжим наш скорбный путь к запоминаниям, потому как для знаний у вашего класса мозгов не хватает...

Странный инструмент наша память, казалось бы, серая пелена забвения плотно прикрывает прошлое, но пошевели ее немножко — и посыпались, посыпались самые неожиданные, самые забытые образы, звуки, даже запахи, и всеобъемлющая власть действительности куда-то уходит, и ты уже там, в несегодняшней реальности, ты видишь себя вроде как со стороны: молодого, наивного, смешного, и вот уже кружится нескончаемое кино твоей прошлой жизни — только успевай смеяться или смахивать наивные слезы.

Пишу эти строчки и все отчетливее вижу наш «А» класс, лица ребят и девчонок, и мне не хочется, и мне боязно встречаться с нынешней реальностью моего прошлого. Может, поэтому я ни разу не пришел на встречу выпускников, да и раньше все некогда было, а сегодня — уже и некуда: школу закрыли, почему — никто мне толком объяснить не может. Жалко, конечно. Я стал писателем, а кому книгу свою принести — не ведаю. Расползлась по окрестным школам моя первая в жизни библиотека. Грустно. И вот стоит угрюмое двухэтажное строение рядом с магазином на улице Белинского, насупилось своими темными и давно не мытыми окнами, но мне кажется — отопри крепко заколоченную дверь, и тебя обступит школьная тишина, чутко ждущая тарахтения звонка, и хлынет в лицо теплой невозвратной волной шум перемены, и зазвучат голоса... и, может даже, тебе посчастливится, и ты вдруг услышишь в общем гаме и свой голос.



Ирина ГОНЧАРУК

НИЗКОЕ НЕБО

* * *

И отходят поезда, и взлетают
самолеты, топоры и пичуги.
Дует ветер — или книгу листает,
или облако мнет на досуге...
...Все равно, в котором городе выйти:
до пивной подать рукой, как до Бога.
И поет фитиль, пропитанный спиртом.
Лик иконный морщит Мать-недотрога...
Пахнет ладаном каждый волос,
словно лист порыжелой тетради.
И... срывается молящего голос:
то ли робок, то ли пьян, то ли жаден.

* * *

Все ж ей под силу шевелить
мои измученные пальцы.
А я роняю первый лист
так тяжело, как носят панцирь.

Так бережно, с золой в руках,
она ступает и ступает...
От пола и до потолка
пронижет воздух боль тупая.

Тепло и ясно станет мне —
меня подстерегает осень,
она купается в золе
и золото под сердцем носит.

* * *

Когда мы молчали, мы ночи глушили по-совьи.
И певчие клювы сошлись за спиной крючкотворно.
И стебли тянулись к Луне, словно пальцы к снотворным.
А только замками уже тяготились засовы.

Когда мы вошли в эту ночь, месяц выгнулся боком.
А нам показалось: он выгнулся в рог избылья.
И звезды, действительно, шли косяком; и потоком
их падшие души в высокие звонницы бились.

У дерева жизни — могучие крепкие корни.
У древа желаний — высокая пышная крона.
И мы зачастую причины желаний не помним.
Созревших плодов не едим — и легко нам.

* * *

И дома по земле стелились,
словно дым, и светились окна,
словно угли. По тротуарам
дождик шел, и влюбленным парам
под полой его было мокро.
Дождь нечаянный — иностранец,
он совсем из другого теста.
И в руках его тают грани
все... Без времени льет и места
он, распахнутый, словно циркуль...

* * *

Да будет пухом нам земля —
младенцам и седым старухам.
Мы обратимся в тополя,
и семя наше станет пухом.
Зароют в землю якоря,
и только ветреные души
вдали от берега сгорят,
но пепел возвратят на сушу.
Да будет пухом им земля,
когда они придут обрушить
свои седеющие души
в серебряные тополя.

* * *

Ты спросишь: зачем я на свете жила,
зачем в это низкое небо дышала.
Отвечу: оно на ладони лежало,
огромное, серое, словно журавль.

Виталий НАУМЕНКО

КОЛЯДКИ

Р а с с к а з

Даша и Рита вообще ни о чем таком не думали. Тем более — Вася Кузопетрин. Он был младше всех на три года, и у него собирались, как на штаб-квартире, потому что родители на новогодние каникулы уехали в отпуск. Он вообще иногда не понимал, о чем речь между девчонками. Все придумала двоюродная сестра Настя...

* * *

Пацаны давно пронюхали, что малолетки-старшеклассницы поселились у Кузопетрина, и все время звонили им в дверь.

— Марго! Шутки закончились! Я человек без чувства юмора!

— Чем он там пыхтит? Весь подъезд задымил уже. Труба выхлопная. Я пошла на балкон, — сказала Даша.

— Дефиле? И что ты им покажешь? Синего человека? А лечить тебя от ангины кто будет — птица счастья завтрашнего дня? — спросила Настя.

Даша согласилась:

— Я — объект воображения. Ну, как будто меня нет. Только представить можно. Еще не хватало: чтобы пялились. Да меня эта дылда и так всю продымила насквозь.

Действительно, но весь дым от сигарет, которые Рита отбирала на переменах у младшеклассников, доставался почему-то исключительно Даше.

— У меня глаза стали большие и красные, — жаловалась она.

Васю в целях безопасности — подросток все-таки — возраст взрывоопасный — отодвинули на матрасе ближе к балкону. Остальные спали как попало. Настя и Даша валетом на диване, пихаясь и толкаясь, делили территорию. А поскольку они были совершенно одинаковые по объему (одинаковой комплекции), это было непросто.

Рита — девушка самая эффектная, высокая и невозмутимая — раздвинула кресло, у которого не было верхней части. Туда подложили доску, но доска не подходила по размеру и все время проваливалась. Вместе с подушкой и головой Риты. Возможно, самой изящной в мире по форме головы. Комнату то и дело среди ночи оглашали Ритины нецензурные высказывания, сопровождаемые грохотом. Грохот напоминал по звуку падение со строительных лесов мешка с цементом.

Стоило ему прозвучать, сейчас же на диване просыпались Даша с Настей, снова начинали вертеться, щипаться и обзываться.

Дверной звонок не смолкал всю ночь.

— Танцы в метро, странные танцы... Марго, я могу и головой дверь выбить. И рукой... — пацан в подъезде надолго задумался. — И ногой. Система кун-фу.

Настя стала суматошно бегать по комнате.



— В три часа ночи! Они что там совсем обдолбались?! Если бы я не была женщиной, я бы ему показала.

— А ты и так не женщина. Так что спи и не брыкайся всё время, — сказала Даша.

— Я-то, может, и не женщина, а ты — профура. На таких только в деревне Мамырь ведутся. Нашла чем гордиться. Вот я всё тете Любе расскажу.

— Танцы в метро, — настойчивый друг не унимался и продолжал с каким-то звериным удовольствием давить в звонок, — Марго! Синюшкина! Я знаю, ты где. Я сейчас дверь сломаю приемом, за свой счет будешь ремонтировать, отвечаю!

Маргарита спокойно спала, пока ее голова опять не провалилась следом за доской.

— Девчонки, кто там все время орет? — сонно спросила она, даже как будто сделала им одолжение.

Вот тут-то весь накопленный друг на друга за ночь гнев Даши и Насти нашел выход.

— Дебил твой! Придурок. А у него и по лицу видно, что придурок.

— Может, это другой? — усомнилась Даша.

— А может, это ты другая? Да ты из-за сантиметра дивана меня задушишь, — Настя пришла в ярость. — А он сюда к экзаменам пришел готовиться, да? Другой из кого? Вспоминаю: идешь — вроде парень как парень, а приглядишься: ну полный придурок. Говорю, я этого даже от остальных придурков отличаю.

Звонок все-таки, медленно затухая, скончался.

— Ка-те-го-ри-аль-но! — сказала Даша и отвернулась к стенке. — Вы тут, моему, все родственники, а я спать хочу.

Важно объяснить, кто такая была Даша. Даша была невысокой девочкой с короткой стрижкой, не менявшейся с первого класса, и странным, чуть надломленным тембром голоса. Кроме этого, ее отличала всего одна и очень странная черта: за ней всегда стояла армия молчаливых поклонников. Все знали о существовании этой армии, хотя армия ничем себя не выдавала. Каждый мечтал прикоснуться к Дашиной руке, каждый мечтал сделать за нее все-превсе домашние задания, спасти ее в случае опасности, но Даше хватало просто факта наличия этой стены молчаливого обожания.

А прочнее стены не могло быть: у Даши был парень, гораздо старше ее (он катал ее на мотороллере, они почему-то все время падали с него, поэтому она постоянно ходила в бинтах, зеленке или пластырях), она спала с этим парнем, но это ничего не меняло в сплоченных рядах за спиной: ни намека, ни записки — тишина, и только замороженный шепот, опущенные глаза, корявые подростковые фразы, в которых все равно ничего не поймешь.

Это вам не правдолюбка и пацанка Настя, не Маргарита, оставлявшая вездe и всюду ощущение своей крайней развязности и доступности (совершенно обманчивое) — тут совсем другое. Разбей аквариум — вся вода вытечет: такой была Даша, с ее ранним вступлением во взрослую жизнь, вечными порезами, миловидностью, которую она и не берегла, считая, что никуда она не денется, как и армия дыхателей.

Настя металась по квартире, как фурия. Хотя никто не видел, как мечутся фурии. А вообразить, как мечется Настя, наверное, возможно. Как любая девушка с характером, которой не дают поспать.

— Кто там? Пятьсот грамм, — прислонила она ухо к двери.

— Марго! Это юмор такой? А что у тебя с голосом?

— Курим много, сигареты стреляем. А это кто там из-под земли сейчас спросил? Ты уже достал всех башкой об дверь биться! Мужиков что ли нет в подъезде — тебя выгнать? Или их в природе нет? Один остался. Который долбится, как дятел. Не терпится, что ли?

— Я с буровой.

После буровой стало совсем скучно, звонок давно сломался, Даша уснула. Одна Настя, у которой волосы стояли дыбом из-за какого-то химического средства,



из принципа объясняла пацану за дверью, что она думает обо всех его буровых. Тот сперва что-то бубнил, но потом сдулся. Мгновенно наступили такие тишина и покой, что ни шороха, ни звука, даже занавеска ласково прилегла на подоконник.

Настя вдоволь напиналась с Дашей. Теперь они спали как два измученных ангела. Их локоны спутались, а пальцы сплелись. Невинность — как многие представляют ее себе.

Даже Вася Кузопетрин задремал. Никто не предполагал, что произойдет дальше. Голова Риты с обычным треском-грохотом провалилась, одновременно ничуть не сломленный духом бурильщик включил в подъезде мощный радиоприемник — песню «Музыка нас связала». Перепуганная Даша так пнула Настю перебинтованной ногой, что та упала с дивана на копчик. Обе завопили. Вася ударился головой о батарею. И всё это в одну долю секунды.

— Та, которая была, ушла-шала-ла-лу-ла. Которая пряталась от меня. Шизофреническая. Я ей сказал, что бурить — это не призвание, а работа. Она говорит: призвание. А я то же говорю: призвание. Какая же это работа! Думать надо. А она спрягалась и не открывает. Марго! Пью с тобой за буровую. Где нас гаращит. Да я пенсионер, считай, уже по возрасту, скоро пенсию буду получать. Музыка нас повязала!

— Нет, он что вообще не отключается? — Даша вертелась в простынях, отвоеванных у Насти.

— А вот я с кем-то сейчас местами возьму и поменяюсь, — не выдержала Рита.

На этот раз разрушения кресла были фатальными. Оно захлопнулось, сплющив Риту.

— Это что за поза для сна? — возмущалась Рита. — Я что, должна вверх ногами спать?.. Вася, ты сходи, поговори с ним, а то он правда дверь ломает. А мы одеты по-пляжному.

Вася послушно перешагнул через Риту и ее кресло и подошел к двери.

— Что вам нужно? — спросил он.

— Дверь открывай, я к Синюшкиной. Я пенсионером скоро буду.

— Поздравляю. Синюшкиной здесь нет.

— Нет? А я тебя на улице поймаю.

— Здесь нет Синюшкиной, а ловить меня на улице не надо.

Поняв, что диалог зашел в тупик, все в комнате, в том числе Вася Кузопетрин, вернувшийся на свой матрас, дружно посмеялись.

— Васенька, спасибо тебе, — сказала Рита.

— Тебе там, наверное, неудобно у батареи спать? — спросила Настя. — И из форточки дует. Вася, иди к нам. У нас тут тепло.

— Эй! — прикрикнула Рита. — Лучше ко мне. Ты знаешь, что бывает от связи двоюродных родственников? А я — безопасный вариант.

— Ты — безопасный?

Вася от ужаса уткнулся лицом в батарею. Он был давно влюблен в Риту и точно знал, что она будет его женой. Правда, ждать нужно долго — лет пять. Но это неизбежно, это судьба — они будут вместе. Пока свои планы он скрывал.

Даша смеялась дольше всех, а потом заплакала.

— Ты чего? — утешала ее Настя. — Сама сказала: как пнула тебя — даже нога прошла.

— Чего-чего... Мне мужик один сказал, что я никогда замуж не выйду. Факир.

— А где сказал?

— В Доме культуры. В фойе. Еще сказал, что от лампочки умеет прикуривать. И в Ленинграде был — два дня!

— Врет, — закурила Рита. Ноги ее действительно торчали теперь над ее головой, а голову вообще не было видно. Только дым сигареты выдавал тот факт, что она существует.

— Ну и не ходи туда. Зачем ты туда ходишь?

— Да, Настенька? — в Даше произошел внутренний переворот. — А потому что я не хочу быть проституткой при красивой подруге. Типа тебя.

— Зато ты уже... Саша Барабаш. Будто никто не знает, как ты с ним...



— А что — Саша Барабаш? Губошлеп. У него даже часы всё время неправильное время показывают. Ты бы его пальцем поманила — и всё. Еще лежит тут, выпендривается. «Как бы мне девственность потерять...» Тоже мне проблема! Вот отбиться от них — проблема! Им бы хоть с кем. А я — неповторимая. На меня в мире никто не похож даже внешне, не считая, какая я внутри.

— Ты, неповторимая, ребенка мне не травмируй... Он и так странно как-то к батарее прилип. Я уже из-за тебя вся в синяках. Ты меня запинала! Я как в таком виде мужчине могу показаться?

Рита явила свою скульптурно вылепленную голову, хотела что-то сказать, но, взмахнув длинными волосами и вытянув вперед руки, окончательно провалилась в остатки еще недавно пригодной для наслаждения мебели.

* * *

Утром заспанный Вася Кузопетрин пошел умываться. На кухне сидели Даша и какой-то парень. Между ними на столе стоял деревянный ящик с бутылками пива.

На обратном пути парень Васю перехватил.

— Ты Кузопетрин? Ну, я сдаюсь. Ты такого быка ночью завалил. Но я тебе и не завидую. Ты только не расстраивайся, но тебя на днях убьют. Они же с заточками все; Даша говорит, чуть дверь не выломали. Смотри, ящик пива, да? «Жигулевское». Вот тебе бутылка, сам ее открою. Из уважения к тебе. Сходи, погуляй, а? А мы тут с Дашей... понимаешь, контрольные по литературе, ну, икс плюс игрек, просек? У нас почерк похож, вот я ей и помогаю.

Даша кивнула: мол, можно доверять.

Вася вышел во двор. Вылил пиво. Посидел на скамейке, перелез через ограду на стадион: жалко мяча нет, посмотрел, как убирает снег дворник, сходил на железную дорогу. Залез в недостроенное здание, но его оттуда прогнали строители. Посидел на скамейке. Замерз.

Вернулся. Дома не было ни Даши, ни ящика с пивом, ни парня. Только сестра Настя и Маргарита. Они сидели и курили на кухне. Дым столбом.

— Вася, а ты где был? Час тебя ждем. Я за тобой присматриваю, между прочим, — сказала Настя, — это поручение родителей. У нас сегодня будет вечеринка «диско», а мы слабые девушки, мы всё из магазина не донесем, ты нам поможешь?

— Конечно, поможет. Васенька, иди ко мне, — Рита легонько прижала к себе Васю, и он подумал, что когда она возьмет его фамилию, они вдвоем будут всё это вспоминать. И много других случаев. У них будет машина и двухкомнатная квартира.

— Какой-то он неразговорчивый, — пожаловалась Рита.

Настя меланхолично курила:

— Железки варит. Я не знаю. Что-то там конструирует в гараже. В футбол играет, в шашки. Составил график развития своей личности. Кстати, интересное увлечение: выписывает афоризмы. На гитаре хочет научиться.

Настя была брюнеткой. Все ее идеи были вздорными, но заразительные тем духом юности, который их и породил. Она была ребенком рядом с Ритой — воплощением цветущей женственности.

В их компании всё позволялось и прощалось только Даше.

Рита, например, страшно мечтала выйти замуж и всё для этого делала — нарочно распускала волосы (избранным их можно было понюхать), ходила в школе в обуви на каблуках, а не в кроссовках, выражалась, носила короткие платья, душилась до обморока сознания, регулярно провоцировала вызовы на ковер к директору школы, который любил играть на баяне, и вместо того чтобы бороться с антиобщественным поведением своих старшеклассниц — таких, как Рита, — с упоением пел и плясал перед ними.

Итак, втроем — Рита, Настя и Вася — отправились в 21-й магазин. Всё погрузили на Кузопетрина. Это были авоськи с красным вином в литровых банках, консервы, колбасный сыр... Девушкам на вечеринке Вася не нужен был совсем, но и девать его было некуда.



— Хорошо, что Дашки с нами нет, — сказала Настя, — ненавижу ее безответственность — она меня «головкой от сифона» назвала. Обмотается своими бинтами... Даже шлем показывала: ровно напополам расколотый — удивительно. Кстати, Вася, а ты не знаешь, где она?

— Не знаю. Может, в кино пошла. Хотя их туда с ящиком пива не пустят.

— Ага, в кино, на «Эммануэль-2», — сказала Рита, — куда она еще может пойти с ящиком пива.

— Что-то знакомое. «Эммануэль». Про собаку, да? А хороший фильм? — спросила Настя.

— Да ну. Про любовь, где голые. Порнография. Я такие фильмы много раз видела. В видеосалоне в «Детском мире». Это такие фильмы — всегда одно и то же. То ли дело «Рожденные революцией». Мне больше нравится. Интрига, и на мужчин приятно посмотреть.

— А что такое порнография? — заинтересовался Кузопетрин.

Настя дала ему подзатыльник.

* * *

— Смотри, вот это баррэ.

Блондин с гитарой то и дело отвлекался от обучения Васи и смотрел на Настю. И чем больше он смотрел на нее, тем меньше она обращала на него внимание. Вася Кузопетрин, уткнувшись в гриф гитары, ничего не замечал.

— Ты не волнуйся, ни у кого сразу не получается, — подбадривал его блондин.

Даша лежала на коленях своего приятеля, замеченного утром с ящиком пива, и пыталась, раскручивая бесконечный бинт на лодыжке, прибинтовать к своей ноге его голову.

Рита пряталась за Васей от неразговорчивого крановщика Виктора. Тот мрачно вскрывал консервным ножом банки с вином.

— А помните, — Насте, как всегда, стало смешно, — мы Людке объясняли, как шампанское надо открывать? Сказали ей: зубами. Она — ка-ак потянет...

— А дальше что было?

— А помните, — отмахнулась Настя, — как Погодаев склад ограбил? Свалил все конфеты в одеяло, ходил по школе и всех угощал? Романтик.

— Его отчислили еще.

— Да. А потом за убийство посадили, — Настя загрустила. — Жалко. А я считаю, он за кого-то мстил. Точно! Парень обидел девушку, а Погодаев на суде не сознался, за какую, чтобы ее имя не выдавать. По-моему, очень романтический поступок.

При упоминании романтики блондин с гитарой вдруг заголосил, глядя на Настю:

— Милая Алёнушка, где ты, где? Может, на планете — на Земле? Может, просто в сказке ты живешь? Может, на одной из дальних звезд?

— Вообще-то меня Настей зовут, — обиделась Настя.

— А я — Жека.

— Из какого жэка?

— Из нашего. А из какого?

— А кто тебя привел: эта или та? — подозрительно спросила Рита.

Даша и ее обмотанный бинтами спутник сползли куда-то под стол. Настя сделала вид, что она вообще здесь случайно и никого не знает.

Виктор мрачно прохаживался и осматривал книжные полки. Его заинтересовал театральный бинокль.

— А чё он маленький такой?

— Для театра. Или с балкона на соседний дом смотреть, — сказал Вася.

— Мысль. Себе возьму.

Жека продолжал надрываться:



— Живет в белорусском Полесье ровесница леса Олеся. Считает года по кукушке, встречает меня на опушке!

— Тоже романтично, — прокомментировала Настя.

— Чего романтичного-то? — Рита была непреклонна. — Сейчас всё выясним. Мальчишки и девочки, кто из нас кого привел? Или это вас всех одна... В общем, начинающий организатор половой жизни привела?

— Ты про меня, что ли? — удивилась Настя.

— Ну уж ты-то чего? За братом присматривай, сопли ему вытирай. Это Дашка. Ее нет — верный признак.

Перед девушками стояли вперемешку литровые банки с вином и банки с домашними салатами. Подруги смотрели друг на друга так, будто их осенило. Вася Кузопетрин смотрел на Жеку.

— А Цоя можешь? — спросил он его.

— Ясно — могу. Цой жив! Целый год голый лед...

— Да подожди ты со своим льдом, — не на шутку завелась Рита, — а где же это Дашуля-то наша законспирированная? И кто там под столом возится? Мы кошку завели?

Из-под стола вылезла растрепанная Даша.

— А я никуда и не уходила. Мне у Цоя другая нравится: «На вечеринку один, пока моя девушка больна».

— Нормально? Она больна, а он — на вечеринку, — из-под стола вылез не менее растрепанный парень Даши — Саша Барабаш. (Да-да, таинственным незнакомцем был именно он.) Саша выгнулся, застегивал ремень, и, стараясь держаться молодцом, стал оглядываться по сторонам.

— Все в сборе, — заключила Рита. — А где Виктор?

Виктора нигде не было. Все стали его искать.

— Поздравляю вас. Виктор вашу квартиру обчистил, — подытожил Саша, иронически наблюдавший за поисками. — Наркотики ему нужны? Нужны. Клей в пакете нюхать. Чтобы вштырило. А на что их брать? Его из ПТУ отчислили. По карманам в гардеробе искал себе уют. Собрали педсовет. Он разбежался в туалете — бац об стену головой. Сотрясение мозга. И главное: нам говорит: я сейчас об стену головой... А мы чинарики смолим. А он: а я сейчас об стену головой. А мы чинарики уже побросали. Он разбежался и действительно — бац. Ну его в больницу, типа, психоз. А он тут мужика одного чуть люком кана... каналы... кана...

— Канализационным? Заело, да? — Даша набросилась на Барабаша и стала возюкать его по ковру. Разбила ему нос. — Ты зачем его привел? Этого Виктора! У тебя друзей других нет? Это тебя надо люком кана-каналы...

— Сашка и меня привел, — сказал блондин Жека, ползавший по полу в поисках гитары, — но я никого не обчистил. Честно. Людям доверять надо.

Рита смотрела на всю эту возню и смеялась про себя. Настя подбежала к Кузопетрину и обняла его:

— Вася, что пропало? Я отвечаю за тебя. Что пропало?

— Бинокль.

Даша устала лупить Барабаша, она достала платок и принялась вытирать с его лица кровь. Настя хлебала вино прямо из банки. Жеку затошнило, и он убежал. Рита продолжала смеяться — уже в полный голос.

Вася Кузопетрин присел к батарее, смотрел на Риту, на ее локон, чуть прикрывавший ухо, локон, который она поправляла, когда задумывалась, и никогда не был так счастлив. «Почему я? — думал он. — Почему она выберет именно меня? Конечно, хорошо быть ее мужем, но вдруг у нее окажется ужасный характер, и мы начнем ссориться? Нет, она добрая. Главное: я ее всегда перевоспитаю, если мне что-то не понравится в ней».

— Ты на кого смотришь? — строго спросила Рита.

— Ни на кого, — испугался Вася.

— Поставь что-нибудь. «Для вас, женщины» есть? Нет, лучше медляк. Смотри, сколько у тебя пластинок. Я хочу с тобой потанцевать. Ты же не будешь меня



тискать? А то тискают постоянно, я уже вся в гармошку. Вася, а ты умеешь вести партнершу? В мир грез.

Вася бросился на диван и зарылся под одеяло, не замечая, что в это время здесь же, на его диване, Даша и Саша Барабаш производили определенные телодвижения. Рита легла прямо на ковер, забрызганный кровью, стала лепить шарики из хлеба и бросать их в люстру. Жека уснул на унитазах. Одна Настя с отрешенным видом сидела за столом, лицом к окну, и машинально ела колбасный сыр, запивая его шампанским.

* * *

Девушки все еще бодрствовали. Юноши спали.

— Ты все-таки испортила мне ребенка! Могли бы и на кухне своей похабелю заниматься!

— А пусть учится, — ответила Даша, — да и вообще он ничего не видел. Он под одеялом трясся.

— Это она испортила тебе ребенка? — удивилась Рита — Да это я его тебе испортила. Такой сладкий вкусный мальчик.

— Да? А я сейчас с тебя клипсу сорву и в окно выкину!

— Да шутка это. Не буду я его трогать. Первый поцелуй, первая гроза, первое хочу, первое нельзя...

— А мне так нравится Сашке волосы ерошить! — Даша разливала вино из последней банки.

За окном светлело.

— Кто о чем! — воскликнула Настя.

— А что? Завидуешь? Да и вообще я тебе не верю, что ты одна из нас ни с кем не спала. А помнишь, тебя изнасиловать пытались на Горбаках? Зачем ты туда в такую рань поперлась?

— Как зачем? За машиной. Я ездить учусь.

Однажды Настя утром пошла в гараж на Горбаки, и на нее напал маньяк. Начал срывать с нее одежду, а как дошло до дела, у него не вышло. Бывает. Настя сразу подобрала осколок стекла и стала резать им маньяка. И нашли его по приметам, по шрамам. И у Насти на ладони тоже шрам остался.

— Нет, что ни говори, а ты мужественная, — сказала Рита. — А вот меня бы никто никогда изнасиловать бы не смог.

— Это почему?

— Надо над мужиком посмеяться — и все. Оскорбить его, унижить. А если совсем тупой — резко поговорить. А безнадежный вариант — приласкать.

Именно в этот момент Настя придумала то, с чего и начинался рассказ. То, что не пришло бы в голову ни Рите, ни Даше, ни тем более Васе Кузопетрину...

— Девчонки, а пойдемте сегодня ночью колядовать! Ночь на Рождество. Подарки домой принесем.

— И венерические болезни, — добавила Даша, — на нее же маньяки бросаются, и она же хочет по ночам гулять!

— А мы Васю с собой возьмем. Нас и так трое. Потом, я мешок на себе не собираюсь тащить. Пусть привыкает.

Даша постучала по опущенной голове Кузопетрина.

— Он что у тебя — дружинник? Может, самбист? Лучше бы бурильщика оставили, он кун-фу знает. Хотя — что это такое? Может, это «добрый вечер» означает по-китайски?

Даша втиснулась на диван между спящими головами, ушастой — Васи и перемотанной бинтами — Саши, уложила себе на грудь, обняла их.

— Ну-ну, дерзайте! Колядуйте! А я в городской больничке подежурю. Все равно мне туда Барабаша сдавать. Я ему, кажется, нос сломала, а зачем он мне с кривым носом? Вот пусть там свои портянки и мотает, мотогонщик.

Таким образом Даша взбесила Риту.



— Трусиха ты, Дашуля! Это тебе не безжизненное тело мутузить.

— А твой бурильщик!.. Его не музыка, а белая горячка повязала.

— А дверной звонок кто будет чинить? — подхватила тут и Настя. — Первое хочу, первое нельзя? И ты, Ритулечка, — красавица просто. Снегурочка. Все отморозки к тебе лепятся. Мы на диване пихаемся, а она в своем кресле захлопнулась и лежит там, как на курорте.

Рита подошла к окну и стала беспорядочно нюхать цветы в горшках.

— А я и сама хочу поменяться. Барабаш починил, пусть Дашка там и спит. Я, между прочим, с бурильщиком и словом не обмолвилась. Это ты с ним, Настенька, час обсуждала всю буровую систему Советского Союза. И не только буровую. Телом своим меня прикрыла. Проявила комсомольскую инициативу. Так что пойду я с тобой, Настя, потому что ты не размазня на сковородке, как некоторые. Я буду петь. Я в хоре пела, ясно? Вторая слева во втором ряду. «Дважды два четыре — это знают в целом мире». Ладно, я в туалет пошла.

Даша грустно гладила безжизненные головы.

— Дашка, да что ты, — продолжала гнуть свое Настя, — возьмем мешок, костюмы себе придумаем, маски карнавальные.

— В этом мешке тебя и похоронят. А с Риткой я спать не буду. У нее одна мечта: чтобы все ее волосами дышали. Разбросает их по подушке. А что кресло? Барабаш прибил к креслу какой-то гвоздь. И ничего не изменилось, только гвоздь торчит.

Появилась Рита, тащившая под руку Жеку.

— Это чей? Весь туалет заблевал.

* * *

Настя стала подпрыгивать. Жека не растерялся, поймал Настину ногу и уже не отпускал.

— Еще один! — сказала Даша, отвернувшись. — Попрыгунья ты наша.

Настя продолжала скакать на одной ноге, поскольку вторую бесперывно и смачно целовал Жека.

— Да? А ты вообще между двумя мужиками лежишь и, между прочим, с моим братом! Скажи спасибо, что я прыгаю, а то бы зарядила с размаху бутылкой — и весь интерьер в крови, видала шрам на руке? — вскипятилась Настя. — Миг забвения — и ты в одной палате со своим мотогонщиком. «Даша, я ползу к тебе». «И я, но у меня голова плохо держится». «А у меня нога отвалилась, катни мне свою голову, буду с ней жить».

— Ну и что? Может, мне приятнее лежать с мужиками, чем с тобой. Ты-то не знаешь, что это такое, ты их режешь стеклом, кусаешь!

Рита начала отдирать Жеку от ноги Насти:

— Нашли о чем говорить. Тут и так все в крови. Только патологоанатома не хватает. Хорошо, что этот Виктор ушел. А то бы всех нас перерезал. Ладно, вы дуры, а я при чем? Я что, рыба разделочная?

Все замолчали.

Тут заголосил Жека, обращаясь к Насте:

Оттого что есть ты на планете,
Будет мир немножечко светлей,
Радоваться жизни будут дети
И ромашки посреди полей.

— Ну да, — продолжала Рита, — и куда нам их теперь девать? Дашуль, не нравится тебе колядовать — не ходи, только Сашку убери, задвинь куда-нибудь. Я при нем не разденусь никогда, а спать хочется. И ты тоже, как ответственная за разврат, со своей ромашкой разберись, — повернулась она к Насте.

— Он от ноги не отцепляется! Да я его во второй раз в жизни вижу, он такой же мой, как и твой, — рассердилась Настя. — Кстати, где его гитара?



— Как это где? — удивилась Рита. — Виктор спер. А давай, раз дело приобретает серьезный характер, убьем Барабаша — это же он его привел. Смерть во сне — самая безболезненная.

— Бери пепельницу.

Даша не на шутку испугалась и стала Барабаша толкать.

— Сашка, они пьяные. А пьяные, знаешь, какие сильные? И дуры обе. Ты чего — совсем отрубился?

— Заходим, — командовала Настя, волоча за собой Жеку, который от поцелуев перешел к какому-то ласковому и трепетному разглядыванию ноги, словно боялся потревожить ее совершенство, но хватку не ослабил. — Я бросаюсь на него. А ты — пепельницей со всей дури. Им тут можно, значит, акробатические этюды... При ребенке. А я на секунду отвлеклась — смотрела на звезды.

— И Дашку придется убить.

— Да. А что делать? Она — свидетель. И пинается еще.

Даша спрыгнула с дивана. Вид ее был страшен, глаза не моргали, руки дрожали, на ногах висели грязные бинты.

— Я щас вас сама всех поубиваю! В мешок засуну, утоплю и скажу: наколядовала.

Завязалась женская драка, стол свернули, посыпались банки и тарелки. Рита сидела на полу вся в шпротах, Настя в консервированных помидорах, а Даша лежала среди осколков как мертвая.

— Правда убили что ли? Это же шутка была.

— Надо скорую вызывать!

Барабаш проснулся:

— Вы что тут творите? Я спать хочу.

— Ты спать хочешь, а мы Дашку убили, — заистерила Настя.

— Да ну вас, — Барабаш повернулся к стенке и снова уснул.

* * *

Девушки кроили и примеряли костюмы, обматывались фольгой и серпантинном.

— Я буду снежинкой, — сказала Даша.

— Снежинок с такими формами тела не бывает.

— Рита, скажи ей! А то я тут опять всё переверну.

— Типичная снежинка, — подтвердила Рита, — Настя, а ты кто?

— Индианка.

— Очень логично, — не удержалась Даша, — индианка колядовать не может.

— Почему это? У всех женщин равные права.

Рита вертелась перед зеркалом:

— А я — принцесса цирка, — похвасталась она. — Я из пушки в небо уйду. Ду-ду-ду-ду. Хау ду ю ду. В небо уйду.

И тут все трое повернулись к Васе...

— А чего тут думать? Уши ему пришьем. Будет зайчиком, — сказала Даша.

— Отстань от него, — возмутилась Настя, — ты снежинка, а они не разговаривают. У него и так уши — дай бог.

— Кстати, зайчик — это очень сексуально, — заметила Рита.

В дверь застучали, поскольку звонок был сломан.

— Опять! Вася, узнай.

— Кто это? — спросил Вася, подойдя к двери.

— Это Жека! «Изгиб гитары желтой» еще с тобой обнимали. Нежно.

Настя села на диван:

— Блин, и что делать? Проспался. Зачем нам этот Жека? Он все мероприятие сорвет. Опять к ноге приклеится или еще к чему-нибудь.

— Братан, открой, — с бардовской теплотой в голосе умолял Жека. — Я за гитарой.



— А ее Виктор украл, — ответил Вася.

— Я с Жекой поговорю, — вдруг решила Рита.

Открыла дверь и вышла в коридор.

— Значит, Жека. Понравилось? Что ты сюда ходишь каждый день?

— За гитарой пришел.

— Сначала за гитарой, потом телевизор посмотреть, а потом за женским телом?

Жека испугался.

— За каким телом? Труп на меня хочешь повесить?

— Какой труп?

— Даши. Вы же ее убили. Весь ковер был в крови. И я весь в крови домой вернулся. Кто мной по коврику елозил? Я всё знаю. И еще Настя кричала: всё, убили мы ее, я слышал.

— Так. Ты, Жека, — Рита нервничала, — за гитарой иди к Виктору, пускай он тебе ее на голову оденет. А Дашку мы не убивали. Наоборот. Она теперь снежинка.

— Ясно, секта. Я же знаю: после смерти человек может стать чем угодно. Главное: сохранить сущность. Гитару вынеси. Ну или Настю позови. Вот у нее — сущность! Запах жасмина.

— Не могу я ее вынести. Ты, главное, никому не говори ни о чем. А то я и Настю убью. Надоела она мне. И подозревает что-то.

— Учти, — Жека стал очень серьезным, — ты у меня на крючке. У меня сестра в милиции работает. Могу подписать все показания. Только ради Насти буду молчать. Но если что-то с ней случится, ты запоешь другие песни.

— Эти песни нам пели в «Артеке». И про жасмин тоже. Всё, давай, — Рита запахнула Жеку в лифт и нажала на кнопку.

Когда она вернулась в квартиру, Даша и Настя крутились перед Васей:

— Ну, как тебе?

— Что?

— Что «что»? Костюмы.

— А я думал, в смысле вы — как женщины. Не знаю. А вы что, переоделись?

— Бесплезно, — Настя села на стул. — Рита, ну как?

— Отшила. Дашка, тебя убили, оказывается... Мне вот что интересно — где этот бойфренд твой недоделанный — Барабаш? Что-то его не видно нигде. Тоже в сущность превратился?

— Откуда я знаю? Я только два часа назад очнулась.

— Вы все уснули, а мы утром с ним опохмеляться пошли, — сказал Вася Кузопетрин.

— А тебе-то зачем?

— Не знаю. Он сказал, что нам опохмелиться надо.

— Слушай, Настя, — Даша вышла из образа снежинки, — твой брат вообще нормальный человек? Он если начинает говорить, то мне сразу плохо. Или я ему говорю: у женщины должны быть длинные волосы. Он: почему? Естественный ответ: чтобы в них можно было утонуть. А он молчит.

— Да ладно, — возразила Рита, — вот у тебя короткие. Может, он в тебя влюбился? Да, Вася?

— Отстаньте от него. С вами три минуты побудешь — точно идиотом станешь. Костюмы готовы — ну и вперед, — сказала Настя.

— А Вася? Берем его?

— Возьмите меня. Я маску нашел, — обрадовался Кузопетрин, — монгола.

Он надел на себя довольно устрашающую маску.

— Ну, я бы не сказала, что лицо очень изменилось, — начала Даша, и Настя тут же снова вспомнила, что в детстве представляла себе снежинки несколько иначе.

Девушки немного потолкались, Рита их разняла, и все дружно, вооружившись пустым мешком, пошли колядовать.



* * *

— Какая я свеженькая, — сказала Настя, когда они вышли, — и шапочка мне идет. А погода какая!

Действительно — шел снег, переливавшийся в свете фонарей, и сказочная церемония на его фоне не выглядела настолько уж нелепой.

— Это я снежинка, — рассердилась Даша. — А ты индианка. Тебе такая погода вообще нравиться не должна.

— А меня в детстве выкрал местный раджа. И вообще за моим ребенком лучше присматривай. А я в раю как будто. Я танцевать хочу.

— Настя, не волнуйся. Ребенок за моей талией присматривает, — Рита как принцесса цирка была одета очень легко. — К кому первому пойдем?

Пока шло обсуждение, Вася Кузопетрин, зараженный всеобщим воодушевлением, нашел где-то выброшенную новогоднюю елку и поволок ее за собой.

— А к Барабашу, — связвила Настя, — к почетному секс-символу мотоциклетного движения. Он уже, наверное, пять раз опохмелился. Тут дома через два. Вася, выбрось эту гадость!

Девушки весело скатились с горы, началась игра в снежки, и почему-то все снежки попадали в Кузопетрина. Он завалился вместе с мешком.

— С пустым мешком завалился! Что дальше-то будет?

* * *

Барабаш с уже настолько обязанной-перевязанной головой, что его было невозможно узнать, открыл дверь и заорал. Небольшого роста ушастый Вася в маске монгола с гостеприимно открытым мешком представлял собой зрелище, требующее железных нервов. К тому же за его спиной стояла Даша, чье недавнее рукоприкладство произвело на Сашу тяжелое и памятное впечатление.

— У меня мальчишки нет, у тебя девчонки нет, — запела Рита в костюме принцессы цирка.

— Принял уже? — поинтересовалась Даша. — Сейчас выясним.

Делегация невозмутимо прошла мимо Барабаша на кухню, только Настя шепнула Рите: «Это что за репертуар, мы же колядуем».

— Так я и знала, — Даша горестно села за стол, рядом с бутылкой водки и одинокой рюмкой.

— Ты что, — нашлась Настя, — это же он по тебе тоскует. Места себе не может найти. Вот и пьет что попало.

— Мальчик мой, мой малыш, в этот час ты не спишь, знаю я, что с тобой, — подключилась Рита.

— Да перестань уже, — махнула рукой Настя. — А знаешь, Барабаш, как Дашка тебя любит? Лично твою кровь с ковра отгирала и плакала. И всю квартиру убрала. Обещала расходы за посуду возместить. А сама всё: «Где Саша? Где этот рыцарь? Может, обидела я его чем?» Да, била тебя. Потому что понравиться хотела. Защищала от Виктора. Своим нежным девичьим телом. Мы, женщины, знаешь, какие? Мы же очень сложные. У нас в голове все переплетается, и бьешь, потому что любишь, и защищаешь, потому что любишь. Попробуй — совмести у себя в голове! Вот видишь? А у нас так.

Барабаш достал рюмки.

— Так выходит, она за меня заступилась? — он чуть не заплакал. — А я проснулся, смотрю, ты, Настюха, отъехала. Сидишь разговариваешь с кем-то. Синюшкина Дашку прикрыла, а сверху обе — все в осколках, в салате. Я же на Жеку подумал. А он за стол перевернутый держится. Думаю, проспится — убью. Малого разбудил, пошли с ним, посидели за жизнь. А сейчас одиночество навалилось на плечи. Только вы чего так ради меня разоделись? Да не надо, вы и так... Имею в виду, не каждому такая красавица достанется. А жизнь короткая. Мне один рокер сказал: где ждет тебя следующий поворот, никогда не знаешь. Ну, в общем, это тост был.

Все, кроме Васи, выпили.



— На дальней станции трава, трава по пояс, как хорошо с травой наедине, — продолжала гнуть свое Рита.

— А разделись... Для тебя, конечно, — сказала Даша.

— Мы колядуем, — вставил Вася Кузопетрин, — вон какой мешок.

Когда они вышли от Барабаша, Даша стала с этим мешком гоняться за Васей. «Меня отмазали, а ты: “Колядуем”. Сашка думал, я для него снежинкой разоделась! Я сама так стала думать. Била его вчера как хотела. А теперь... Нет, я поняла... Ты гном — ты гном страшный! Мешком прихлопну тебя! Я тебя боюсь!»

В это время Настя была увлечена разговором с Маргаритой.

— А мне Жека нравится, — сказала она.

— Который на унитазах спал?

— А что такого? Вот вы мне: ты все девственницей прикидываешься. А может, я не прикидываюсь. Еще я буду разбираться, кто на ком спал... Я, и сама знаешь, много где спала, и по ручонкам по их поганым лупила. А блевандос, вообще, — хороший показатель.

— Это еще почему?

— Дура ты! Это значит, что непьющий. Что ты всё из себя строишь, — продолжала Настя, — ты для них игрушка, а я — земная женщина. Тоже мне нашлась многоопытная. Скучные вы обе. Ну, вот Дашка выйдет за Барабаша, будут ходить в обмотках, ты — за кого-нибудь, кто тебя отсюда увезет в большой мир — на станцию Анзеби. Очень увлекательно.

— А ты за кого?

— Не знаю. Зато я тебе обещаю, что вы на свадьбе рыдать будете от зависти.

Они углубились в тот район, где фонари почти не горели и дома были деревянными двухэтажками. Заходили к родственникам и друзьям. Мешок постепенно наполнялся, и отстающий от делегации Вася Кузопетрин уже очень хотел вернуться домой. Девушки в процессе затянувшегося похода тут и там выпивали, а он — нет, и разница в восприятии реальности между ними стремительно разрасталась.

Некоторые хозяева похвалили костюмы. Особенно костюм индианки, потому что каждый видел в нем что-то свое. Все что угодно, кроме индианки.

* * *

— Что-то я еду куда-то, — сказала Настя, остановившись под редким в этих местах работающим фонарем.

Все уже слабо представляли, где они находятся.

— А мне что-то надо куда-то выйти, — сказала Даша и полезла по сугробам в сторону жидкой рощицы.

— Васенька, тебе не тяжело? — спросила Настя и тоже куда-то поплелась.

— А где камень лежит, ведьма-речка бежит, — никак не могла уgomониться Рита.

Навстречу ей по еле освещенной улице двигалась мужская фигура. На человеке все болталось: и куртка, и шарф, и шапка. Он подошел к Рите и стал упорно ее рассматривать.

— Там где речка бежит, этот камень лежит, — мужественно продолжала Рита.

— Я уже понял. Где Настя? Я, представь, весь день хожу по городу, я же оплакиваю ее. Она же воздушное создание. Она дитя природы:

Звонко журчащих ручьев,
Птиц, за границу спешащих,
В мае цветущих садов,
Теплых дождей моросящих... —

и она же убийца, — горестно продолжал Жека (это был он). — Я всё возьму на себя. Но вот одно не дает покоя — Дашу жалко. А Барабаш знает? Ничего он не знает. Он под поезд не ляжет, как я ради Насти.

Жека лег на дорогу и притворился мертвым. Из-за дерева показалась Даша со словами:

— А там не так уж и холодно.

Жека вскочил и стремительно умчался назад по улице. Кроме Риты, никто ничего не понял.

— А нам пора домой, — сказала Рита, — вон как Васю заносит.

Именно в этот момент Васю Кузопетрина и занесло. Мешок, набитый конфетами и пирожками, потянул его за собой, Вася скатился с горы и впридачу потерял маску монгола. Она так и осталась лежать где-то в сугробе, засыпаемая снегом.

* * *

— Девушка, а ведь вы наверняка курящая?

— А вы наверняка с девушками знакомиться не умеете, — ответила Рита.

— Есть закон такой: больше трех не собираться, — подтвердила Настя.

— Я не читал. Читать-то я не умею. Ухо вместе с сережкой оторвать могу.

— А это не моя сережка.

— А ухо чье?

— Мы не одни, — вступилась Даша, — мы с мужиками.

— А! Это вы для них разоделись. Я подумал, для нас. Стасик, Валера, берите вот эту, тебе — красивая, а моя — в чулках.

Вася Кузопетрин, не оставляя мешок, как партизан, стиснув зубы, полз наверх. Картина, представшая его глазам, была ужасна: Настю повалили прямо на дороге, Риту утащили в тот самый жидкий лесок, а Даша из последних сил в одиночку продолжала сражаться с двумя переростками, уже оборвавшими с нее все опознавательные признаки снежинки.

— А-а-а-на тебе со всей силы по башке! — Вася разбежался и незатейливо ударил мешком по шапке одного из налетчиков. На Васю тут же навалился второй. Он тяжело дышал, и Вася даже как-то не ощущал его ударов. Нужно было помочь Насте. «Вот вечно с ней так», — подумал он и ненадолго потерял сознание.

Почти тут же очнувшись, он увидел рядом мешок и Жеку с Дашей, которые оттащили от Насте ее налетчика и скатывали его сейчас с горы — туда, где снег меланхолично засыпал ненайденную маску монгола. Дашины переростки разбежались.

Настя кинулась к Васе:

— Он тебя бил? Сломал что-нибудь? Где болит?

Вася Кузопетрин заревел.

Из-за деревьев вышла Рита. Со всеми, нисколько не пострадавшими, атрибутами принцессы цирка.

— Я же говорила: вот в чем ваша проблема: вы не умеете разговаривать. Пара слов — и всё. Эти гопники — ручные котята. Тем более Виктора я уже вчера раскусила. Теперь даже гитару обещал вернуть. Сам говорит: до кучи ее взял.

— То есть он так тебя и не коснулся? — спросила Даша.

— Нет, конечно коснулся. Это же невозможно контролировать! Просто договорились, где встречаемся, обменялись телефонами.

— А у нас Вася — герой. Мешком — по башке. Меня спас. А я за Жекой побежала, догнала, — хвасталась Даша.

Настя и Жека сидели на дороге, обнявшись.

Маргарита погрузила на Васю мешок:

— Наконец-то и сестру твою пристроили. А то она выпендривается всё: на свадьбе обзавидуемся... Еще неизвестно — кто кому.

Алексей ИВАНТЕР

«И КИСЛЫЙ ХЛЕБ, И ВЯЗКОЕ ПИТЬЁ...»

* * *

Геннадию Русакову

И я слетел с тарковского гнезда, и мне судьба першила кочевая, товарные свистели поезда, и слаще правды речь была живая. Я не ступал по выжженной стерне, держа штандарт затёкшею десницей, не звёзды путь указывали мне, не мчались вслед всполохнутые птицы, но за барачной хлипкою стеной общаги вертолётного завода делили мы с болюющей женой с соседями полсотки огорода, я сторожил писательский подъезд, я окна мыл, уран искал в распадах, канавы рыл, бежал из этих мест, хранил стихи в залистанных тетрадах. Растила хлеб великая страна, в вагонах пела, щерилась в колючке, и древние явила письма шабашнику, мальчишке, недоучке! И кислый хлеб, и вязкое питьё, и дух сивушный в мутном самогоне... И глухо сердце стукнуло моё, как товарняк на снежном перегоне.

* * *

Не разобрать семейного архива. Не то чтоб пачки были велики — да вот они — надписанные криво, в них лица, как над морем огоньки. В галантерее куплена тесёмка, над булочной на верхнем этаже, где ножницы, резинки и клеёнка, и мелочь, позабытая уже. Их письма длань незримая листает, неслышный голос шепчет их слова, а снег идёт, и дом мой заметаёт, и подступает к выселкам Москва. И, как пенёк от ивы, росшей криво, себе судьбу найдя не по плечу, и сам — я часть семейного архива, а всё никак в тесёмки не хочу.

* * *

Говорила мне мама, ладони сложа, как снега наступали, над домом пуржа, говорил мне отец, поправляя топор, как зимой на дрова попилили забор. Говорила мне мама, как мёрзли в Тавде, говорил мне отец про окопы в воде, а мне мама — как шли по этапу врачи, а отец — чего дома услышал — молчи. Керосин берегли и стирали в пруду, наше всё я в далёком усвоил году, поглотило его и вернуло жерло, как озимые, словом под сне-



гом взошло. А за домом шуга, в Салтыковке пурга, на могиле отца снег, и вся недолга. То водой над Тавдой нас кропит, то бедой. И ребёнок мой старший не чтоб молодой.

* * *

По дорогам высохшим и мокрым, по стерне и снежной целине, верховыми — на груди с биноклем, пешими — с винтовкой на спине, с тазом и стиральной доскою, с Пушкиным, свекольною ботвой, лесом и станицею донскою, Питером, Тавдою и Москвой, по болотам, наледям, просёлкам, Невскому, Ильинке и тайге, Павлодару, Минску, Новосёлкам — в сапогах чужих не по ноге, семьями, вдвоём, поодиночке... С метками посконное бельё... Вы входили в жизнь мою и в строчки, как в своё законное жильё. Правдолюбцы. Вруши записные. Русские обжившие края. Милые. Далёкие. Родные. Павшая фамилия моя!

* * *

Когда меня в психушке били не по злобе, но от души (так алкаши с ума сходили в психиатрической тиши, я был приبلуда и обуза, бурчатель непонятных фраз) и гимн Советского Союза мне пел печальный пидарас, уже заколотый до дури, но исцелённый не вполне, и взгляд его по арматуре в окне блуждал и по мошне, в ошметках синего халата я мог ли думать в этот миг, что всё сполна вернет Эллада, слегка знакомая из книг? Когда судьба меня мотала по Верхоянскому хребту, и горло медью обрастало, а сердце плакало Христу, я мог ли верить в том бараке, в той бесприютности, скажи, где два бича в сивушной драке друг в друга всунули ножи, и был поставлен отвечать я за производство двух гробов, и в непорочное зачатие, и в умножение хлебов? Когда я чуждые обычи в себе прочерчивал углём и пахли лавки кожей бычьей и пережженным миндалём, торговлю тягостней обмана я постигал на раз и два, но с древней хитростью османа душой не чувствовал родства, я жил без веры и уклада, ногой в тюрьме, ногой в дерьме... Пока ждала меня Эллада вечерней службой на холме. И над холмом, и выше, выше — над пенем крепких стариков... Где что-то русское я слышу, иных не помня языков...

* * *

Некому жить тут, и некому плакать,
церковь гниёт на вершине горы.
Будешь, как утка осенняя крикать,
встанет деревня когда в топоры.
Пела она и пила, но не встала,
не поднялась с заскорузлых колен —
ноги её оковали металлом,
рот её выжжен, а взор опален.
Только и слышно, что мата и мыка,
змий огнедышащий реет вблизи,
руки скрестивши, лежит, безъязыка,
в лёд она вмёрзла, утопла в грязи.
Ангел стоит у железной кровати,
ночью удавят её паханы.
Вечная жено, стожилная мати!
Крест положи перед смертью за ны.

* * *

Солнце оловянное восходит, песню деревянную поёт, жизнь моя от пристани отходит, длинный, три коротких подаёт. Там, где воблу к пиву подавали, на закваске чёрный хлеб пекли — так друзья сигналы подавали, расплатились, встали и ушли.

* * *

Старуху с банками в кошёлках, дедка с ведёрком чеснока и парня в лагерных наколках несёт великая река. Дымит паром, дедок шуткует, мотает бакены волной, КамАЗ на пристани паркуют напротив бочки нефтяной. И пахнет дымом и соляжкой, и рыбу чистит на лотке, по виду, старая доярка в посадском хлопковом платке.

... На чёрном фоне или белом в любом проведанном краю углём кузнецким, курским мелом рисую родину мою.

... но у дощатого причала в краю мочала и кайла — она сама меня стачала, сковала, в воске отлила. Причал. Тут пьют и расстаются, сидят до вязкой темноты...

И всё никак не удаются неуловимые черты.



Ирина СИРОТИНА

КУКУШКИН РОДНИК

Повесть

Есть у нас в деревне один мужик совершенно особенный — Тимофей Кукушкин. Не то чтоб ростом выделялся или там силой, или красотой — такого нет. Просто чудаковатый, с придурью. Росточку он смолоду был среднего, а теперь уж, в свои семьдесят три, как-то совсем усох, сжался, но всё ещё шустрый, лёгкий на подъём. Кепочку на затылок напялит, накинёт старый пиджачишко, возьмёт в руки батожок — и только его и видали. Все леса и луга обойдёт, колки обшарит: где какой гриб или ягода, а больше просто бродит, угодя проведывает, смотрит: где, что и как. Не сказать, чтоб он сторожем или там егерем себя мыслил, а просто не сидится человеку на месте, всё его куда-то гонит, ну и, конечно, природа — красота, птички и всё такое.

— Если буду сидеть — сгину. Смерть меня дома не застанет, — скажет он рано поутру какому-нибудь встречному, махнёт рукой в знак приветствия и — в путь, по полям, буеракам да оврагам. Уж и годов немало, и спина горбиком, и волос на голове — редкий седоватый мох. А всё ж осталась в нём какая-то сила и зовёт куда-то. Вот он топчет ногами родную землю — и семь вёрст ему не околица.

Какой-то особой силой он и в молодые годы не отличался, но работал много и с удовольствием. Бывало, мужики уже сойдутся на перекур, а этот всё тянет и тянет — благо, не курил. Те подчас скажут ему: «Да брось ты». А он не отойдёт, пока не закончит. «Тяговитый ты, Тимоха», — говорили ему.

— Не-а, я не сильный, я жилистый, — отвечал он. — Мне мужики, которые с войны пришли, рассказывали: в пехоте таким, как я, невысоким да жилистым, легче всего приходилось. Это спервоначалу трудно: амуницию на себе тащить, там, вещмешок, патроны да гранаты, ещё винтовка да скатка на тебе и всё такое... И тащишь на себе всё это чертову прорву километров да по жаре или дождю. А если к тому же ещё орудие, какую-нибудь сорокапятку толкать... Крупные мужики — те, что здоровые и в теле, — спекаются быстрее, а которые, как я, худые да жилистые, тащат и тащат как заведённые, и ничего их не берёт.

И хотя Тимофея Кукушкина, особенно в летнюю пору, редко застанешь на своём дворе, вовсе не значит, что он плохой хозяин и не домовит. Совсем напротив. Изба у Тимохи в нашей деревне самая живописная: она и резная со всех сторон, и даже красками расписанная. Узорчатый забор окаймляет усадьбу, ворота на манер терема, а во дворе — беседка типа ларца. Перед домом скамья с точеными ножками, а по низу — деревянное кружево — что-то вроде прошвы. Стены хлева и сараев расписаны у него яркими нездешними цветами, травами и птицами. Этак



кудесничал Тимоха много лет по молодости, но уж после того как женился. Очень необычно, даже странно смотрится его усадьба среди прочих домов на улице. Вот идут дома деревянные, бревенчатые, посеревшие от ветров и дождей — есть и такие, которым за сто лет, иные покосились. А есть из кирпича силикатного, стандартные, ещё советские — на две семьи. И вот среди этого — пряничный домик. Когда над деревней светит яркое солнце, все краски как-то разом вспыхивают и разгораются, и кажется, будто сияние исходит от Тимохиного двора, и улица становится веселее.

Ещё вот что учудил Тимоха: прознал, что где-то на севере в русских деревнях прежде дома рубили с коньком на крыше. Долго мучился этой идеей — заполучить себе на крышу такое чудо. Мороковал так и эдак, рылся в каких-то журналах, чесал затылок, не один месяц пребывал в задумчивости и изладил на крыше... но не коня, а петуха. Красный петушиный гребешок бороздит голубизну неба, столь же алая борода, кажется, вот-вот скапает прямо в цветник палисадника. Желтые, зелёные, оранжевые и коричневые перья на всю улицу светятся. Голова птицы и всё её туловище устремляются куда-то ввысь, как будто за мечтой о чём-то высоком, нездешнем.

— Ну, Тимоха, — говорили ему люди, — навёл красоту, теперь на всю жизнь хватит, можешь помирать спокойно.

— Помру я, когда этот петух прокукарекает, — отзывался он на такие слова.

Много лет прошло с тех пор: дом Тимохин как стоял, так и стоит разукрашенный, и никто не слыхал, чтоб петух когда прокукарекал.

А между тем подошло время Тимохе хлопотать о пенсии. Забыл он на время дорогу в лес и не частил уже по колкам да косограм — а всё по кабинетам и инстанциям. Выяснилось, что у Тимохи из трудового стажа исчезли два года. Как ни бился он, ни разыскивал справки — ничего не доказал. Даже двух свидетелей приводил, которые подтверждали, что он в колхозе работал с четырнадцати лет, — всё без толку. А трудиться Тимоха и впрямь пошёл рано. Как-то вскоре после войны пришёл к ним в школу председатель, вошёл в класс и прямо на уроке спросил:

— Ну, архаровцы, кто из вас умеет конями управлять?

Тимоха и вызвался. Вот тогда он и пошёл в колхоз, да с той поры и работал бесперывно. До трёх часов ночи косили комбайны в поле, а тут и Тимоха при них, со своей лошадкой. Волокушами тогда возили: срубят две берёзки поветвистее, запрягут коня в две жерди, а сверху наложат скошенное — и так полночи. А работали в те годы в колхозе за трудодни. Отработаешь один день — ставят палочку, второй — другую. По числу накопившихся палочек и должна была производиться оплата. Часто бывало, что не платили ничего, поэтому колхозники говорили, что работают они за палочки. Вот эти-то два года и выпали из трудовой биографии Тимохи: и бумаг нужных не нашлось, и свидетели не помогли. Долго бился он за пенсию, но насчитали самую маленькую. Тимофей вышел тогда из начальственного кабинета на улицу, плюнул и снова подался на приволье — в леса.

Однажды встретил его на дороге, спрашиваю:

— Откуда идёшь такой красивый?

А был он одет не как обычно — на нём была модная куртка, а не кургузый пиджачишко, на голове не кепка, а бейсболка.

— А я такой красивый потому, что на экскурсии был. Сына вот раздел — он в гостях у меня. А я ему: «Скидывай амуницию, дай мне пофорсить. Да вот на экскурсию в райцентр и подался. Магази-инов понастроили, вот я и ездил поинтересоваться. Чего только там нету — я про такое и не знаю, что бывает. Не купить, так хоть погладить. Вот такая экскурсия. А вообще-то, по правде говоря, зуб я ездил лечить — зуб у меня раскрошился, жевать нечем. Эвона, гляди, — и он открыл рот, засунул в него палец, оттянул щёку и показал щербатые зубы. — И знаешь, сколь с меня запросили? Аж две тыщи! А у меня пенсия — всего пять. Ну я и сказал «спасибо», а сам — восвосяси. Так что экскурсию совершил. Нет, вот ты мне скажи: почему пенсию мне начислили минимальную — я чуть не полвека мантулил, а



только горб нажил. И кто не работал — те же пять тыщ получают. Как это можно? Вот ежели размыслить? Эх, житуха! Да ладно, доскрипим мы с бабкой как-нибудь.

Деревня наша Безлюбово старая — ей уже более ста лет. Ну, это она старая по нашим, сибирским меркам. В России, конечно, деревни да сёла счёт ведут веками — от царя Алексея Михайловича, а то и дале. А у нас в Сибири и сто лет — немалый срок. Как говорили старики, Безлюбово основали бывшие каторжане — они осели здесь неведомо когда, а затем заселили его приезжие из России переселенцы. Живут у нас потомки вятичей, есть тамбовские, смоленские, курские, чуваша из Поволжья и украинцы с Полтавщины, а ещё чалдоны, иначе говоря — коренные сибиряки. (Иная баба, бывало, с гордостью скажет: «Я искоренка», что означает: чалдонка, коренная сибирячка.) Вернее, жили, сейчас уже многие поразъехались. А прежде деревня была большой. Когда-то здесь находился колхоз «Красный партизан», а позже, когда хозяйства стали укрупнять, объединили нас с другими деревнями в одно хозяйство, и стал колхоз уже называться «Заря коммунизма». Сейчас Безлюбово уже не то — измелъчало, поредело, осунулось. Многие переселились в город, иные просто побросали дома, и те заросли по крышу бурьяном, молодёжь разъехалась по чужим краям в поисках счастья и заработка.

А места здесь благодатные, привольные. Сама деревня расположена на возвышенности. Бывало, выйдешь за околицу — кругом обступают поля и тянутся далеко за горизонт, а между ними вьётся лентой дорога, то взбегаёт на косогор, то прячется в низине. Поля и луга перемежаются колками — в наших краях так называют участки леса, где растёт в основном берёза или осина. Иной раз глянешь — кругом рожь золотится, а посреди неё рошица зеленеет. Если посмотреть направо, то там уже другой пейзаж — сосновый бор. Говорят, что это остаток древнего реликтового леса. Ещё дальше — река, но её за стволами не видно. А в знойный день набежит с разомлевших лугов ветер, пахнёт в лицо — духовитый, настоящий на разных травах. Стоишь спротив него и дышишь, дышишь и всё надышаться не можешь, будто пьёшь густой ароматный настой, сродни тому, что запаривают бабы и пьют после бани. Угадываются в нём запахи душицы, тысячелистника, мяты, клевера и зверобоя. Чувствуется нежная нотка благородного чабреца, или богородичной травы, как его у нас называют. Накатит вот так на тебя вольный ветер, прянет в самые ноздри, пьяный, душистый, и напоит тебя терпкой, медовой сладостью. А там, возле леса, разрослась колония сиреневого иван-чая. Старики говорили, что это чудо что за трава. Вот ежели, к примеру, в тайге где застрянешь и без припасов — выручит иван-чай: и напоит, и накормит, стоит только выкопать его корни, вымыть, просушить, намолоть — и вот уже мука, можно лепёшки печь. Не даст пропасть тебе иван-чай.

Кругом у нас раздолье, да вот только дела идут не больно ладно. Здесь уже практически не пахут и не сеют, земли потихоньку зарастают, дичают. Теперь там, где были прежде поля, всё больше места занимает выпашь — так называлась у нас в прежние времена давно непаханая, запущенная земля. Работает один фермер, да где ему одному со всеми этими угодыями справиться? Трудятся у него трое наших, деревенских — вот и все работники.

Есть у нас ещё одна достопримечательность. Вот о ней хотелось бы рассказать особо. Это Кукушкин родник. Зовётся он так не потому, что вокруг него селятся кукушки, хотя этих птах у нас хватает. Бывает, начнёт какая куковать — не успокоится, пока три века здешним местам не накукует. Родник назвал Кукушкиным Тимоха, по собственной фамилии. Он с рождения Кукушкин. Род у них такой — Кукушкины. Это он родник обнаружил и имя ему своё дал как первооткрыватель. И люди приняли название. С тех пор так и говорят. Вот, к примеру, одна соседка спрашивает другую: «Ты нынче где ягоду брала?» А та ей в ответ: «Да за Кукушкин родник ходила». Или: «Вода нынче в колонке какая-то ржавая, надо на Кукушкин родник сбежать».

Как Тимоха обнаружил родник — особая история. Было это в те годы, которые нынче называют застойными, а прежде их величали эпохой развитого социализма.



Тимоха тогда служил в колхозе пастухом. Пастушил он долго — не один десяток лет. И вот однажды в обеденную пору, когда солнце стояло высоко, в самой серединке неба, и изливало свои знойные лучи на пастбище колхоза «Заря коммунизма», и разморенные от жара бурёнки разбрелись по лугу, Тимоха поднялся на взгорок к лесу, чтобы сверху наблюдать за стадом. И вот, расположившись в траве под деревом, увидел он небольшую полянку, а на ней — ямочку, через которую потихоньку сочится вода. Тогда он нашёл палку и начал раскапывать ямку — воды стало больше. На другой день он принёс лопату и стал копать. И вдруг из ямы вырвался столб воды, ударил прямо в лицо Тимохе, заставил отскочить в сторону. Вода била фонтаном и орошала траву поблизости. Тимоха вздрогнул от неожиданности, но после обрадовался. Сначала он решил, что это вода, но жидкость изливалась столь чёрная, что он подумал: а может, это нефть? В те годы в Западной Сибири было открыто не одно месторождение нефти, поэтому Тимоху осенила догадка: а вдруг? Он срубил ветки, обтесал их и вбил колышки по краям вырытой ямы, обозначив источник. А фонтан всё бил и бил непрерывно. Тимоха подставил руку под струю, но жирных, присущих нефти пятен не оставалось. Он даже пробовал поджечь — тоже без толку. Постепенно вода сама очистилась. И тогда Тимоха принялся обустроить источник. Первым делом он выкопал вокруг траву и больше не позволял туда забредать скотине. Соорудил деревянный сруб, приделал жёлоб из струганных досок. Жёлоб внизу перекинул деревянной же перекладиной — получился такой своеобразный водопад, позволяющий легко набирать воду. У нижнего края жёлоба он вырыл приличных размеров ямку и выложил дно и стенки камнями — здесь собиралась вода. Тут же неподалёку посадил пару яблонь и куст шиповника. Над источником соорудил двускатную крышу. Невдалеке поставил аккуратную скамейку и огородил всё это штакетником с калиткой. И, наконец, водрузил лесину, на которой крупными буквами красовалась надпись «Кукушкин родник». Тут же, только пониже, на дощечке были прикреплены стихи Тимохиного же сочинения:

Постой, прохожий, не томишь,
У родника остановись.
Чем понапрасну ноги бить,
Не лучше ли воды испить?!
И если что в тебе болит —
Водичка мигом исцелит.

Хотя Тимоха считал родник своим и даже дал ему собственное имя, он всё же не признавал его личной собственностью, а называл народным, то есть существующим для всех людей. Тимоха часто ходил к роднику, следил за ним: косил траву, срезал засохшие ветки у деревьев, если был мусор — убирал его. Словом, обихаживал. Тимоха гордился своим родником: набирал воду во всевозможные ёмкости — бутылки, фляжки и баклажки. Всех просил оценить качество воды. Люди пили, высказывали своё мнение. И общее заключение было таково: вода холодная до ломоты зубовой, чистая, мягкая и ещё с каким-то лёгким привкусом. Одни находили, что она слегка иссолона, другим же блазилась металлический вкус. Однако сошлись на том, что вода бодрит, что, испив воды из Кукушкина родника, становишься здоровее, и от прилива бодрости повышается настроение.

Была ли и впрямь какая-то целебная сила в этой родниковой воде, доподлинно не известно, никто её не проверял и анализов не делал. Но бабы решили: помогает она от живота. Если в каком боку закололо — лечись из Кукушкиного источника — как рукой снимет. Девки тоже оценили воду и нашли ей применение. Они стали той водой умываться — как бы лицо очищается и белеет. А то ещё придумали: наморозят из неё льда, а после бани распаренное лицо и тело тем льдом натирают. Потом идут по деревне гулять — все как одна алолицыце, то есть красивые, по-нашему. Вот, к примеру, Петруха Колобродов из Ступицы, что за десять километров от нас, регулярно приезжает раз в месяц, а то и почаще, на телеге с флягой — берёт



с запасом: для матери, та только её и пьёт и на ней готовит. «У меня, — говорит она, — поджелудочная железа, и без той воды я не могу и без неё маюсь». Проторили дорогу к роднику и отдыхающие — те, которые на лодках из города приезжают с палатками. Ну, конечно, и рыбаки, и шофера, что проезжают по трассе — это не так чтоб очень далеко от нас. Словом, вода пришлась людям по вкусу. И Тимоха гордился своим открытием и тем, что принёс людям пользу. Со временем родник стал достопримечательностью нашей округи и даже как бы святым местом.

Однажды, ясным июньским днём, на двор к Тимохе влетела Анжелка, внучка Митьки Шипулина, бывшего полевого бригадира, и блажит от самых дверей:

— Дядька Тимофей, дядька Тимофей, родник отбирают! Что делать? Отбирают родник!

Хорошо, что в тот день Тимоха был дома, не унесло его бродить по полям да оврагам. Вышел он из сарая, где обтёсывал балясину для какой-то новой своей задумки.

— Чо галдишь-то, чо боронишь? Кто родник отбирает? Как это можно? Такого не бывает, — махнул рукой Тимоха.

— А вот и бывает, а вот и бывает! Послала меня баба Лиза на родник — в боку у неё что-то закололо. Говорит: сбегай за лекарством. Я и пошла, а там дядьки с рулеткой шныряют. Железок понакидали и чего-то там вымеряют. Я — к роднику, а они мне даже набрать воды не позволили, говорят, что это уже не наше. Они меня прогнали, я иду и плачу. Что я бабе Лизе скажу? Вот, гляди, даже полторашки пустые. Там ещё один дядька с канистрой за водой приходил. Он с ними чуть не в драку, но они и его попёрли. Никому воды не дают, — разрыдалась Анжелка.

— Погодь, погодь, — Тимоха смешался, глаза его, всегда живые, как будто остановились, застыли. — Это кто ж там бороздит, препятствует. Нет такого закону, чтоб запрещать воду брать. А люди кто такие? Откуда взялись?

— Не знаю я тех людей, я их впервые видела. Все как один бугаи и одеты по-солдатскому, в форму...

— Как же так-то? По какому такому закону у людей воду отбирать? — Тимоха в сердцах ударил себя по рабочим, заляпанным краской, штанам. — Кто такие? Мой родник! Кто позволил? Ты иди, Анжелка, иди. Я щас сам туда сбегаяю. Эх ты, ну ты, какое дело...

Тимоха натянул сапоги, прикрылся кепчонкой, взял в руки привычную палку и — бегом к источнику. Когда взбирался на бугор по тропе к роднику, услышал мужские голоса. И уже на взгорке увидел, что штaketник у родника разобран и лежит в стороне. Лесина с его стихами выдернута из земли и выброшена в траву на склон. По другую сторону от неё, на особицу, валяется его гордость — табличка с надписью «Кукушкин родник». Тимоха поднял её с земли, очистил рукой, прижал к груди и пошёл объясняться к людям.

— Чего безобразничаєте тут, чего бороздите? По какому праву хозяйничаєте и родник бесхозите, а людей воды лишаете? А которые люди, между прочим, той водой лечатся, — кипел Тимоха благородным гневом.

Тут из группы бравых молодцов в камуфляже отделился один, плотный и высокий, с крупной коротко стриженной головой, прикрытой кепкой с длинным козырьком.

— Чего кипятиться, папаша? — сказал он, направляясь к Тимохе. — Теперь сюда ходить запрещено, это частное владение. Пойми, папаша, ча-стное владение, — повторил он, растягивая слоги. — Земля и всё, что находится на этом участке — всё это принадлежит собственнику. Ты это в свою голову прими и забудь сюда дорогу, и прочим накажи.

— Какому такому собственнику? Если на то пошло, то собственник тут я! Видишь это? — и он сунул прямо в лицо пришлому мужику дощечку с надписью «Кукушкин родник». — Видишь, аль нет: «Кукушкин»?! Это я — Кукушкин, — ударил себя в грудь кулаком Тимоха. — Я, понимаешь? Я тот родник нашёл, я же его



и обиходил, и все миром пользуются и спасибо говорят. А вы что здесь бороздите, свои порядки наводите, хозяева выискались!

Мужик взял Тимоху за плечи.

— Вот что, старик, ты тут свои права качаешь, а нету у тебя прав. Устарел ты для нынешних времён. Сказано: продан этот участок со всем, что на нём есть. Приедет хозяин, построит усадьбу, и всё здесь будет принадлежать ему. А ты, папаша, понапрасну не сердчай, а то, неровен час, инфаркт схватишь и дуба дашь.

Тут в стороне послышалось конское ржание, потом какой-то металлический звук. Оказалось, это Петруха Колобродов пригнал свою бестарку за водой. Пришлый мужик принялся тормозить Петруху, объясняя, что отныне здесь брать воду запрещено. Тимоха набросился на мужика в камуфляже. Он напоминал сейчас отважного воробья: небольшого росточка, сухопарый, в пегом пиджачишке и в тёмных, в пятнах краски, штанах, серой замасленной кепчонке, востроносый — он наскоками напал на этакого откормленного петуха — хозяина птичьего двора.

— Ты пойми, — тыкал Тимоха сухим пальцем в обтянутую камуфляжем грудь. — У него мать болеет поджелудочной железой, он с этой флягой сюда каждый раз за десять вёрст ездит. Не может она без этой воды... Что вы творите — лечиться не даёте, людям жизнь укорачиваете! Мой родник это, и мне решать, кого поить. Вот раньше всё искали врагов народа, а вы вот враги народа и есть — самые настоящие. Таких ещё и не бывало. Я в район поеду!

— Уймись, говорю, папаша, — сплюнул камуфляж, — мы тут люди подневольные. Наше дело на текущий момент — участок огородить. И твой родник как раз отходит на этот участок. Пока мы вроем столбы. А через неделю-другую приедем устанавливать забор. Пока ладно, так уж и быть. Воду брать разрешаю. Но как поставим забор, всё — кранты, дорога сюда закрыта. А в район не езд. Побереги ноги, зря сапоги истопчешь.

Петруха скорей-скорей, прямо-таки бегом набирал воду во флягу.

Тимоха всё еще пребывал в недоумении, он стоял как оглоушенный. Вот так, наверное, чувствует себя рыба, когда её глушат. Он не мог взять в толк, как это земля, которую он и его предки исходили вдоль и поперёк и всегда считали своей, вот так, в одночасье, стала вдруг чужой и теперь называется частной собственностью. Он засунул дощечку с надписью под мышку, снял кепчонку и поскрёб загылок, потоптался на месте, как бы не понимая, куда ему теперь направляться, и побрёл к Петрухе, который уже завершал свою работу. Вместе они спустили флягу с холма, погрузили её на бестарку и встали, опершись на доски, которые с двух сторон окаймляли телегу. Так они стояли молча, пока Тимоха не промолвил в раздумье:

— Чего делать-то теперь будем? Как жить? Этак нам ничего не оставят. Эвона что деньги вершат.

— Я вот не знаю, что матери скажу — она на эту воду чуть не молится, и без неё — ни-ни: ни тебе попить, ни чаю там, ни чего сготовить... И пьёт её как лекарство натошак — утром, в обед и на ночь. Она же вся на желчь изойдёт и нас изведёт. Вот житуха настала... Воды — и той не положено.

Петруха прихлопнул на щеке комара, стряхнул и взял было поводья, но Тимоха остановил его:

— Погодь, — тронул он Петра за локоть. — Кажись, я кое-что придумал, только на этот раз мне помощники требуются.

Тимохе и впрямь пришел на ум план. В запасе у него была как минимум неделя, пока забор городить не начали. Для начала он всё же съездил в район. Там ему удалось узнать, что действительно участок, на котором расположен Кукушкин родник, купил известный предприниматель по фамилии Пупыр, по имени-отчеству Вольдемар Васильевич.

Потом Тимоха составил со своей женой Настасьей разговор:

— Слышь, старуха, мне край как деньги нужны, доставай-ка свои гробовые, что на смерть припасла. Помирать нам ещё не срок. А родник спасать надо.



— Чево удумал, старый, всё на тебя угомону нет, всюду ты лезешь, будто кроме тебя людей нету. Вот пускай соберут с каждого двора, кому твой родник нужен, вот тебе и деньги. А помирать — тут не угадаешь. Не зря говорят: помирать да родить — нельзя годить. Вон возьми Матрёну Лыкову. Только вечер мы с ней уговорились по грибы идти — а она, глядь, к утру уже на столе лежит. Я пришла к ним и говорю: «Что, Матрёна, лежишь — не бежишь?» Не дам тебе денег — вот весь мой сказ.

— Да ладно. Будет тебе решать за мужика. Займись лучше стряпнёй, всей своей бабьей музыкой. В мужичьи дела не влезай, — рассерчал Тимоха.

— Ну чо ты всё вздуриваешь, — не сдавалась Настасья, — погляди на других, вزابоль дурковатых таких боле нету. И всюду-то тебе надо, и всюду-то ты встретишь — нету у бочки боле затычки окромя тебя.

— Во, взбалабошила!...

Жена только рукой махнула — отвяжись, мол. Потом пошла на кухню, загремела кастрюлями, и вскоре оттуда донёсся её голос:

— Иди исть что ли, картошка пока горяченькая, всварку, остынет — не та уже будет.

Настасья прежде говорила более правильным, скажем так, грамотным языком. Но к старости повернуло её на старину. Ей как будто не стало хватать привычных слов, и вспомнила она, как говаривали её дед с бабкой. Забытые ныне деревенские слова она как будто извлекла из старого сундука, встряхнула, сдула с них пыль и стала пользоваться ими в обиходе, как домашней утварью.

Тимоха и впрямь пошёл по дворам, но собрал самую малость. Ничего не оставалось делать, время поджимало, — утянул он у своей бабки из-за божницы десять тысяч. С некоторых пор Настасья стала, как говорят у нас, боговерующей. Это уж когда вышла на пенсию, прежде о Боге не думала и лба не крестила. А в избе в углу ещё от стариков осталась так и не убранная полочка, божница. Повытаскивала из дальних углов, куда смолоду попрягала, ещё дедовские образа, почистила, вернула их на место, украсила рушниками да цветами, как в старину, подвесила лампадку и стала молиться поутру и на ночь. И вот рискнул Тимоха, протянул руку за божничку — на святое посягнул, а про себя решил, что вернёт всё до копейки в сохранности: грибов, ягод насобирает или рыбы наловит и снесёт на трассу продать, а помирать им ещё не срок. Так решил он про себя.

Сговорился Тимоха ещё с двумя мужиками: с Васькой Яшкиным и Витюхой Путинцевым. Добыли они в соседней деревне старенькую «газель», сгоняли в райцентр в магазин, выбрали подходящие трубы и к вечеру того же дня были уже у родника. Они всё правильно рассчитали: вечером пришлых рабочих на участке уже не было. Но в линию, как солдаты в строю, стояли вкопанные в землю столбы. Они уходили куда-то вдаль и там терялись за деревьями. Мужики решили забрать родник в трубу и вывести за пределы ограждённого участка. Прорыли по склону холма траншею, заложили в неё трубы, заварили и вывели конец к подножию бугра. К вечеру другого дня работа была закончена, и Тимоха вновь водрузил на жерди свою дощечку с надписью «Кукушкин родник». Источник снова стал доступен. Но на этот раз в нем уже не было прежнего благолепия.

Где-то с месяц ещё служил родник сельчанам в новом обличье. И все приходили к Тимохе во двор и благодарили за сметливость. Но, как говорится, недолго музыка играла. Тимоха частенько ходил навещать родник, и как-то раз, рано поутру, увидел, что по всей поверхности холма разбросаны трубы. Жердина с табличкой «Кукушкин родник» валялась в траве. Вода уже не сочилась, не стекала в уготованное ей углубление. Родник остался за крепким, выше роста человека, металлическим забором. Теперь для жителей деревни источник иссяк.

Вне себя от ярости Тимоха двинулся вдоль глухого забора, набрёл на нечто, напоминающее ворота, и стал что есть силы колотиться в них. Долго не было ответа, только истоиво лаяли за изгородью собаки. Но Тимоха кричал, бил кулаками и палкой в металлический заплот. Наконец звякнул замок, и вышел заспанный



охранник. Это был уже другой человек, но тоже в камуфляже. Он потёр бычий затылок и сходу набросился на Тимоху.

— Какого лешего надо? Чо с утра всколготился, шухер наводишь? Старый, так не спиится? Поднял всю округу!

— Зачем вы трубу отрезали, родник порушили, людей без воды оставили? — возмутился Тимоха. — Вот я тебя шас палкой охочючу!

— О, так это ты, что ль, Кулибин, свою конструкцию тут наладил? Задал только лишней работы — она у нас в смету не входила. Не суйся сюда, понял, пень замшелый! Не твоё это, не твоё, и не устанавливай здесь свои порядки. И не буянь. Скажи спасибо, что хозяина здесь сейчас нету, а то бы он тебя чисто конкретно безо всяких там вась-вась.

Он развернул Тимоху к себе спиной и подтолкнул:

— Ступай, дед, по холодочку, пригрей свою бабку, небось, у неё кровь остыла. И смотри у меня: сюда больше — ни ногой, увижу — не ручаюсь, что часом вдруг в бане не угоришь.

С этими словами он запалил сигаретку и скрылся за воротами.

Тимоха сам не свой спустился с холма, примостился у пересохшего источника. Земля в ямке была ещё сырая. Он сел возле неё и заплакал — навзрыд, от бессилья. Раньше он чувствовал эту землю своей, он мог передвигаться свободно, всё вокруг было ему знакомо сызмальства — каждый куст, каждое дерево, каждая былинка. И они друг дружку понимали. Травы лечили, лес кормил, укрывал в непогоду, дарил теплом от дров в зимней печи. Но более всего согревала душу, как бы раздвигала её и окрыляла, та красота, которую изо дня в день, в любую погоду и в любое время года, излучала природа. И душа наполнилась этой красотой, и охватывало лёгкое, но такое огромное — до самого горизонта, — ощущение свободы. И чувствовал он своё место в мире, что отсюда он родом, из этих краёв. Так он и жил всю жизнь, а тут — точно волю у него отрезали. Прежде, куда бы он ни пошёл, не было ему нигде отказу, укороту, а тут — вдруг будто поперёк его свободы разом выстроили преграду. И сам он стал какой-то куцый. Впервые Тимоха ощутил себя сиротой в мире. Рядом с пересохшим родником он плакал безутешно, и обильные слёзы, каких он не помнил с поры раннего детства, проливались сквозь пальцы рук, которыми он закрывал лицо. Травинки вздрагивали, когда на них падали тяжёлые слезы, и, казалось, тоже горевали. Тимоха выплакался до полного опустошения. Он сидел и не чувствовал ни дуновенья ветра, ни тёплых лучей солнца, которое уже разгорелось к полудню. Ухо не воспринимало ни лая собак, что иногда взбрёхивали за железным забором частного владения, ни стука и визга инструментов, доносившихся оттуда же, ни лепета лесных птиц, ни стрекотания и жужжания насекомых. Казалось, он оглох и потерял способность воспринимать действительность. Выпотрошенный, лежал Тимоха в траве и по временам вздрагивал, как вздрагивают дети после горького продолжительного плача. Так он пробыл у мёртвого источника до самого вечера и только в лучах заката явился на порог своей избы.

— Всё, старуха, — хмуро промолвил он, сев на табурет и не снимая сапог у порога, — сдаётся, прокричал мой петух.

— Какой такой петух, — отозвалась Настасья, — полно боронить — молотишь, знай, без толку. Садись, вечерять будем.

* * *

Долго не видали Тимоху с той поры на улице — всё копошился у себя в ограде, что-то мастерил.

— То за одно примусь, то за другое — ни одно заделье не выходит: всё не так да не этак, — жаловался он. — Вот в руках чего-то не стало, дёрживо какое-то пропало, ушло что-то, а может, жила какая внутри оборвалась — не пойму чегой-то. И всё мне как будто опостылело, всё поперёк души. Иной раз встанет комом вот здесь,



гляди-ка, — и он показывал кулаком под левое ребро, — и не могу izbыть никуда — ни проглотить, ни чо. Жду, когда рассосётся, а поди-ка ты — никак.

А еще стал ходить на дальние огороды. Сядет, обопрётся локтем о колено, ладонью подопрёт щеку и сидит едва не целый день. А потом заметили, что Тимоха зачастил на кладбище. Как прежде ходил по полям да оврагам, так теперь — на кладбище. Деревенских заинтересовало: и что ж он там делает? Те, что ходили поминать своих покойников, говорили: обустроивает могилки — поправляет кресты, которые покосились или хуже того — упали, красит звёзды и памятники. Убрал валежник, почистил территорию. Раньше, бывало, между могилок с трудом протиснешься — так тесно они срослись между собой — он поправил дорожки. Где надо — скосил траву, кое-где посадил кустарник — рябину, сирень, шиповник. У иных могил воткнул по ёлочке, на забытых уже холмиках посадил цветы. Не обошёл вниманием и ограду: укрепил завалившийся штакетник, где-то подлатал, а затем взялся красить его зелёной краской — под цвет травы и листья. Люди, конечно, говорили ему спасибо, потому что в работе по обустройству кладбища он не обходил вниманием и могилы их родственников. А всё же замечали меж собой: «Неймётся же человеку, всё у него какая-то забота. Сидел бы себе на печи — не молоденький ведь уже».

В первый раз забрёл Тимоха на кладбище случайно, незнамо как. Напала на него какая-то сухотка душевная, и потянуло к чему-то родному, сыздетства близкому. «Неужто и впрямь конец мне приходит?» — подумалось Тимохе, а ноги сами привели его на кладбище. Он подошёл к изгороди. Забор у ворот стоял ровно. Но по краям кладбища завалился. Тимоха сразу отметил это хозяйским глазом. «Непорядок», — вздохнул он про себя, затем приподнял со столба скрученный в кольцо алюминиевый провод и отворил калитку. Вокруг было тихо, только несмелый ветерок шелестел травой, да, казалось, слышался в воздухе лёгкий лепет крыльев мелькавших здесь бабочек. Он двинулся вперёд по тропе. По правую руку вдоль забора стеной стоял буйный, переросший кустарник. Дальше место было более открытое. Тимоха огляделся вокруг и удивился: кладбище выглядело как-то несуразно. Территория была как бы разделена надвое, на светлую и темную части. По одну сторону возвышались деревья. Среди них было немало старых. И вся эта сторона была погружена в тень. Другая же — та, что находилась слева, — напротив, была ярко освещена солнцем. Здесь не видно было кустов, только всюду виднелись кресты и памятники, буйно росла трава, местами, в рост человека, поднимались мощные стебли репейника.

Тимоха проследовал по тропинке вглубь. Тропа была неровной, петляла. Он остановился и огляделся. И вновь его взяло недоумение: могилы были расположены без всякого порядка, как кому вздумается. Вот два или три захоронения идут в ряд, одно за другим, и вдоль них тянется как бы тропка, некая ложбинка, хотя и поросшая травой. И тут же вдруг — поперёк этой тропочки ещё одна могила. И так повсюду. Чтобы добраться до края кладбища, нужно было пробираться между памятниками точно по лабиринту, наугад. Тимохе подумалось: «Всё абы как». И почему он раньше этого не замечал? Он стал протискиваться между могил, по временам читая на них таблички. Всё это были люди свои, деревенские, в прошлом ему знакомые, рядом с которыми проходила его жизнь. Сейчас он бродил среди довольно свежих могил. Неожиданно глаз его остановился на серой гранитной плите. На ней была довольно выцветшая фотография. «Так то же Стёпка Нипейн! — вздрогнул Тимоха. — Да мы ж с тобой в бабки и в козла играли — вона ещё с каких пор, сызмалетства самого». С побликшего портрета смотрел на Тимоху прямо и строго человек в тёмном пиджаке и когда-то белой, а теперь пожелтевшей рубашке. Взгляд его был застывший, и лицо точно окаменело. Тимоха вспомнил, что точно такая же фотография висела когда-то на Доске почёта в райцентре, где Степан Игнатьевич Нипейн значился почётным комбайнёром. Специально приезжал в район фотограф и снимал на карточки всех здешних передовиков. Стёпка,



видать, в тот момент, когда его фотографировали, напустил на себя важности, хотел выглядеть серьёзным, вот и напыжился, даже волосы загладил, а то отродясь они у него непокорные были, прям как характер его — всё, бывало, норовил по-своему повернуть. Про него в деревне говорили: молока у быка выпросит. Недаром и примета такая есть: каковы у человека волосы, таков и характер. А у Стёпки волосы всегда по сторонам торчали, всё равно что солома. А тут, гляди-ка, прилизанный какой. «Смотрю я, Стёпка, травы у тебя тутросло по край плиты. Вот соберусь на днях, выкошу. Прощевай покуда. А мы, однако, с тобой одногодки», — вздохнул Тимоха, пробираясь дальше в глубь кладбища.

Он шёл потихоньку, приминая траву, а у самого из головы всё Стёпка не выходил. Вспоминал он, как когда-то ходили они рыбачить на реку, ставили верши, сторожили коней в ночном, разжигали костры в лугах, а сколько тогда побасенок нарасказывали — одна другой страшнее. А ночи тёмные, иной раз такая жуть брала. «Я в пастухи подался, а из тебя — вона, районная знаменитость получилась. Отец твой, дядька Игнат, всё гордился сыном и приговаривал: “А то ж мы, вятские, — люди хватские, у нас ничо из рук не выпадет”. А ещё дядька Игнат любил, чтоб всякую работу делали хорошо, на совесть, и ребятам наставлял. “Хорошее дело два века живёт, а плохое и свой не доживает”, — говаривал он. Бывало, как увидит какой-нибудь беспорядок, скажет: “Руки бы оторвать тому, кто это делал”. И ещё присказка была у него по этому поводу: “Сбил-сколотил — вот колесо, сел да поехал — как хорошо. Оглянулся назад — одни спицы лежат...”»

А вятских в Безлюбове и впрямь было немало, даже улица одна так называлась — Вятская. Это ещё те назвали, кто при царе сюда переселился. Вспомнил Тимоха про вятских и усмехнулся. Вот дядька Игнат всё вятскую сноровку славил. А другие про них невесть что буровили, иной раз насмехались, подшучивали да подтрунивали. Говорили про них: чудной народ. На слуху они были. Всякие байки про вятских ходили. Одна такая на разу и припомнилась Тимохе.

Вот идёт мужик по деревне. Его спрашивают:

— Ты откуда?

— Я-то? Вятской.

Несёт этот мужик поросёнка.

— На что? — спрашивают его.

Смотрят, а он водружает поросёнка на насест, седало, по-нашему. А поросёнок не хочет садиться, сползает да падает.

— Садись ли чо ли, окаянный поросёночек. Курича вон о двух ногах, а сидит, а ты и на четырёх не умеешь.

Тимоха рассмеялся: «Это чего ж удумал — поросёнка на насест сажать. Экий дурик!» Вспомнил всё это Тимоха, и словно чем-то давно забытым и родным повеяло на него, и он ощутил, как тёплая волна прошла по сердцу, точно летний ветерок по полю. Накатил, обдал чистым воздухом и помчался дальше, увлекая за собой душу — далеко-далеко, к самому тому месту, где земля с небом сходятся. Шёл Тимоха и думал о прошедших днях. И вдруг ему послышалось, что в стороне за кустами как будто ветка обломилась, хрустнула, кто-то топочет и травой шуршит. Струхнул Тимоха, не по себе ему стало. Остановился, прислушался. Снова ветка хрустнула, будто обломил кто. Много он в детстве слышал рассказней о покойниках, которые восстают из могил. Но теперь-то уж он не младенец, с годами потёрся, пообвыкся и знает, что из-за гроба нет голоса. Пошёл Тимоха на шорох и увидел двух бычков, которые бродили по кладбищу и щипали траву. «И это кто ж скотину-то сюда запустил?» — недоумевал Тимоха. Он дошёл до конца кладбища и обнаружил, что кое-где порушен заплот, местами зияют дыры. Тимоха обломил прут и выгнал скотину с погоста, а про себя подумал, что надо бы поправить ограду.

Так и стал Тимоха ходить на кладбище, как на работу. Прошло немного времени, и он освоился здесь, как на собственной усадьбе. Знал едва ли не каждую могилку. Освоение начал с самой старой части кладбища. Когда он забрёл сюда



впервые, то увидел, что памятники посунулись, поржавели, кое-где накренились, а то и упали кресты. Подчас ни крестов, ни памятников уже не было вовсе — только виднелись над землёй небольшие холмики, поросшие травой и дикими мелкими цветочками вроде сурепки и куриной слепоты. Кое-где могилы провалились, зияли ямы, засыпанные старой листвой, которая осела и накопилась здесь за много лет. От них пахло прелью, как из старого, заброшенного подполья. Где мог, Тимоха подправил надгробья, что-то подбил, подкрасил, сгрёб старую, уже сгнившую листву, скошил буйно разросшуюся траву. Бродя между могилками, он вчитывался в старые надписи, пытаясь разобрать имена и фамилии своих односельчан. Когда ему это удавалось, он старался припомнить человека, который покоился в земле у его ног, и всё, что когда-то знал о нём.

Однажды, сгребая старую листву, он обнаружил стёршуюся жестяную табличку. Тимоха попытался прочитать на ней слова. Долго крутил так и эдак, но буквы замялись, покрылись ржавчиной. Пластинка была сплошь в проплешины и заединах. Он едва сумел разобрать одно только имя: Секлетьинья. И то отделившиеся буквы приходилось угадывать. «Это ж какая такая Секлетьинья будет?» — спрашивал себя Тимоха. Он знал только одну Секлетьинью — бабушку Щекотиху. Она жила на отшибе, сама по себе, и мало явшалась с деревенскими, всё больше возилась на своём дворе, выходила лишь по воду да редко когда в магазин. Тимоха, считай, лишь один раз встретился с ней с глазу на глаз.

А было это так. В Безлюбово из города приехала экспедиция. Сказали — из области, собирают старину для музея — как жили в прежние времена. Тут, конечно, бабы собрались и стали мороковать, у кого что осталось, и подсказали приезжим сходить на край, к Щекотихе — она де старая, из зажиточной семьи, многое помнит и может рассказать, у неё наверняка что-нибудь сохранилось. Отвести их к Щекотихе вызвался Тимоха. С ним направились три девушки (а может, молодухи — кто их разберёт) из города. Пришли, как водится, вошли в ограду. Щекотиха как раз во дворе возилась. Девчонки стали объяснять ей, зачем пришли, что покупают всякие старинные вещи: самовары там, шали да юбки... Щекотиха слушала их молча. Грузная, седая, в непонятного цвета балахоне, обвязанном засаленным фартуком, со странной повязкой на голове, она только беззвучно шамкала губами, по временам обнажая дёсны и два оставшихся жёлтых зуба, похожих на клыки — она была точь в точь как баба Яга из сказки. Одна из девчат достала из сумки какие-то бумаги и стала что-то объяснять старухе. Вдруг Щекотиха встрепенулась, как будто ошетижилась, и глаза её загорелись недобрым огнём. Она сорвалась с места и бегом направилась к ограде, сплетённой из берёзовых лесин, выдернула жердь и, держа её крепко наперевес обеими руками, бросилась на гостей.

— Опять кулачить пришли! — ревела она старческим хриплым голосом. — А ну пошли отседова! Ково мне теперь бояться!

И, не охлаждая пыла, наяривала дрыном до поры, пока пришлые девчата и Тимоха вместе с ними не оказались на улице. Тимоха тогда не то чтоб испугался, а обомлел. Не ожидал он от древней старухи такой злости и прыти.

Сейчас же, держа в руках табличку, он думал про себя: «Значит, надолго засела в ней та обида и беспокоила, как заноза».

С жестянойкой Тимоха прошёлся по старым памятникам в поисках места, где могла быть прежде прикреплена эта штука. Он пытался определить место по размеру тёмного пятна, которое могло остаться на выцветшем от времени памятнике. Ему показалось, что на одной железной пирамидке он обнаружил такое пятно — как раз подходящее по размерам. И уж было решил приладить табличку, но потом его как будто что-то остановило: а вдруг здесь покоится совсем другой человек, а он всё перепутает и внесёт неразбериху. Тогда Тимоха взял жестянку и приколотил её к сосне, что росла неподалёку от немой, безымянной пирамидки.

Случай со Щекотихой невольно перевернул ход его мыслей и направил по непредвиденному руслу. Вот вспомнила тогда старуха про раскулачивание, а он,



Тимоха, за всю свою жизнь и не думал про это — когда то было! Ну, знал он, что прежде были кулаки, старики даже фамилии их называли, знал, что потом их раскулачила советская власть. Сейчас же он пытался восстановить в памяти, что когда-то слышал из рассказов односельчан. Знал он и то, что до переворота, то есть до революции, в Безлюбове жили богатеи, они держали лавки, а один... Тимоха, опершись на черенок лопаты, стал вспоминать фамилию: «Ну как же, как же... — судорожно рылся он в памяти. — Вот шевелится что-то в мозгах, а на ум не всходит... А! Подколзин. Точно, Подколзин. Он мельницу держал».

Деревня, как говорили старики, стояла большая — более трёхсот дворов. И не сказать, чтоб бедная. Жили тут и крепкие мужики, держали они по десятку, а то и поболее лошадей, да и другого скота имели порядочно. Вот тех кулачили, забирали всё добро в колхоз на общее хозяйство. А самих целыми семьями со скудным скарбом отправляли куда-то в Нарым. Но тут нахлынуло на него новое воспоминание. Тётка Мария Падчерова, помнится, говорила, что, бывало, кулачили зря. Вот, скажем, у кого сарай был набит дровами, того брали как кулака. И ещё как доказательство приводила такой пример: «Был у нас один тутोшный — ну какой он кулак, скажи: ходил в разных валенках — один белый, другой чёрный. У них в избе, считай, постели доброй не было. Кого брать-то было? А взяли». А ещё такой случай слышал он по молодости. Будто жила в Безлюбове семья, держали шесть лошадок да триста ульев. Было у них трое детей, а один сын больной. Как пошли кулачить, хозяин сбежал куда-то в Кузбасс. Жена осталась. У неё всё поотбирали, оставили только детей. Мужик вернулся через какое-то время, а она уж померла. «Наверное, тоже где-то здесь лежит», — подумалось Тимохе.

Больше ничего про те давние времена из жизни Безлюбова, как ни силился, он припомнить не мог. «Да, — вздохнул Тимоха, — чего только не было на веку. А то ещё ходили истории про Колчака». И снова он напряг память.

Гражданская война не оставила Безлюбово в стороне. Видали здесь и колчаковские отряды, и белочехов. Многие мужики уходили к партизанам, и даже как будто был здесь поблизости сильный бой. Видно, знатно били они колчаковцев и немало им нанесли вреда, если, как говорили, в тот военный год прислали сюда отряд карателей. Согнали мужчин со всей деревни и каждого десятого — в распыл. А ещё рассказывали, будто стреляли в затылок разрывными пулями — так, что у мёртвых и лица-то не оставалось. Опознавали своих по одежде и уж тогда хоронили. А после расстрела один из здешних мужиков, из офицеров даже (Тимоха знал от стариков, что в германскую войну особенно отличившимся в боях солдатам присваивали офицерское звание), бросил бомбу в корабль карателей, но промакнулся — отбил только угол у мельницы. Его тоже расстреляли. А уж как отплыли каратели, узнали жители, кто того метальщика выдал, и убили. Фамилия ему была Конакотин. Но как убили! Поставили к столбу, привязали, и так он всю зиму простоял, только по весне похоронили. И мельника сурово наказали, что он сигналы карателям подавал: порешили, закопали в навоз, там он всю зиму пролежал, а по весне похоронили. Сказывали, жена приходила просить дать ей разрешение похоронить мельника, но народ не позволил.

Ещё один случай припомнился Тимохе — про Петра Желонкина, как он отца под смерть подвёл. Было это тоже при колчаковцах. Пётр тогда пацанёнком был — лет пяти, а может, и того не было. Сказывали, отец его был коммунистом, а когда в селе расположились белые, семья прятала его в подполье. Раз приходит к ним в дом колчаковцы и спрашивают: «Где хозяин? Отец где?» Жена отвечает, что не ведает — дескать, пропал где-то. А тут выпрыгнул Петруха. Услышал про отца, подбежал к матери, дёргает её за подол и громко так говорит: «Мамка, а тятка-то исть хочет!» Отца, конечно, тут же взяли и, не раздумывая, прямо на улице, на глазах у семьи снесли саблей голову. Всю жизнь Петька носил в себе эту вину, маялся — как батьку под смерть подвёл. Тимоха помнит Петра Желонкина, он потом счетоводом в колхозе был, да уж тоже помер. А ещё пришли на ум Тимохе слова его родной



бабки Василисы. Она говорила: «Зорили все — и Колчак, и наши. Придут в избу, покажут нагайку — и корми их».

Тимоха обвёл глазами кладбище, и подумалось ему: «А ведь все они где-то здесь схоронены, где ж им ещё-то быть». Могилку Желонкина он уже видел здесь — вон там, за берёзами, наискосок. А где же все прочие — те, о которых вспоминали старики? И как теперь их разыскать? Безымянных могил было достаточно, но как определить, доискаться? «Ох, горе — жить на косогоре», — выдохнул из себя Тимоха и вновь принялся за работу.

Тимоха начал свой труд по благоустройству кладбища с мест давних захоронений и постепенно двигался, как он говорил про себя, к современности. Вот и в этот день копался он до обеда, а потом присел передохнуть. Лопату и ящик с инструментами он оставил в стороне, а сам присел под берёзой на взгорюшке. Трава была мягкой — не сухостойной, сидеть было уютно и вольготно. Рядом по травинкам ползали и прыгали насекомые, занятые своими важными делами. Тут он почувствовал: как будто кто-то щекочет его запястье. Отодвинул рукав и увидел какого-то красного жука в крапинку. «Что ты за тварь такая? — вслух промолвил Тимоха. — Ну-ка, покажись как следует! Вроде, не божья коровка, хотя спервоначалу поглядеть — навроде, похоже, а всё же не она. Ты насекомая вредная или какая? Хотя... Это раньше различали: которая вредная, а которая на пользу. Ноне, говорят, многие стали редкими, исчезающими. Что? Мор на вас напал? Чего молчишь-то, пигалица? Да нешто ты ответишь. Вот и говори с тобой. Чего вымираешь — сама не знаш, да и я, сказать по правде, не больно понимаю. Щас вот комара прибить — вперёд подумаешь: а вдруг он редкий да исчезающий. Ну, ладно, иди гуляй — выпускаю тебя на волю». С этими словами он стряхнул букашку, вытянул свободнее ноги и, опершись сзади ладонями о землю, стал смотреть в небо, по которому похожие на белых кудрявых овечек стадом плыли облака. Тимоха некоторое время следил за их неспешным пробегом по голубому полю, но потом взгляд его опустился ниже, и он увидел реку. По ней неслышно ползла гружёная не то песком, не то щебёнкой баржа. Высокая гряда пирамидкой возвышалась над ней. Тимоха подумал, что редко когда увидишь теперь на реке плывущий корабль, а были времена, когда эти баржи то и дело сновали по реке, а уж теплоходы, метеоры да ракеты ходили туда-сюда в обе стороны часто и по расписанию. Потом Тимоха разглядел вдалеке темнеющую полосу леса. «Где-то там мой родник. И как он живёт без меня... без нас?» — горькая обида вновь шевельнулась в его душе. Перед лесом простиралась равнина, поросшая бурьяном и мелким березняком. Он всё опускал глаза ниже и ниже, и наконец его взгляд упёрся в старый памятник — заветрившуюся пирамидку со звездой.

Некогда красная, сейчас звезда была бурой от ржавчины. Лучи у неё загнулись, посунулись, штырёк, на котором она держалась, накренился на бок, и сама звезда смотрелась, как поникший цветок, засохший, оставшийся от прошлого года. «Это кто ж у меня такой?» — заинтересовался Тимоха, поднялся с земли и стал вчитываться. Он обтёр надпись и не без усилий прочитал: «Евсей И...ч...лу...ов». Фамилия плохо читалась, и было не понять, на какие буквы заканчивалась: то ли на «-нов», то ли на «-ков». Тимоха в задумчивости поскрёб подбородок. «Этот Евсей из каких же будет?» — озадачился он. Ему пришли на память три Евсея. Евсей Макарыч, школьный учитель. Но тот под старость лет уехал жить к дочери в город. Был ещё Евсей Тягнибеда с Полтавской улицы, но тут фамилия с оставшимися буквами не сходилась. Стало быть, не он. Знал Тимоха и другого Евсея — Падчерова. Но и тут буквы были не те. «Постой, что за Евсей? Что-то не упомянутого», — и он стал напрягать память, перебирая всех пришедших ему на ум односельчан. Тимоха довольно долго стоял в задумчивости и вдруг неожиданно громко выпалил: «Тюремщик! Вот он кто. Экий я балда стоеросовый! Всё правильно, Евсеем его звали. Ребятишки, бывало, его всё: дядька Евсей да дядька Евсей... Но то дети. А меж собой его просто Тюремщиком звали». Тимохе припомнилась согбенная фигура в серой фуфайке, из которой местами торчала вата. С людьми он почти не



знался. Сидел где-то в тюрьме до-олго, а потом вернулся к своим. Говорил мало, редко с кем словом перекинется, а то всё молчит. Жена, бывало, отмахнётся от людей: «Да не лезьте вы к нему, бука он, немтырь — слова не вытянешь». Тимоха увидел его как сейчас: вот бредёт он по деревне: руки всегда за спиной, сутулый, и взглядом всё в землю упирается, как будто потерял что и ищет. «Да как его в тюрьму-то угораздило?» — спрашивал себя Тимоха и вновь начинал рыться в воспоминаниях, как в старом сундуке, перебирая всё, приходящее на ум, и отбрасывая то, что в эту минуту не годилось. И вот, наконец, достал он со дна своей памяти давнишний разговор.

Однажды, поди-ка в конце пятидесятых — мальчонкой тогда он ещё был, но колхозу уже помогал, — вёз он на телеге трёх женщин из Коверзино, где в те годы находилась МТС — машинно-тракторная станция. Зачем-то посылали его туда (сейчас и не припомнить), и вот эти бабы привязались к нему: «Подвези да подвези». Накинулись, гогочут, как гусыни, — разве устоишь? Ну и взял. Тут-то он и услышал разговор про этого Евсея. Тот на ту пору как раз из тюрьмы вернулся. Одна женщина из трёх, как выяснилось из разговора, трактористка, и рассказала, как этот самый Евсей попал в тюрьму. А случилось это, поди-ка, как раз году в тридцать седьмом. Тогда этот Евсей был первым директором МТС. А МТС организовали в аккурат в начале тридцатых. Там были трактора — «Фордзоны» и ХТЗ, трактористов учили механизаторы — это уже Тимоха знал от других. И вот этот директор МТС, Евсей-то самый, занимался строительством и построил склад для запчастей. А лето того года выдалось страсть какое дождливое, и нужно было где-то хранить зерно, а зернохранилищ не хватало. И тогда начальство приказало Евсею отдать склад под зерно. Ну, а он ни в какую: я де построил, столько сил положил, у меня своя забота и своя нужда — и никак не соглашается отдать. Заявил им прямо, как отрубил: стройте сами и думайте о себе сами. За то и взяли. «Так сколько он отмантулил в тех лагерях?» — прикинул Тимоха. И что-то многовато у него получилось. Тимоха снял с головы кепчонку, поскрёб затылок и промолвил: «Ого-го!» А та баба, трактористка-то, заключила свою речь так: «Вот которые мужики ни лучше, тех и берут!»

— Горькая выпала тебе судьба, Евсей, — разговаривал с могилкой Тимоха. — И у нас об эту пору было несладко, а всё ж тебе и того хужей... — Тимоха в пояс поклонился могилке. — Ну что ж, царствие тебе небесное, как говорится. Глядишь, там тебе и получше.

День шёл за днём, и постепенно судьбы похороненных на кладбище односельчан в голове у Тимохи начали складываться в более-менее цельную картину. Всё, что выпало на долю деревни Безлюбова, представлялось Тимохе длинной, убегаящей из одного конца горизонта в другой, дорогой, а вешками на ней были события, которые сказались на земном пути каждого из его земляков. Нельзя сказать, чтобы Тимоха прежде не вспоминал о прошлом, но как-то глубоко не задумывался о нём. А вот теперь отрывочные эпизоды выстроились в цепь, в систему, подобно тому, как из единичных цветных кусочков мозаики вдруг возникает целостная картина. Однако, выстраивая события одно за другим, он, как ни силился, всё же не мог понять какого-то высшего смысла всех пережитых людьми страданий. «Вот и зачем всё это было, — размышлял он сам с собой, обихаживая очередную могилку, — дрались друг с дружкой на смерть, воевали, убивали, не щадя малых детей. Грабили, воровали...» Тут вспомнился ему ещё один рассказ о прошлых днях. Давно то было, когда ещё жили единолично. Один зажиточный мужик по фамилии Криволапов повадился на полях сельчан снопы воровать: придет ночью на чужое поле, наберёт снопов и поставит уже на поле своё. Во как! Тимоха не знал, как разоблачили того вора и какое понёс он наказание, а только помнили этот случай в Безлюбове долго, и даже фамилию не забывали и в рассказах детям и внукам передавали. Вот и Тимоха те рассказы по сей день помнит. Говорили, раскулачили потом тех Криволаповых. Если раньше Тимоха без колебаний бы сказал: так ему и надо, то теперь — поостерёгся бы. «Проучить вора, конечно, следовало, но не снимать же шкуру со всей семьи», — заключил он про себя.



А потом жизнь справедливую наладилась строить, чтоб, значит, каждый по своим способностям работал и по труду получал. И чтоб трудящийся человек был самым почётным и главным среди всех. Чтоб все люди работали на благо всех и общими трудами выстроили бы новую хорошую жизнь. И вот строили, строили как бы всё по правде, а к чему пришли? К тому же самому, а может быть, и хуже. Семьдесят лет строили, и это всё на Тимохиных глазах было, а всё ж не вышло ничего. Казалось бы, всё правильно — как же можно иначе? Ну ведь так и нужно, чтоб каждый человек другому был и друг, и товарищ, и брат. Тимоха всё это одобрял и сам всегда людей именно так воспринимал и поступал с ними соответственно. В последнее время такие мысли не давали ему покоя. «Но ведь не получилось же! — Тимоха в сердцах бросил ком земли и отёр ладонью взопревший лоб. — Ведь так хорошо всё было задумано, справедливо — знай только следуй этому правилу. Ан нет, неймётся людям — всё-то по старой колее прут: и снова грабят, и убивают, и обкузьмить да объегорить друг друга норовят». Тимоха постоял немного молча, но думы не оставляли его. «Вот что есть тогда человек? — продолжал размышлять он. — Скотина — не скотина? Та друг дружку поедом не ест, да и разума у неё нет всякие козни придумывать. А человеку разум на что дан? А сердце, а душа — она ведь не придумана, она ведь всё чувствует, всё воспринимает и болит, заедает, ежели что: не по правде живёшь, поперёк совести идёшь...» И не находил причины, и не доискивался ответа. Не давал покоя ему вопрос: откуда приходит в мир зло — в человеке ли сидит или, напротив, накатывает извне? Может, какой чёрт засел в человеке и понуждает его? Всё чаще посещали его такие мысли, и он пытался доискаться ответа.

Настало время, когда он с тёмной половины кладбища перебрался на светлую. Но света в душе ему это не прибавило, а прибавило новых дум. Здесь, на солнечной поляне, уже не попадались высокие кресты с «домиком» на верхушке, не было чугунных пирамидок со ступеньками, всё реже встречались советские звёзды, а больше попадались гранитные надгробья, стандартные металлические памятники да низкорослые кресты. Возле некоторых из них ещё со дня поминовения — от самой Радоницы — стояли блюда с приношениями в виде печенья и конфет в выцветших обёртках, иногда — стаканы, наполовину заполненные прозрачной жидкостью, на поверхности которой плавал мусор — засохшие листочки и травинки, занесённые сюда ветром. А рядом — кусок засохшего хлеба. На одной из могил лежала раскисшая пачка сигарет «Прима». Возле иных были выцветшие искусственные венки, прислонённые к памятнику или оградке.

Тимоха заметил эти перемены, как обнаружил и то, что изменились как-то качественно и покойники, вернее, имена усопших и продолжительность их жизни. Если на тёмной части кладбища часто встречались такие имена, как Домна Мефодьевна, Анисья Тихоновна, Марфа Поликарповна, то теперь женские имена пошли иные: Елена, Тамара, Ольга, Марина, Татьяна, Галина... Тимоха прикинул на слух эту перемену, и неожиданное открытие осенило его. «Какие прежде имена-то были основательные, какие-то надёжные, крепкие, прочные. Вот, скажем, взять Домну — сразу представляешь себе сообразно женщину... Она как печка — устойчивая, точно влитая, тёплая и уютная. Пышет жаром и пахнет хлебной коркой. Такая баба согреет и в нужду вытянет, и спуску не даст. А взять Авдотью — эта хлопотунья, она и в поле, и в огороде, и прядёт, и ткёт, и наверняка певунья. Или вот взять, к примеру, Марфу. Эта — рассудительная, всё-то она знает: что, как и когда надо делать. Наверняка и врачевать умеет, знает всякие травы — какую от какой хвори применять. А ныне что за имена? Вот хоть соседскую Анжелку взять. Или там Алина — прям как бабочки там или стрекозы — только в воздухе вихряются, а подул ветер — и сдуло. Берут же откуда-то эти имена. Из телевизора, конечно. Всё теперь ненашенское, привозное, как чипсы или жестяная банка из-под пива», — заключил про себя Тимоха.

А мужские имена. Сила Артамонович (вон с того края покоится, как сосну обойдёшь). Как вам: Дормидонт Митрофанович? Или: Фрол Ипатьевич? Сразу чувствуется, что эти мужики на своих ногах на земле стоят, и не сваляешь их даже



артельно. Сказано: Сила! А на новых памятниках значились уже имена другого свойства. «Да, — подумалось Тимохе, — тут новая волна пошла». А фамилии всё те же. И ещё заметил Тимоха: если на старой части кладбища увидишь могилу Силы Дормидонтыча Желонкина, то, пройдя какое-то количество метров, найдёшь место упокоения Желонкина Дормидонта Силыча — это уже сына, значит. А там и Никифора, и Саввы Дормидонтовичей, а неподалёку попадутся и Агафья, и Мария, и Настасья Дормидонтовны. Так родами и оседали на земле, а потом уж и в ней, матушке. А тут всё стало как-то помельче и пожиже. И возраст у усопших был поменьше. На старом погосте нередко хоронили покойников и в восемьдесят, а то и в девяносто лет. Тимохе попался один односельчанин, умерший в возрасте ста двух лет. А здесь, на солнечной стороне, похороненные редко когда достигали до восьмидесяти, было много молодых. Их-то Тимоха помнил и знал, до чего умерли. Главным делом — по пьянке. Вот взять Витьку Красёху: рухнул с моста на трак-торе в двадцать девять лет. Юрку Нипеина пырнули ножом на свадьбе в Ступице. А было ему едва за тридцать. Серёжка Прилуков ехал домой из города на мотоцикле в подпитии и врезался в фуру. Петька Дерюга выпил какую-то гадость и отравился насмерть. А ему как раз стукнуло сорок.

А вот ещё могила, считай, свежая. Сашка Путинцев. В городе жил. Без пяти минут доктор наук. На сороковом году задумал жениться, а то всё холостым был. Присмотрел себе невесту, наметили свадьбу. И вот решил он мальчишник устроить — проститься с холостой жизнью, собрал друзей. Ну и, видать, на радостях перебрали. Гуляли-то в Чике. На ночь глядя пошёл он на электричку, как будто уж не мог на месте и заночевать — видать, торопился к зазнобе. Туда-сюда, никто ничего не видал, а только попал он под электричку. Вот Матвеевна, мамаша-то его, голосила. Что уж от него осталось — того никому не показали и смотреть не велели и даже за то подписку взяли. Мать мешок с останками в гроб положила да домой в деревню привезла хоронить, чтоб сынок рядом был. Вот такие дела, как сажа бела. И профессором не стал, и не женился, и детей не народил. Но могилка убогая, Матвеевна часто сюда наведывается.

Тимоха мог бы и дальше припоминать случаи нелепой смерти своих земляков, но тут на глаза попался портрет совсем маленькой девочки. «А вот и Наталка», — вздрогнул Тимоха. С портрета смотрело юное лицо, обрамлённое пышными белыми бантами. Сфотографирована она была в школьном платье с белым передником и кружевным воротничком. А было ей одиннадцать лет. Эту трагедию помнят в Безлюбове и посейчас. Какой-то пришлый, заезжий мужик, дальнбойщик он был или кто, хотел снасильничать и погнался за Наташкой, а она — от него. Вокруг никого не было — девочка на дороге продавала собранные ягоды, — она выбежала на мост и со страху прыгнула в воду. Тимоха поправил ленту на венке у могилы — веночек был довольно свежий, видно, родители обновили могилку — на ней росли цветы ноготки, подножие было убрано еловыми лапами, с краю рос молодой рябиновый куст. «Эх, Натаха, Натаха, дитё ты малое, а тебя уже прибрали», — сокрушался сердцем Тимоха. И снова думы одолели его. Ну отчего мужик в последнее время так запился? Пили, конечно, и прежде, но не так, не до смерти... Ну, бывали когда гулянки, свадьбы, да и просто иной раз выпивали. Бывало, спросишь их: «Какой такой у вас нынче праздник?» А они тебе: «Иван Проказник!» Случалось, и дрались когда, но так не мёрли. С войны мужиков вернулось немного — считай, пятеро. А ушло — ого-го! Те хоть и раненые были, а протянули достаточно. Ну, а кто умер — так от военных ран, а не от водки. Водка — что? Пришли, выпили за победу и за встречу, потом похмелились — и за дела. А нынче что такое? Может, от победы радость и гордость была: мол, одолели, невзгоды пережили, перемоглись... А тут как грянуло всё это новое — и не знаешь, как и чем жить. Ни работы тебе, ни денег, а главное — нет смысла. Раньше лозунг был: «Слава человеку труда!» А сейчас: «Бери от жизни всё!» Это значит — съешь завтрак больше, чем сегодня. А ведь правдиво сказано: не хлебом единым жив человек. А вот этого самого смысла-то и нету. Крестьянствует тут один-единственный фермер, да трое безлюбовских



у него в работников. Хозяйство не сказать, чтоб велико: земля — сеет хлебушко и рапс, ещё ферму построил — тоже бьется на своей пахоте, как в драке, и жалуется: а не бросить ли всё к лешему. А боле желающих нет. Как закрутилась эта канитель, все поразъехались. На стороне кто к чему пристал. Дома пораспродали. А больше так побросали — и подались счастливой доли искать. Те немногие, кто остался, а это всё больше старики, живут своим приусадебным хозяйством. Городские оставленные дома покупали, но это в основном пенсионеры, живут главным делом летом, в огородах копаются да отдыхают. По осени приезжают машины, забирают стариков и урожай. Бывает, и Новый год сюда навевываются праздновать — тогда и салюты над Безлюбовым случаются. «От безнадеги пьют, — решил про себя Тимоха, — а вот чтоб самим добиться земли — ведь наша она — и хозяйничать на ней — того нет. А то бы взялись артельно? Коли одному не всякому под силу этот хомут тащить, так сколотились бы в какой-никакой кооператив, порешили бы, кто за что отвечает, и хозяйничали бы сообща. Гуртом ведь и батьку бить легче... Беда прямо, хоть самому впрягайся... Обидно, тяму всего и осталось — шиш да маленько, а то бы... И почему мы на богатой земле так плохо живём, и порядка ни в чём нет? А, может, и власть того не хочет? — пришла на ум Тимохе крамольная мысль. — Иначе разве позволили бы, чтобы земля так одичала, вот и выпашь уже по самые избы подступает, а крестьянин бежал с родной земли, закрыв на всё глаза, как очумелый, будто его карбофосом потравили, точно тлю какую-то. Не по-хозяйски это... И чем думают?». Далее он рассуждал так: вот бились-колотились, ломили отцы и деды на эту землю, из пустоши её подняли. Дрались за неё и с врагом, и друг с дружкой — и как не было ничего... Всё сызнава бурьяном да березняком зарастает... Дичаем помаленьку, вот и дикое поле, точно враг, со всех сторон окружает. «Что-то ума нам не хватает какого-то, кумекалки. Эх, жись, за верёвочку держись...» — в который раз вздохнул он.

И застряла в душе у Тимохи заноза. Не мог он никак взять в толк, как люди не могут понять простых вещей и друг друга, договориться, ведь все из костей и мяса сделаны, у всех в жилах кровь течёт красная — и никакая другая. И колола эта заноза, свербила и не давала житья. «Видно, какой-то изъян есть в человеке, — заключил он про себя. — Система явно несовершенная. Бог, когда лепил человека, чего-то недокумекал. А может, это обезьяна ещё недоразвилась, недоразвита? Где те красивые люди, что обещало нам взрастить новое общество? А ещё внушали: «Человек — это звучит гордо!» Пустое, гордыня это, одно только самолюбие, спесь, гонор да зазнайство. Человек — должно звучать достойно.

Всё перепуталось в голове у Тимохи, и как-то муторно было на сердце у него в эти дни, захотелось поговорить обо всём с кем-то близким, родным, понимающим, кто бы ответил на его вопросы и разрешил сомнения. Но вокруг были только покойники. Может, они что и знали, может, им открылось что-то в другой, загробной жизни, но они молчали и ничем не могли его утешить. В тоске поплёлся он к самому родному на земле человеку — к матери. Не то чтобы он ждал от неё ответа. Но так хотелось кому-то открыть своё сердце, почувствовать или хотя бы представить себе присутствие близкого человека и отмякнуть душой. Меж захоронений стал он пробираться к родной могиле. Было тихо, только под ногами шуршала трава да стрекотал в стороне кузнечик. Он шёл, а в голове его сами собой возникали слова, которые во время похорон выводили деревенские бабы, когда выли по покойнице:

Ведь родимых-то матушек не поля понасеяны,
Не дубравы-леса стоят,
Одна-разъединая родимая матушка —
Думушка крепкая, словечушко тайное...

Тимоха открыл дверцу металлической оградки, выкрашенной в серебристый цвет, и вошёл внутрь, где над землёй пирамидкой возвышался холмик, поросший травой. Его венчал внушительных размеров деревянный крест. На нём не было фотографии — мать не любила этого нового обычая лепить карточки на памятниках



и ещё при жизни просила: «Как помру — чтоб никаких портретов. Кому надо — и так помнить будет, а прежде такого не было». Поэтому на кресте виднелась только латунная табличка, на которой значилось: «Кукушкина Агрофена Поликарповна», а внизу были прописаны даты жизни. Тимоха сел у оградки и обхватил колени руками. Взгляд его скользнул по могильному холмику. Сквозь зелёную поросль местами пробивались полевые цветы — ромашки, сурепка. С правого края редкими розовыми мазками проглядывали лепестки дикой гвоздики. Было время, Тимоха хотел украсить материнскую могилку лесными цветами и засадил её незабудками. Но те почему-то не прижились, и теперь только одинокий кустик робко высывался из травы и тарачил голубые глаза на божий свет. Кое-где виднелись узорные листья земляники. Земляника уже отцветала, и можно было обнаружить среди зелени спеющие, но ещё зелёноватые и упругие ягоды. Тимоха заметил у противоположной стороны оградки, в самом низу, свесившуюся за перегородку красную капельку уже созревшей ягоды. Спелая, алая, как кровь, она налилась соком, повисла каплей, и, казалось, вот-вот сорвётся, канет в землю. Лёгкий ветерок прошёлся по траве, склонил белые головки ромашек и пушистые метёлки ковыля. Дуновенье тёплого летнего ветра коснулось лица Тимохи, приласкало, точно родной рукой. Вдруг каким-то давно забытым чутьём он вспомнил тепло материнской груди, когда он, будучи совсем малым ребёнком, прибежал к матери на свиноферму, где та работала, и она, спрятавшись вместе с ним за печкой, кормила его грудью. Тимоха как будто вновь ощутил этот родной, чуть сладковатый запах материнского тела, когда он, приникнув к соску, упирался ручонкой в её упругую титьку. Как надёжны тогда были её руки и крепки колени, на которых она его держала! Вот и всё в ту пору ему казалось крепким и надёжным. Давнее воспоминание принесло ощущение покоя. Мать кормила его грудью до пяти лет. Это были как раз военные годы, когда всё село голодало. Карточек у них не знали, а с подворья всё уходило на налоги. Тимоха уже и сам помнил это время, но многое знал и со слов старших. В самом деле, чем в ту пору жил колхозник? Тимохе-то ничего — он мамкину титьку сосал, а вот братьям и сёстрам приходилось тяжелее. Тимоха перебирал в памяти события и разговаривал сам с собой. «А что, — размышлял он, — корову держишь — молока триста пятнадцать литров сдай. Вот говорят: есть коровка — и есть на столе, нет коровы — и есть нечего. А тут и корова — и ничего... Потом мяса ещё сорок кгэ, шкуру свиную — и ту забирала. Кур держишь-не держишь, а будь добр сотню яиц выложить. Картошки — и той не видали. Летом бабка траву квасила, чтоб зимой прокормиться». Тимоха помнил, как собирали налоги в деревне. Вот так же и к матери приходили. Один раз нагрянули и требуют с неё недоимку, тюрьмой грозят. А она им: «Ничего, кроме детей, у меня нету!» Но и они не отступают, чуть не за грудки трясут. Тогда мать полезла в погреб и вынесла им две свёклы. Вот так, держа за хвостики, и отдала. Это Тимоха как сейчас помнит. «Ничо, взяли», — вздохнул он. В эту пору матери дома он почти не видел. Всем заправляла бабка. И ещё был живым дед, он-то и обучил Тимоху всякому ремеслу. Иногда Тимоха просыпался среди темноты от того, что стукнула дверь — это возвращалась с работы мать. И тогда же, бывало, зашевелится на печи чуткая бабка и встретит мать словами: «Одна заря выгонят, другая загонят. Работаешь с тёмного до тёмного». Два, а то и три раза в день бегал Тимоха к матери на свиноферму покормиться. Свиноферма же помогала их семье продержаться в самое голодное время, особенно зимой. На ночь свиньям заваривали овёс в котлах, и он парился на плите. И хотя это было строго-настрого запрещено, мать иной раз брала бидон, наливала в него овсяную жижу и прятала где-нибудь в снегу в потайном месте, а летом — в бурьяне. Ребятишки поутру прибегали и забирала. Овсяный кисель, остывая, превращался в студень, и его можно было резать ножом.

Сестре Зинаиде в ту пору уже исполнилось десять лет, и она тоже работала в колхозе. Бывало, с риги зерна умыкнёт — тайком насыплет в варежку или сапог, так под страхом тюрьмы и несёт домой. Потом зерно тишком в подполье (подальше от людских глаз) мололи и пекли хоть какую-то лепёшку. Весной, как снег сойдёт, ходили в поля собирать оставшуюся с прошлого года картошку. Но этого не дозволялось,



по полям ездил на лошади сторож и, если замечал нарушителя, стрелял из ружья солью. Но голод был сильнее страха, и люди выходили в поля и крадучись, нередко ползком, искали эту мёрзлую картошку. И Тимоха ходил. А вот Петра, одного из старших братьев Тимохи, прибрало в войну с голодухи. Наелся он колосков, что под снегом оставались. Говорили, что они ядовитые. Тимоха помнит, как мучился Петруха, как сводили его тело судороги, а потом горлом пошла кровь. Так и потеряли Петра. Мать тогда строго-настрога запретила подбирать те колоски и добавила в сердцах: «Увижу — сама убью!»

Весной было легче. Из земли поднимались съедобные травы: кислица, щавель, лебеда, крапива, заячья капуста, лук-слезун... Но самыми вкусными казались пучки. Их молодые стебли были сочные, мясистые, на вкус приятные. Какими сладкими они тогда казались! Потом наступала пора ягод и грибов, и вместе с ней приходила радость. Вот тогда всей оравой дети уходили в лес на заготовки, не уступали им и старики. Кроме ягод и грибов собирали травы, съедобные заквашивали, как квасят капусту, лекарственные сушили. Тем и пробавлялись. А и после войны было несладко. Тогда в верхах решили, что больно велико крестьянское подворье, забирает силы людей и отрывает их от работы на колхозных полях. Издали указ отрезать огороды, отобрать «лишнюю» землю. Крестьянский стол так и остался скудным. Отобрать-то отобрали, да вот обрабатывать те земли у хозяйств уже тям не было. Так и стояли они, заброшенные, без дела. В деревнях про них говорили: «гуляют» наши земли. И ни хозяину, ни колхознику не было от того прибытку.

Эти воспоминания пронеслись в голове у Тимохи, и он вслух промолвил: «Вот, matka, было тяжело, а теперь и того хуже. Ноне и вода не наша, и родник теперь — частная собственность. Того и гляди, воздух налогом обложат: будем платить за то, что дышим. И ведь базу подведут: надо, мол, очищать окружающую среду, а на то деньги треба». Тимоха жаловался матери на то, как зарастают березняком и осинником поля, на которых прежде колосились рожь и пшеница, как неужённая буйная поросль нагло вытесняет пашню. Это Тимоха воспринимал как личную беду. Помнил он рассказы деда о том, как приехала их семья из России, из Тамбовской губернии, как бились за эту землю. «Там у нас, в России, — говаривал дед, — землю лаптем мерили: сто лаптей так и двести повдоль». А тут земли было вдоволь. На каждую мужскую душу положено было по десять десятин. У деда было шестеро сыновей, вот и получился их клин из семидесяти десятин. Радоваться бы надо. Да как их обработаешь, коли нечем — нет ни плуга, ни бороны. И тогда дед под орудия труда стал сдавать землю зажиточному крестьянину-чалдону. Так и жили поначалу. Постепенно обзавелись своим инвентарём. Земля родила неплохо, зерна хватало, и его возили продавать куда-то по реке, говорили, как будто в Славгород. Избу поставили, а до того жили в землянке, завели лошадей и скот. К тому времени как случилась революция, у них было довольно крепкое хозяйство. Но бабка так и не смогла привыкнуть к жизни в Сибири. Всё ей было тут поперёк сердца: и солнце-то тут не так всходит и не так садится, и цветы цветут не те, а коли те, то не того цвету, и птицы поют по-другому. Вот и не отступала она от деда, всё назад просилась. «Отвези меня назад в Расею — у меня там пуп закопанный остался», — говорила она. Однажды бабка залезла в ящик, в котором хранили зерно, и заявила: «Не вылезу, пока в Расею не отвезёшь отсель». Не просто, выходит, приживались на новом месте. Однако Тимоха считал себя уже коренным сибиряком, и его пупок был закопан здесь, в Безлюбове.

Из прошлого он вновь вернулся в сегодняшний день и опять стал докладывать матери о нынешнем житье-бытье. «Вот, мать, вроде на своей земле живём, а вокруг всё чужое. Картошку — и ту из Голландии возим. Посчитай, какова цена той картошке. Говорят же: за морем телушка — полушка, да рубль перевоз. И выходит, что она вроде как золотая. И всякий овощ огородный нам нынче китайцы поставляют. На чём уж они его растут, но только знают все, и даже по радио говорят, что ихний огурец не только что не полезный, а прямо ядовит, вот люди едят и болезни себе наживают. Когда ж такое было? Да нешто мы безрукие и сами бы той же картошки



или огурцов не наростили? Вот, мать, хоть бы тебя взять: у тебя же всё из земли пёрло, и огурцы те самые у первой во всём Безлюбове созревали, и за помидорами на семена к тебе всякий год бегали... Вот в толк не могу взять. Как такое может быть? Как оно так получилось? Как будто из ума выбились... Так-то, мамушка. Вот и кажется мне сейчас, что наши безлюбовские крапива да лебеда нынче полезнее будут ихних распрекрасных помидоров. Ты не поверишь: земли вокруг — завались, а рук нет — все разбрелись кто куда, поди догони ветер. А носим что? Опять же, с головы до ног — одежда вся китайская. Которые богатые — те Италию покупают. А своей — общешься, будто совсем и прясть, и ткать разучились. Фабрики стоят. Настасья кинулась ситцу купить — обыскалась, в городе где-то наткнулась, да и тот казахский оказался. Так и живём. А помнишь, мать, ты рассказывала, как белили холсты на луговине у реки? Намочат в воде, расстелют на траве, а солнышко холстину выбеливает». И припомнилась ему тут одна загадочная история, случившаяся в их деревне ещё при царе, но о которой наверняка и сегодня помнят последние оставшиеся насельники вымирающего Безлюбова. Вот так же пришли однажды бабы на реку, расстелили холсты. И малый ребёнок был при них. Вдруг откуда ни возьмись налетел вихрь, разметал холсты, а в один замотал малое дитя, поднял в воздух и унёс незнамо куда. Долго искали, но ни холстины, ни дитя не нашли. Так и пропал ребёнок, растворился где-то в небесах. Бабы видели в этом какой-то знак. Все судили по-разному. Но больше сходились во мнении, что это Господь забрал невинное дитя к себе на небеса. Тимохе вдруг подумалось: а может, и впрямь на небесах есть заступник за их Безлюбово? Значит, есть и надежда, а без надежды — хоть пропади.

«Вот, мамушка, — продолжал Тимоха докладывать матери, — а хуже всего теперь оттого, что ненужные мы стали на этой земле, бесполезные. И все чужие лезут без удержу, напирают, как бурьян на пашню. Слышал я, говорили, будто Кубань всё кругом зерном завалила, и даже не знают, куда его девать. Стало быть, хлеба вдоволь, и земли наши теперь ненужные — хоть пропади, и зерно наше ни к чему. Да вот отчего раньше-то знали, куда его девать? Не пойму что-то. Или вот качаем нефть за границу, а что везём назад? Ядовитую жратву да цацки. Потом в этих цацках девок голышом по ящику показывают. Лишние мы здесь, и властям с нами одна морока, и местам нашим ума не дадут. Всё тут было наше, а теперь — или чужое, или ничьё. Чуешь нутром, что ты лишний, и оттого не знаешь, куда себя девать. Вот и людей безлюбовских разметало — на все четыре стороны. Кто где пристал? Всех разбросало, как дикое семя с лугов — где сумели, там и закрепились. С какого края, у какой обочины пустили корни? Да кого там, — Тимоха махнул рукой, — все мы теперь, как в поле обсевки».

Он оглянул округу, прислушался — всё хотел услышать хоть какой-нибудь звук, свидетельствующий о том, что здесь живут люди, — тарахтенье ли трактора, шум ли мотора грузовика, звяканье вёдер у колонки, голоса людей, мычание коров или конское ржанье. Но со стороны деревни не доносилось ни единого звука.

— Ну хоть бы бабы поругались, что ли! — стукнул он в сердцах ладонью по колену.

Вокруг стояла тягучая тишина, временами нарушаемая шелестом травы и листьев. Тимоха знал, что эта немота не оттого, что он на кладбище — на деревне царит та же тишь.

— Что, Безлюбово, не играешь, не топотишь? — с горечью произнёс он.

Тимоха вспомнил, что на днях ему приснился сон: будто всем селом, всем миром идут они по дороге, по обеим сторонам колосится пшеница, день ясный, играет лучами солнышко, в небе трезвонит жаворонок, а они шагают себе, все празднично одетые, с ними дети — те, которые помладше, — на телегах. Лошади везут домашний скarb, а дуги на них расписные — это Тимоха хорошо запомнил. Женщины весёлые, идут шибко и с песнями. Тут вдруг дорога обрывается, и перед ними возникает крутой обрыв. Все толпятся у его кромки и с опаской глядят вниз: обрыв глубокий и до другого края далеко, а внизу поток несётся — буйный, грязный, вода крутит в водовороте какой-то мусор, обломанные ветки, как после



большой грозы. И нет пути, чтоб преодолеть овраг. Толпа в ужасе отпрянула назад. В ужасе Тимоха и проснулся. Теперь он, прижавшись спиной к железу оградки, сидел и обдумывал этот сон. Перед ним была могила матери, а вокруг — могилы его односельчан — людей, чьими руками и потом когда-то была поднята и обихожена эта земля, которая кормила, одевала, возвращала новые поколения. «Вот так всем миром шли и упёрлись...» — объяснял сам себе этот сон Тимоха. И ещё подумалось ему: ох, какими бы словами осудили бы они ныне живущих за лень и безголовость, какому бы позору подвергли! «Кабы поднять вас, то мы, глядишь бы, управились», — пришла Тимохе безумная мысль. Он помнил, как начиналась в стране перестройка, какие надежды сулили слова высоких начальников о развитии, новом и правильном на этот раз устройстве жизни. Много тогда спорили о том, как быть с землёй, да только ничего не придумали, и теперь один хозяин в поле — ветер. Тимоха оглянулся на ту пору, и на ум ему пришли слова дядьки Игнага, который в любом деле ценил добросовестность и мастерство. «Тяп-ляп — вышел карап, а карап не поплывёт, потому что мало сделать его, а ещё управлять им надо уметь». Но Тимоха по всему безлюбовскому раскладу, заброшенности и бесприютности не чувствовал присутствия капитана. «А может, мамонька, и лучше, что не видишь ты нашей безрукости, всего этого безобразия, — вздохнул он, — да только не верится мне, что предки нам это всё простят».

И тут припомнилось ему, как были они с Настасьей в прошлом году в городе у сына Михаила. То была осень. В Димитровскую родительскую субботу Настасья повела его в храм, который выстроили недавно как раз недалеко от дома, где жил сын. Настасья решила разом помянуть всех умерших родственников и написала длинную записку. За всю свою жизнь Тимоха бывал в церкви два раза. Верующим он никогда не был, так был воспитан обществом. По-настоящему верующими в их семье были лишь дед да бабка. Дед как-то тихо нёс в себе эту веру, а бабка — та ни к какому делу без молитвы не приступала, осуждала отступников и нередко, глядя на дела окружающих её людей, говорила: «У, антихристово племя!» Мать же постоянно была занята работой, крестов на себя не клала, постов не соблюдала, говоря, что, мол, и так за жизнь наголодались, но не перечила старикам, следовала их правилам и даже любила бабкины рассказы о божьих странничках, святых угодниках и пророках. Тимохина жизнь проходила среди ребятни на деревенских улицах, а затем — в школе, где решительно отрицали существование Бога, а религию называли опиумом для народа. И если кто-нибудь из детей по старинке божился или сомневался в справедливости школьной проповеди, то все над ним смеялись и презрительно называли боговерующим. Тимоха тянулся к знаниям, верил в науку, а директор школы Павел Афанасьевич, который преподавал у них историю и физику и так интересно рассказывал о том, как люди будут жить в свободном обществе при коммунизме, что у Тимохи захватывало дух, был для него непререкаемым авторитетом, и он вслед за всеми верил в торжество разума и силу человека, его способность общими усилиями обустроить землю и превратить её в цветущий сад, где все живут по справедливости. А потом в космос полетел Гагарин, и это грандиозное событие довершило его атеистическое воспитание.

Но в этот раз Настасья настояла на своём и затащила его в церковь. Тимоха стоял среди прихожан, снявши кепку и осторожно оглядываясь по сторонам. Народу в храме набралось много — в основном это были преклонных лет люди, женщины, но встречались и молодые, причём видно было, что они здесь не случайно. Везде горели свечи. От их мерцания казалось, что всё вокруг — и расписанные библейскими сюжетами стены, и резная позолота алтаря, и люстра наверху в центре храма — как бы плывёт, колышется, а изображения на иконах оживают и шевелятся. Тимоха глянул на Богородицу с младенцем на руках и ахнул: вокруг чела Богоматери венком сияли огни, и от головы её исходило лучистое свечение. Тимоха никак не мог понять, откуда взялся этот свет, ведь не был же он, да и не мог быть нарисованным. Потом догадался: это электрические лампочки от светильника напротив таким чудесным образом отразились в стекле, закрывавшем икону. Доносилось



пение хора. Тимоха смотрел вокруг и внимал всему с интересом, пока вдруг неожиданно молитвенное пение не прервала тишина. В этот момент служитель подал священнику листочки — внушительную стопку бумажек, и тот принялся читать: «Степан, Мария, Владимир, Игорь, Леонид, Наталья...» И мгновенно, точно ветер прошёл по полю ржи, — заколыхалась в поклонах толпа, и все, кто находился в храме, тихо запели:

Упокой, Господи, души раб твоих,
Помяни, Господи, души раб твоих...

Священник всё читал и читал, перечислял имена, а прихожане без устали пели и пели, моля Всевышнего не обойти милостью в ином, нездешнем мире завершивших свой земной путь людей. Так длилось довольно долго, пока священник не дочитал последнюю бумажку. И пока он перечислял имена усопших, у Тимохи перед глазами прошла длинная вереница людей. И подумалось ему: вот они, некогда жившие на русской земле — и те, кто в стародавние времена воевал с татаро-монголами, бился на Куликовом поле, с французами и фашистами, ходил с Разиным на стругах по волжским просторам и с Ермаком в Сибирь, пахал землю, строил города и деревни, снаряжал корабли, рожал и растил детей... Сколько же их было у России? В этот момент он почти физически ощутил их присутствие, почувствовал, что все они тут, вместе с живыми — в этом храме.

«Трофим», — произнёс священник, и Тимоха вздрогнул. Это было имя его отца, погибшего в боях под Курском. В этот момент он словно увидел перед собой лицо отца, которого знал только по фотографии. Она висела в избе, на ней он был заснят вместе с матерью в первый год их совместной жизни. Тимоха силился всмотреться в это воображаемое лицо, а люди в церкви нескончаемо пели: «Упокой, Господи... помяни, Господи...» Он не понимал, что происходит с ним, откуда взялось это чувство причастности к неизвестным ему людям, а когда священник вынес и поднял перед народом чашу, он и впрямь поверил, что в ней не вино, а кровь. «Всё правильно, — подумалось ему, — одной кровью мы от века к веку связаны, и ещё духом. Вот и сейчас, как сотни лет назад, возле этой чаши объединились люди».

Но то был короткий миг — то ли озарения, то ли наваждения... После, за стенами храма, он нигде не встречал и не чувствовал этого согласия и единения со всеми. Напротив, одна за другой неслись вести о всеобщем нестроении: то что-то где-то взорвётся или обрушится, то потонет корабль с пассажирами или рухнет очередной самолёт, то солдат повесится, а то целая воинская часть сляжет в лазарет, то детей чем-нибудь потравят, то опять взорвётся военный склад и обрушится новостройка... Телезящик, донося до людей такие новости, следом показывал, как счастливые и благополучные люди весело развлекаются. «И с какого такого счастья?» — спрашивал Тимоха неизвестно кого.

«Да, matka, нынче не знаешь, с какой бедой проснёшься, — продолжал он свой монолог, обращённый к матери. — А воруют теперь по-чёрному. Вор на воре сидит и вором погоняет. Такие цифры называют, что и в голове не укладывается. И никого ведь не накажут — все героями ходят. Так-то, мать. А помнишь, дед рассказывал, как когда-то, ещё при царе, один хитрюга купец, я даже фамилию его помню — Пастухов, задумал обогатиться. Отлил себе гири из чугуна весом меньше, чем положено. Долго, не долго ли так наживался, однако разоблачили его. Тогда собрали жители мирской сход и присудили ему отлить чугунные сапоги и шляпу, да чтоб он в тех сапогах и шляпе ходил. Неизвестно, носил ли он свои чугунки, да только слава о его делах далеко пошла. В Колывани то было, но эвона где Колывань, а и в Безлюбове про то знали. Сраму-то — на весь мир. А теперь срам — не срам, утёрся и пошёл себе дальше. Сказано: стыд — не дым, глаз не ест. И всё растаскивают по карманам. А на то наплевать, что гораздо большее богатство пропадает. Вот хоть взять наши места — они и лесные, и хлебные. А ещё дальше — Бараба. Про неё всегда говорили: Бараба — молочные реки, кисельные берега. Брать только надо умеючи. Вот, matka, так и живём. И просвету не видать. Я уж точно не увижу. Просто руки опускаются,



и кабы только у меня. Вкус к работе потеряли. И куда-то гордость у людей подевалась. Перестал человек уважать себя, потерялся. Вот то-то и оно...»

— Кар-рр-р! — вдруг злобно раздалось откуда-то сверху. — Кар-рр! Кар-рр-р! Кар-ррр! — внезапной шрапнелью посыпалось на Тимохину голову.

От неожиданности Тимоха судорожно схватился руками за кепку, стараясь натянуть её поглубже. Карканье не прекращалось, а напротив, несло на человека с частотой пулемётной очереди. Тимоха сторожко, одним глазом, взглянул наверх — прямо на него, расставив крылья и вытянув шею врасяг, пикировала ворона. Она была похожа на вражеский истребитель, готовый на всё, чтобы поразить намеченную цель.

— У, шельма вострохвостая! — выкрикнул ей встречу Тимоха и вжал голову в плечи. Он струхнул не на шутку. — Чего вытулилась, гомоза нескульдимая?

Но ворона не обращала внимания на его выкрики и недвусмысленно демонстрировала намерения прогнать непрошенного гостя со своих владений.

— Кар-ррр, ка-арр, кар-ррр, — выхаркивала из себя ворона, шелестя крыльями над самой головой Тимохи.

— Кыш, кыш-ш, нахалюга, выхорка паскудная! — бросил ей в ответ Тимоха. — А ну пошла отсюда, язви ты в корень!

Он стал отмахиваться от назойливой птицы обеими руками, одновременно защищая лицо и голову. Но грозная ворона не унималась, она разъярилась ещё шибче и норовила крепким клювом ударить его в затылок.

Оберегая голову, выскочил Тимоха за оградку материнской могилы, в один прыжок достиг прислонённой к берёзе лопаты и стал ею отгонять птицу.

— А ну пошла, пошла, гадюка с крыльями, ишь гвалтом кричит! Что, горлой взять хочешь? Вот я тебя щас ка-ак жажну! Выстрамлю на всякие корки! — и он со всей силы ударил воздух лопатой. Ворона отлетела в сторону, но битву не прекратила. Наглости птицы не было предела. Она ловко уклонялась от ударов, маневрировала, то поднималась ввысь, то спускалась до критической черты, роняя своё вечное «кар-р-рр», но кончать войну не имела намерения.

— Грохало замогильное! — выругался Тимоха. — Да уймись же ты, бесноватая!

Но ворона не унималась и выныривала то справа, то слева, угрожала сесть на голову или клонуть в спину. Быстрая, вёрткая, она поминутно возникала то тут, то там. Тимоха давно уже понял, что у вороны где-то здесь поблизости находится гнездо, и начал отходить в сторону. Но сколько бы он ни уходил в глубь кладбища, ворона неизменно преследовала его. И над Тимохиной головой, и вслед ему беспрерывно несло это злобное «карр-р» рассвирепевшей птицы.

— Всюду оккупанты, — промолвил с горечью Тимоха, покидая кладбище. — Расплодилось воронья... Бисовы души, нет на вас погибели, обнаглели... В другой раз ружье возьму.

Тимоха припомнил, что видел однажды, как одна ворона, осмелев, напала на ребёнка и выхватила у него из рук кусок хлеба.

«Нахалюга», — подумал он про себя, вспоминая этот случай.

«Тьфу ты, — сплюнул он, — нигде-то человеку места нет».

Прежде, бывая на кладбище, он не раз видел ворон — они, видно, облюбовали здесь себе пристанище, порой птицы тучей взмывали с деревьев в воздух, но стычек с ними до этого дня у него не было. Он медленно, сгорбив плечи, плёлся по пыльной дороге, а в спину ему всё ещё раздавалось мстительное «ка-р-рр».

* * *

...Как-то раз, в середине лета, приехал я в Безлюбово к своим старикам — помочь по хозяйству. В день памяти моего деда, который приходится на 12 июля, решил я сходить на кладбище. Теплый светлый день уже клонился к вечеру. Было тихо, только стрекотали кузнечики. Когда я расположился на скамье у памятника, увидел Тимоху. Он тоже меня приметил. Мы обменялись приветственными сло-



вами. Он стал расспрашивать меня о городской жизни. Я рассказал, что мог, хотя хвастаться особенно было нечем. Ну, что шоферу, доставляю людям по адресам со склада мебель. Бывает, собираю её. А в остальном — как у всех: жена нудит о деньгах, сын выучился на складского работника, сейчас подыскивает себе место, а дочка-школьница всюю осваивает компьютер.

— Да ты вроде в институте на кого-то там учился, чего ж теперь за баранкой-то? Я думал, ты на интеллигентной работе... — удивился Тимоха.

Я ответил ему, что когда-то учился на психолога, работал сначала в школе, потом в муниципальном социально-психологическом центре с семьями и подростками. Пока жил один, на скудную зарплату как-то худо-бедно тянул, а как женился... Потом устроился в большой иностранный магазин — их сейчас огромная сеть по всей стране. Поначалу был доволен, и всё шло нормально, но там свои заморочки: кадры то и дело передвигают туда-сюда, да и сотрудники постоянно друг друга подсиживают. В общем, предложили мне переехать в другой город в магазин той же сети, а иначе грозили уволить. А у меня уже была семья, и жили мы на квартире у родной тётки — брала она с нас по минимуму, — куда же с малым дитём поедешь в неизвестность? А как и там уволят или пошлют ещё куда-нибудь? Уволили... Надо было думать о семье, вот и сменил специальность. Пришлось забыть все премудрости психологии — жалко, конечно, но зато сейчас свожу концы с концами.

Тимоха вздохнул, помолчал немного — да и что тут скажешь.

— Это хорошо, что ты предков не забываешь, — сказал он как-то тихо, размеренно. — Я вот тут обосновался среди покойников и как будто в другой мир попал, другую жизнью зажил. Начал всех вспоминать — кто какой был, кого застал, конечно, всякие истории тут припоминаются: что да когда было. А тех, кого не знал, начинаю себе представлять, домысливаю, значит. И всё хожу меж них и разговариваю. И ты представляешь: они мне отвечают. Вот мы с ними разговор весь день и ведём. Старину вспоминаем, как жили, я им про новую нашу жизнь докладываю. Так у нас и идёт. Как будто никто и не умирал, и опять наша деревня народу полная... Что деда не забываешь — это хорошо, — продолжил он. — Им без нашей памяти, скажу я тебе, дюже плохо, шибко одиноко. Поминать надо и на могилки ходить, не то они без внимания дичают.

— Да тут сильно не наездишься, — ответил я ему, — а так мы деда часто вспоминаем. Мать постоянно говорит: «Вот отец, бывало, скажет...» Или там: дед этого не велел, или: делал так-то... А то вспомнит: «У отца по молодости...» И как забудешь: жизнь-то вместе с ним с малолетства шла.

— Да-а, — протяжно вздохнул Тимоха, — хороший человек был Фёдор Поликарпыч, справедливый. Бригадиром служил, так завсегда за своих работников радел, заступался, но строгий — не больно кому и спустит, коли за дело. А ещё гармонист был — чудо, особливо по молодости. Моя бабка под его музыку частушки пела и даже сама сочиняла. Вот такую, к примеру, помню.

И он пропел хрипловатым старческим голоском:

Выходи-ка, милый дроля,
Во широкое во поле,
Одной ручкой буду жать,
А другою обнимать.

— Или ещё такую:

Целую неделюшку
Я пряла куделюшку —
Рубаха дроле станется,
И ещё останется, —

это она сама придумала — ни грамма не вру. Во-о как любили раньше девки. А нынешних песен я что-то не пойму. Слышу, одна поёт: люблю, мол, и никто другой



мне не нужен, и тут же ему говорит: прощай и видеть тебя не желаю. Что-то всё у них никак не сладится, то ли потому, что жизнь теперь такая — не разбери-пойми, все разъезжаются по сторонам на заработки, опять же квартирный вопрос... Это я так сужу. А один поёт, что никак на свою не наглядится, только он ей без нужды. Вот он стоит, обиженный, и только ветер его губы колышет. Я думаю: что за уродец такой, что у него губы полощутся, точно бабки тряпки на ветру? И такого любить? Всё я мелодии их песен хочу запомнить, но, хоть убей, моя память их не берёт. И ещё говорить стали как-то непонятно. Я про радио и телеящик говорю. Тараторят, как молотилка. Вроде, по-русски — одно-два слова разберёшь. А остальное не понять — по-каковски. Одна у них там есть такая — барабошит, да быстро так, а как закончит предложение, всё голосом куда-то ввысь улетает. Так вот, бывает, коровы мычат: спервоначалу она, слышь, своё «му-у» ровно так тянет, а под конец вверх забирает. Но то корова, она ж на человечьем ни бельмеса. Слушаешь их, а разобрать ничего не можешь, будто на чужом языке боронят. То ли все картавые там да шепелявые? И зачем таких берут? Не пойму что-то...

— Это они эфирное время экономят, оно дорожущее, чтобы рекламы больше поставить — от неё ведь все деньги идут, вот и торопятся, — объяснил я ему. — Стараются уложиться в отпущенный срок, чтобы больше информации запахать.

— Это как мешок, что ли, набивают — чтоб больше вошло? Вот она и строчит, как Анка-пулемётчица?.. Да, все сейчас бабки колабошат — так, вроде, ноне говорят, — после паузы добавил он.

— Без денег во все времена было туго, — заметил я, — каждый имеет как умеет.

— Так-то оно так, да если б в войну деньги за всё спрашивали... Победили бы?

— Что об этом говорить, — прервал я болезненный разговор, — давай лучше деда Фёдора помянем по-русски.

Я достал из пакета бутылку водки «Медвежий угол», пару огурцов, хлеб, банку сайры и пластиковый стакан. Стакан был один, поэтому пили по очереди. Я знал, что Тимофей Трофимович водку не жалуется, поэтому спросил:

— Сколько тебе налить?

Он махнул рукой:

— Лей из ковша, а мера — душа.

От водки Тимоха сразу как-то обмяк, разомлел, глаза его набухли слезой.

— Я тут хожу всё и думаю, — начал он, откашлявшись, каким-то голосом, исходящим прямо из нутра. — Вот смотри, сколько у меня тут покойников лежит. Все они когда-то были живыми людьми. На жизнь каждого из них с головой хватило горя, бед и лишений. Нужду после выселки из России перебедовали? Перебедовали. Обжились, глядь — тут революция подоспела, затем Колчака пережили — на тебе колхозы, потом война и лютый голод и холод, опять же — безотцовщина; опять, едва поднялись, и вот — новый порядок — всем бабки колабошить. И выходит: одни за гроши горб наживают, а другие миллиардами ворочают и острова да замки скупают. Как это называется? Из огня да в полымя? Социализм строили, говорили, что на справедливости, и человека так воспитывали. А кого вырастили? Это кто ж там миллиардами колабошит? Гляжу — дивлюсь: да те же, кто нас тогда справедливости учил и те, которых в ней растили, а они как один в голос громкие лозунги по всей стране трезвонили. Куда что делось? Как это у них разом всё внутри перевернулось? Какие они — настоящие? У меня нутро аж всколобродило. Хожу я, топчу землю, и один вопрос засел во мне и никак покоя не даёт, вот больше ни о чем думать не могу, — он упёр кулак в грудь и всем телом вытянулся мне навстречу. — В чем тут дело? Что они за люди такие — перевёртыши, отчего так враз переворачиваются? Я тебе вот что скажу, — эти слова Тимоха прошептал чуть ли не заговорщически, — меня недавно осенило...

Я не люблю такие разговоры — тут никогда ни до чего не договоришься, поэтому я сделал вид, что не расслышал его последние слова и снова взялся за бутылку. Мы налили ещё, закусили хлебом и огурцами. Я вскрыл ножом сайру.



— Царство небесное тебе, Фёдор Поликарпыч, — сказал Тимоха, принимая из моих рук стакан. — Не слышать в деревне больше такого гармониста. Скучно без твоей музыки. Бывало, как сыпанёшь по кнопочкам — девки аж визжат и в пляс бросаются. Ну, земля тебе пухом.

Он выпил, тяжело выдохнул и отёр губы тыльной стороной ладони, затем продолжил.

— Так вот я тебе говорю. До чего я додумался... Изъян есть какой-то в человеке, что не может он жить по совести — всё его куда-то заносит. Всё он бьётся, воюет, грабит, сверх меры наживается... в общем, ведёт себя как дрянь. И не пойму я своей башкой: почему человек не может на земле устроиться по уму да по совести? Вот и сердце у него есть, и душа, и голова, и руки-ноги... Всё есть, а жизнь устроить не может. Хотя чего проще, если подумать. И та-ак душа у меня болит... вот хоть бы за этих покойников, что не смогли прожить, как подобает.

— Да брось ты, дед, — прервал я его, — не бывает так, чтоб всем хорошо было, и всегда человеку чего-то не хватает, вечно его влечёт куда-то. Это непредсказуемо, а ты хочешь жизнь в сети поймать, а потом утрамбовать по собственной мысли. Не получится. Как ни трамбуешь — всё равно что-нибудь откуда-нибудь да выскочит. Вот говорят, что даже ружьё на стенке висит-висит, да вдруг само собой и выстрелит.

— Нет, — не согласился Тимоха, — всё-таки есть изъян, потому и стреляет. А ещё я додумался тут до такого... — Тимоха махнул рукой, — что скажи тебе, так ты меня с кладбища прогонишь.

Мы выпили ещё. Тимоха долго молчал. А я думал, выскажет он свои крамольные мысли или нет. Но он не утерпел.

— И вот до чего я докумекался: Бог с Анчуткой в решку сыграли...

— А это кто такой? — не понял я.

— А дьявол, по-нашему, — отмахнулся он. — Знаешь такую игру: орёл-решка? Вот они и сыграли. Поставили, мол, чья возьмёт. Если Бог, то совесть в человеке возьмёт верх, а коли нет — то победит Анчутка, то бишь дьявол, и тогда всё пропало: и человек, и Земля, и вообще всё кончится. Я вот смотрю: Анчутка большую силу набрал — по всему видать. Опять же, почему так получается? И думаю: человек недосотворён был до конца — совесть у него часто глохнет. Значит, Бог где-то ошибся, лепя человека. Может, недоложил чего? Вот он и изъян. И пошло-поехало, — Тимоха говорил почти шепотом, чтобы его никто не подслушал — ни деревья, ни листва, ни трава. — Может, это я чересчур, конечно, и на Бога клеветать негоже, но, честное слово, находят на меня в последнее время такие мысли. И ещё за решку говорит то, что зачем он Адаму бабу сотворил? Чтоб не скучно было? Так сотворил бы ему другого парня — они бы ловили рыбу и никакого грешного плода бы не понадобилось. Так и жили бы в райском саду, птичек слушали. А он ему бабу подставил. Известно, баба завсегда соблазнится — вот оно и закрутилось. И вот теперь как всё это закончится? На совесть одна надежда. Да куда там, как посмотришь... А если всё же победит Анчутка?

Тимоха зажал себе рот рукой и умолк. Я только усмехнулся его мыслям. Тут со стороны реки что-то грохнуло — как будто разорвался снаряд. От неожиданности мы оба вздрогнули, переглянулись: что бы это могло быть, но, не найдя ответа, замолчали. Молчание затягивалось, и я решил продолжить разговор.

— Вот ты всё про совесть говоришь, какая совесть — все живут как кому выгодно, а иначе пропадёшь. А ты: совесть, правда... Из правды шубу не сошьёшь, из совести, кстати, тоже.

— Ну, это ты хватил, — встрепенулся Тимоха, — вот ты сравни шубу, сшитую на совесть, и абы как. Какую ты захочешь носить или там бабе подарить? Конечно, сшитую на совесть — она и тебе послужит, и ещё внуку твоему.

— А зачем ей так долго служить — мода меняется, — справедливо возразил я ему. — А потом, сейчас в мире другая политика: вещи должны служить недолго. Если раньше бытовая техника, скажем там, стиральная машина или холодильник,



были рассчитаны на тридцать лет работы, то теперь — всего на десять; это чтоб, значит, люди чаще её меняли, больше вещей покупали, тогда и товарооборот будет хороший, и прибыль, и рабочим на предприятиях будет дело, ну и зарплата, конечно.

— Это, значит, чтоб деньги из человека постоянно вытягивать — эко, право, дело. Нынче всё перевернулось. Раньше вещи и весь домашний скарб хранили и передавали от отца к сыну, от матери к дочери, берегли и пользовались долго. Зато и ресурс экономили. А сейчас купили, чуть попользовались — и на помойку. Это где ж столько всего набраться? Вот и скудеет земля. А ты представь, сколь этих самых холодильников и машин через десять лет будет выброшено. И куда весь этот хлам девать? Прошлым годом в городе был — там этого мусора выше крыши. Пакеты, вот как у тебя сейчас, по всей округе валяются, да только ли валяются — по воздуху летают, прямо как птицы. Мишка, сын мой, на шестом этаже живёт, так и мимо окон его летают. А уж этих пластиковых бутылок — на каждом шагу. Как подумаешь, так через десять лет на мусорной куче жить будем. Прежде помню: бутылки сдавали — ими снова пользовались, опять же, стекло, ежели разобьётся, так всё одно разлагается, вместо этих ваших пакетов в магазине всё в бумагу заворачивали... Как-то сору меньше было.

— Построят предприятия по утилизации старой техники, — резонно заметил я.

— Да что-то не видать, чтоб вообще чего-нибудь строили, — откликнулся Тимоха.

Он замолчал на короткое время, потом встрепенулся, точно вспомнил что-то.

— А правду ты зря поносишь — нельзя без правды, заплутаешь. Вот ты в Безлюбово на машине приехал?

Я кивнул.

— И на пути у тебя был указатель, что, мол, дорога эта как раз ведёт в Безлюбово. Вот это по правде. А ты представь, что вместо «Безлюбово» на табличке написали бы «Колывань» — куда бы ты тогда приехал?

— Я и без указателя дорогу знаю.

— Это ты знаешь, а ежели кто другой? Вот если взять и все таблички везде этак-то и перепутать — кто куда приедет и где окажется?

— Ну, это ты слишком...

— Ничего не слишком. Вот так же и с правдой: если всё время врать, одно называть другим, а выдавать за третье, то вообще... тьфу... попадешь в задницу.

— Но человеку свойственно заблуждаться, — заметил я. — Иначе бы и открытий не было. Сначала он думает так, но потом проходит время, и исследования показывают, что всё совсем наоборот.

— Да, человек блуждает, как, к примеру, в лесу или тайге. Но он блуждает, пока дорогу не найдёт или не проложит новую, иначе совсем заблудится и погибнет. Так он правду ищет, дороги настоящие. А если его понуждать плутать обманом... Грех это.

— Какой грех, сейчас и слово такое забыли, каждый поступает, как ему лучше. Какой-то ты стал божественный, не замечал прежде за тобой.

— Станешь тут... — Тимоха упёрся взглядом в землю, а после тихо сказал: — А уж коли греха нет, так одна у нас дорога — снова стать дикарями или повиснуть на деревьях. Вот, скажем, голодный я, а пахать не хочется и со скотиной возиться лень или там ещё почему-нибудь, а ты тут, рядом, спротив меня, и никуда бежать не надо, и нет причины мне тебя не съесть, коли хочется — и греха нет. Вот я и поступлю, как мне лучше. Мне и будет лучше. А ты пропади...

— Сейчас всё в мире направлено на то, чтобы освободить личность, предоставить личности полную свободу проявлять себя и всеми силами защитить её права... Этого требует современный мир, — убеждал я его.

— Освободить, говоришь, личность? А что с того будет? Человеку надо держать себя в узде — вот что я тебе скажу, и весь человеческий опыт за то же. Ежели потакать себе во всём, все прихоти исполнять, ни в какой самой малой малости не



отказывать... А потому как мне так хочется, ну просто аж зудится — вот разобью всё вокруг! Это я личность свою на свободу выпускаю, волю вольную ей даю, и нету у меня боле ни об ком и ни об чём заботы. Моя свобода личности для меня царь и бог, и, чтобы утвердить эту мою свободу личности, я в соплю разотру всякую другую личность, потому как срать мне на неё — моя личность и её свобода для меня превыше всего. А ещё, потакая себе во всём, человек слабеет, растекается, что тебе шоколадка на припёке, и в мерзости своей он не заметит, как превратится в свинью, и вместо лица человеческого в одночасье просветит скотское рыло — и перед тобой уже не человек, а чудище поганое. Вот такие сказки получаются. Ты вона нынешних педорастов возьми. Какую силу набрали! Гляди-ка. Прямо не верится! Когда ж такое было, чтоб человек себя своё вот так запросто похерил — не хочет его ни посеять, ни взрастить, ни воспитать, ни посмотреть в глаза родного сына... Он же весь род свой предал, всех предков и не даёт роду проявиться, продолжиться, увидеть свет. Он своих детей лишил права родиться, жизни лишил... Убийцы. Да таких и предки проклянут, и дети нерождённые. Свобода личности! Свобода личности... Что это за свобода такая, которая застит путь в мир другой личности? Похоть одна. Исповажены люди не под стать, скажу я тебе. Всё верно: Анчутка верх берёт, — обречённо подытожил Тимоха.

— Это в тебе говорят ещё старые, заскорузлые родовые понятия. Тогда люди просто вынуждены были жить большими семьями, ориентироваться на род — только так в то время и можно было выжить, совместно выполняя тяжёлую работу и разделяя между членами рода или там семьи произведённый продукт. Просто общество находилось на такой стадии развития. А сейчас человеку ничего не стоит прожить и в одиночку. Кстати, многие так и поступают. Живут сами по себе, как им нравится. Да и с родственниками теперь по большей части в городе общаются мало. Молодые семьи предпочитают сразу отделиться, и с родителями практически не видятся. Общество перешло на новую стадию развития. Это закономерно, такова тенденция, и глупо на это обижаться, — убеждал я его.

— Верно, теперь мать с отцом превращаются просто в механизмы по производству человек. Они их выкормят, подрастят, а всё остальное довершит общество — через телек, радио и этот ваш, как его... компьютер, — Тимоха глубоко вздохнул. — Всё так теперь и идёт... Оно, конечно, как плевать против ветра?

— А ещё надо научиться уважать свободу другой личности, — вернулся я к прежнему вопросу.

— Да как же ты сможешь её уважать, когда каждая личность раскрепостит себя до дна и ваши свободы схлеснутся на каком-нибудь перекрёстке? Тут чтоб уважить другого, надобно себя укоротить. А как укоротишь-то, когда обуздывать свои хотелки привычки нет.

Мне надоело с ним спорить, я вообще не любитель этих пространственных разговоров за жизнь, которые никогда ничем путным не кончаются, поэтому перевёл нашу беседу в другое русло.

— А я сегодня вот что нашёл, — и вынул из кармана находку — медаль «За победу над Германией». — Картошку окучивал — и вот, гляди.

— Ты смотри, медали в поле растут! — удивился Тимоха. — Дай-ка, дай-ка сюда.

Он взял медаль, повертел в заскорузлых пальцах и, прищурив подслеповатые глаза, медленно вслух прочитал: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Потом перевернул и довольно долго рассматривал профиль Сталина. Затем снова зачитал: «Наше дело правое, мы победили». Он ещё некоторое время держал награду в руках.

— Да... Историческая находка. Где, говоришь, нашёл-то?

— В поле за оградой.

— Постой, погоди, — он как будто задумался, что-то припоминая. — Мне кажется, я знаю, чья это медаль, хотя... может, и ошибаюсь, только помнится мне такой случай. Было это уже после войны, мне уже, однако, лет десять стукнуло. В аккурат



в соседстве с тобой жил тогда фронтовик Семён Черноваленков. На этом месте сейчас городские дом занимают. Вернулся он с войны без обеих ног. Работать в колхозе, конечно, не мог, но подражался в артели табуретки делать, корзины из тальника плёл — тем и жил. А ещё была у него такая низенькая тележка на колёсиках и две культы. Не знаю, сам смастерил или дали ему, только садился он на ту тележку, в руки брал деревянные культы, чтоб руками о землю не опираться, и так передвигался по двору или по улице. Но чаще — без тележки, на одних культах. Штаны ему сшили кожаные, прочные такие, чтоб не протирались. Вот он руки с культами вперёд выбросит, упрётся на них, а затем, значит, ноги подтягивает к рукам — так и передвигался. А ноги ему отхватило под самый пах, под самое не могу. Всегда он был чем-то занят. Иной раз и нам, ребятишкам, какую-никакую игрушку смастерит — ничего же не было. Одет был обычно в эти самые кожаные штаны и гимнастёрку. А на гимнастёрке медаль эта — «За победу над Германией». И всё бы ничего, да только приходилось ему ездить куда-то за справками — он зачем-то всё справки собирал. И вот, помню, однажды приезжает он то ли из города, то ли из района. Обычно-то он нас, ребятишек, привечал — ну, безотцовщины мы были все об эту пору. А он, бывало, мастерит своё и нам чего-нибудь рассказывает. Мы тогда всё больше про войну любили. Нам интересно, а мужиков в деревне в то время, почитай, и не было — все наперечёт. Вот мы к нему и бегали всё: дядя Семён, да дядя Семён, он нас и не прогонял никогда. А тут смурной явился, не то чтоб сердитый, а угрюмый какой-то, что тебе туча грозовая. Мы как раз у него в ограде с сыном его Стёпкой играли. На культах своих он пробрался в калитку, взобрался на крыльцо и так молча сидел какое-то время и всё о чём-то думал. Мы как-то разом почувяли, что не стоит к нему приставать, и притихли. Он скрутил из газеты козью ножку, насыпал махорки, плюнул языком бумажку, закурил, а сам всё о чём-то думал. Под конец плюнул на сигарку, потушил, взял культы и — прямым ходом за огород. Мы тогда за ним проследили. А он придвинулся к забору, постоял, а потом как рванёт с груди медаль и ка-ак швырнёт в бурьян. Мы тогда дуже испугались и ничего не поняли. Обрато он вернулся уж без медали. Видать, ты его медаль-то нашёл, Семёна Черноваленкова. Я так думаю. А может, детишки когда заиграли.

Долго ещё мы в тот день беседовали с ним: вспоминали земляков — кто где устроился и как живёт, а кто умер; говорили о деревенских делах и городском житье, припоминали всякие истории. Наши разговоры слышал только тёплый летний ветер, который набегал по временам, колыхал траву, шелестел листвою, обдувал наши лица. Когда мы вышли с кладбища, уже смеркалось, на небе выглянули первые звёзды. Нам было в одну сторону. Он нёс ящик с инструментом, в правой руке держал лопату и опирался на неё, как на посох. С разговорами дошли до моей избы. Тимоха потоптался у калитки, и я понял, что ему не хочется лишаться общества, присел на скамью. Тимоха сел тоже. Какое-то время мы молчали. Уже совсем стемнело. Тимоха сидел и всё глядел куда-то перед собой в темноту. Неожиданно он спросил:

— Вот ты не знаешь, есть ли где, ну, может, и не в наших краях, деревня Любовино? Не слышал ли?

— Не слышал, — отозвался я.

— Вот и я тоже. А то как есть? Может, там, в Любовине этом, глядишь, и живут по-божески... А то что — Безлюбово. Безлюбово оно и есть Безлюбово... Может, мы вот так-то весь век бьёмся друг с дружкой и колотимся, что любви в нас недостаёт? Вот у моей Настасьи икона есть: на ней Христос книгу держит. Так там в книге написаны слова: да любите друг друга. Вот чего нам всем не хватает.

Он опять Умолок и вдруг неожиданно указал куда-то вверх.

— А вон Висожары горят — это сияние на небе от них.

Я посмотрел туда, куда указывал его крючковатый палец, и увидел россыпь звёзд, раскинутых по небу, точно зёрна по полю.

— Раньше примета такая была у нас в деревне: если парень с девкой вместе будут смотреть на Висожары, то любовь меж ними будет крепкая да длинная.



— Это ты про какие Висожары? — спросил я его.

— Ну, созвездие в небесах — Висожары зовётся, не знаешь, что ль? — откликнулся он.

— Стожары — так будет правильнее сказать, — поправил его я.

— Ну, тебе виднее, а у нас всё: Висожары да Висожары, а что это, никто не знает. А Стожары — это значит, жарит в сто раз, я так понимаю.

— А вот сейчас узнаем, — сказал я ему и достал смартфон, залез в поисковик и нашёл «Стожары».

— Слушай, что пишут про твои Висожары, — начал я. — Стожары, иначе — Плеяды. Это звёздное скопление из семи звёзд. Звёзды эти символизировали стойкость в печали, горести. Название «Стожары» происходит от слова «стог», «стогно». Стогны — пути, дороги, перекрёстки, место, на котором ставится стог. В древности считалось, что с этого созвездья Русь пришла хороводом на землю. Пришла и уйдёт однажды.

— Вот теперь ясно стало, — промолвил Тимоха. — А какая у тебя штукавина интересная — всё-то она знает.

— Сейчас у всех такие.

— Игрушек-то понаделали, всё могут объяснить, да только вот Любовино построить — кишка тонка. Да что там построить, и жить-то в нём людям, выходит, не по силам, осталось только уйти на Висожары.

Он помолчал в задумчивости, потом хлопнул ладонями по бёдрам:

— Однако пора идти, — сказал он. — Ну, будь здоров.

Прощаясь, мы пожали друг другу руки. И он опять взял свой ящик и лопату.

Тимоха шёл по улице, а я ещё какое-то время смотрел ему вслед, пока он не растворился в темноте.

* * *

Тимоха медленно, как бы нехотя, двигался в сторону дома, где, как он знал, давно уже заждалась его Настасья. Но он не торопился. Какое-то глубокое и тягучее чувство захватило его. И стряхнуть его он не мог. Тимоха шёл, медленно перебирая ногами, и всё думал: «Ну должно быть, должно быть хоть где-то это Любовино — ну, не может того сбыться, чтобы не было. Не здесь, так где-то там...» Он вновь посмотрел на небо. «Наверное, только на этих самых Стожарах-Висожарах — нигде больше. Ишь, как горят!»

Ему представилась деревня, расположившаяся где-то на этих звёздах, а в ней — люди, и всё больше — его бывшие односельчане. «А вдруг, — озарила его догадка, — они и впрямь переселяются туда?» И тёплая волна омыла его душу. «Эх, кабы так, — вздохнул он, — тогда бы всё объяснилось и вознаградилось. А то неужто и впрямь все наши горести и скорби так в могиле и пропадают?» Тимохина душа не хотела с этим мириться, и он загорелся мечтой о звёздном Любовине, стал воображать себе, как в нём справедливо, в ладу друг с другом живут люди. Он вспомнил про дитя, унесённое, как на парусах, вместе с холстами ураганом в небо. «Наверное, и ребёночек этот там», — подумалось Тимохе. «А злодеев-то всех куда поселяют? — спрашивал он себя. — Ведь не место им в небесном Любовине. Куда этих-то девать? — недоумевал он. — Они ребята ушлые — будут силой пробиваться. Ужели и там опять драка выйдет? И снова будут ловчить?»

Но Тимохе не хотелось долго думать об этом, ему хотелось размышлять о своём Любовине светло и мечтательно. В этот момент вдалеке раздался голос кукушки. Тимоха прислушался, оглянулся на её незамысловатую песню. В той стороне, откуда куковала птица, находился и Тимохин родник. Он тут же подумал о нём, что находится он сейчас там, на бугре, арестованный, и прежняя боль, которая и так ещё не утихла, обожгла его с новой силой. Тимоха остановился. Небо было чистое, однако край горизонта обложили тёмные тучи. По временам у края неба внутри



облачной черноты вспыхивали зарницы. В воздухе пахло травами, но более всех забирала аптечная ромашка. К ночи она издавала сильный пряный запах. Тимоха смотрел на зарницы, думал про Любовино, которое, может быть, существует в какой-то другой жизни, и слушал кукованье кукушки.

— Кукушка, кукушка, сколько лет ещё будет стоять Безлюбово? — спросил он у птицы.

Та прокуковала два раза и поперхнулась. У Тимохи ёкнуло сердце. Грустный, Тимоха отправился дальше. Он обиделся на кукушку за то, что она так мало жизни отмерила его родной деревне; она стояла полторы сотни лет, а тут вдруг...

Он подошел к дому. Его удивило, что в окнах не горел свет. «Неужто улеглась уже?» — подумал Тимоха. И ему почему-то стало обидно. Обычно Настасья всегда дожидалась его, в какую бы пору он ни являлся. Но тут по тёмным стёклам окон прошли голубые всполохи. Тимоха догадался: «Телевизор смотрит, а свет не включила — экономит». Он вошел в сени, пристроил в углу свой ящик и лопату, затем открыл дверь в горницу. Тут он неловко ступил и споткнулся о приступок. Покачнувшись, тело его вдруг как-то разом развернуло, и он ударился лбом о дверной косяк, при этом протяжным гулом отозвался задетый им металлический таз.

— Ну и горе муж Григорий, — отозвалась на шум Настасья. И тут же добавила: — Хошь бы плохонький — Иван.

Тимоха ничего не ответил, он только потирал ладонью ушибленное место и сопел.

— Что огня не зажжёшь? Я тебе что — крот, елозить в потёмках?

— А ты чо это взял волю — по темноте глуждаешь! Я глядела тебя, глядела — не дождалась, пошла новости смотреть.

Тимоха опустился на табурет, прижался спиной к стене. У него пропала охота даже шевелиться, он затих и закрыл глаза. Не то грусть, не то сердечная забота читались на его простом, изрезанном морщинами лице. Из соседней комнаты доносился шум работающего телевизора, слышались нервные голоса, которые то и дело перебывали друг друга, что-то гудело и ухало, раздавались какие-то выкрики... Тимоха понял, что речь идёт об Украине.

— Во как людям в Европу хочется! — донёсся из темноты возбуждённый голос Настасьи. — Вот уж Евросоюз отучит их сало исты, — продолжала она, возражая голосам в телевизоре.

Настасья сделала паузу в надежде, что Тимоха ответит, поддержит её позицию. Но он не откликнулся. Тогда она ответила сама себе:

— Ничо, им из Брюсселя капусты пришлют — сразу стройными станут, и никакого тебе... Господи, ну как же его... Вот напасть-то... слово из памяти выскользнуло... Тьфу ты — холестерина. Во!

Последнюю свою тираду она произнесла, повернув голову в сторону мужа, но Тимоха и на этот раз не отозвался. Удивлённая отсутствием его реакции, она встала, включила свет и обнаружила Тимоху понуро сидящим у дверей.

— Ну ты хоть бы сапоги-то стянул, а то гвздаешь повсюду, грязь таскаешь... Чего сидишь истуканом?

Тимоха медленно, как бы с неохотой принялся снимать сапоги. Он наклонился и тяжело вздохнул. Тут Настасья встрепенулась:

— А чо-то винищем потянуло? Да ты никак набрался? С чего бы это? С какой радости?

— Андрюху Прилукова встретил, — с неохотой, через силу отвечивал Тимоха, — он приехал своих навестить да заглянул на могилку к деду. Мы с ним Фёдора Поликарпыча и помянули маленько.

— Всё-то нет на тебя угомону, — рассердилась Настасья. — Какой-то ты мужик добойный, гомоённый, всё бродишь за волей, каку-то всё холеру ищешь. И чего тебе втемилось в башку глуждать по кладбищу. Вот спросить кого: ну в уме ли ты? Из годов уж выбился, а всё гомозишь. Не молоденький уж. И что тебе всегда больше всех надо — хорошим всё одно не будешь, и медаль на тебя не повесят. И ещё набрался...



— Не гуди ты, — тихо отозвался Тимоха, — что-то тошно мне, тошнѣхонько, будто вдохну, а выдохнуть — никак. . .

— Да ты что ли занемог? Давай мигом горшок нагрѐю, на живот поставлю — и отпустит, — забеспокоилась Настасья.

— Оставь горшок, не надо. . . — он ухватился руками за колени и весь вытянулся вперѐд, стал такой бледный, что, кажется, краше в гроб кладут.

Настасья встревожилась не на шутку. Она вдруг обнаружила, что Тимоха всё ещё сидит в пиджаке и старых рабочих штанах. Она тут же принялась раздевать мужа и обряжать его в домашнее. Налила в таз тёплой воды из чайника, помыла и вытерла ему ноги, принесла стоптанные шлёпанцы. Потом направилась в кухню.

— Давай-ка поешь лучше. Пил-то — хоть чем закусывал? — бросила она на бегу.

— Угу, — промычал Тимоха, стоя возле умывальника и стягивая с гвоздя полотенце.

Полотенце зацепилось за гвоздь и не хотело поддаваться, тогда Тимоха сам наклонился к нему.

— Я карасей нажарила. Хрусткие — как ты любишь. Городские принесли, за молоко рыбой рассчитались, — донеслось из кухни.

— Оставь, не буду. . . Ничего мне не хочется.

Удивлённая Настасья выглянула из-за занавески.

— Я смотрю, как родник тогда оттяпали, тебя будто подменили, и вся эта карусель у тебя началась. И чо ты всё к сердцу-то принимаеш, чего так гориться — ведь эдак из ума выбиться не долго, сухоту вон на себя навѐл только. Сейчас по-новому в жизни всё устраивается. Нас не больно спрашивают. Прежде не спрашивали, а теперь так и вовсе — мы люди маленькие. Начальство как хочет, так и ворочит. Что ты себя всё гнобишь да изводишь. Себе только во вред. А кому надо — всё равно по-своему повернут. Жалостник ты больно, всё-то и всюду тебе надо. . .

Тимоха в это время пытался улечься на кровать.

— Ну ты бы хоть постель-то разобрал, — возмутилась Настасья.

Она подхватила мужа под руки и спустила с кровати на стоявший рядом стул. Сняла покрывало, взбила пуховые подушки и только потом разрешила мужу улечься.

— Ну чаю-то хоть попей, — уговаривала она Тимоху. — Заварю с мятой — дух облегчает.

Под звук гудящего и вечно спорящего телевизора Тимоха пытался поудобнее устроиться в кровати. Настасья вошла в комнату с кружкой чая, поставила её на стол.

— Ну, давай я тебя напою как ма-аленького.

Тимоха послушно приподнялся на кровати, и Настасья принялась поить его, как ребёнка. Тимоха сделал пару глотков и махнул рукой — мол, хватит, не буду больше, — и повернулся на бок, спиной к Настасье. Она под села к нему сзади и стала поглаживать его волосы, потом принялась баюкать, слегка похлопывая ладошкой по спине.

— Вот как малое дитѐ тебя щас убаюкаю, — сказала она и стала напевать:

Ай-агу, ай-агу,
Потерял мужик дугу
На зелёном на лугу.
Шарил, шарил — не нашѐл,
Сам заплакал и пошѐл.

Тут Тимоха дёрнулся и сзади локтем отбросил руку Настасьи. Жена чутьѐм поняла, что попала в больное место, задела за живое.

— Ну ладно, ладно, не буду, не буду. . .

Она переждала минутку, потом принялась утешать мужа, как умела: гладила его по затылку, по руке, лежавшей поверх одеяла, по спине и приговаривала:



— Не сердчай, Тимофей Трофимович, всё устроится, ведь всегда, во всякие дни всё как-нибудь да устраивается. Завтра не пушу тебя на кладбище — довольно уж. Не успеем оглянуться — сами там окажемся. А живой думает о живом. Пойдём мы с тобой по грибы. По колкам уже обабки находят. А ты ничего и не видишь. Походим, наберём. Я нынче всяких груздей насолю: и беляночек, и боровых — всяких. Пока ты покойников-то обихаживал, я клубники богато набрала, вон сушится... Зима придёт — запарим, пирогов напечём. Я знаю — ты любишь. Да и Михаил тоже. К Рождеству обещался со всем семейством приехать. Вот и будет радость. Ребятишки на воле разгуляются, чего они там, в городе, больно видят — всё одинаковые многоэтажки да машины эти, от них уж продыху нету, а здесь — воздух и воля. Баньку им истопим хоро-ошую, а может, где у кого лошадь выпросим — на санях покатаешь... Вот с имя и отмякнешь душой. Жаль Серёга к нам дорогу забыл. Я всё жду, а он не едет, заковенел уж, поди, на своём Севере. Может, и дождёмся когда...

— Мать, слышь, — отозвался Тимоха из-под одеяла. — Я ведь деньги-то с божницы взял, но верну озохрани. Родник хотел спасти.

— Да знаю я, — ткнула его кулаком в затылок Настасья. — Впотаях взял, как разбойник. Да теперь уж чо. Ладно. Не они нас, мы их наживаем. Глядишь — не завтра помрём, а и помрём — на земле не оставят.

Тимоха засопел под одеялом, и это сопенье очень смахивало на всхлипыванье ребёнка. Настасья встрепенулась:

— Вот же злые люди, навели сухотку на человека, ввели в сердечное сокрушение, а мы им, Тимофей Трофимыч, не поддадимся. Мы и сами им поддадим. Вот я шас твоих обидчиков и лиходеёв сама присушу да сердца им выстужу.

И она принялась по-бабьи теревить передник на коленях и беззвучно шевелить губами, как будто пробуя на вкус какие-то слова. А потом начала нараспев приговаривать:

Уж твоёму бы ворогу
Сломить бы ему голову.
Он и сам — шестом,
А голова — пестом,
Уши ножницами,
Рожа пряслицею.
Глаза, словно пуговицы,
А нос, как луковица,
На макушке-то грибы растут,
На горбу-то сухари толкут,
А в голове-то мыши гнезда вьют...

Долго еще приговаривала Настасья, насылая на головы Тимохиных врагов всякие напасти. Всё то время, пока она говорила, Тимоха лежал тихо. Казалось, он даже не дышал. Когда она закончила, установилось молчание. Было слышно только, как в соседней комнате рокошет телевизор.

— У меня душа за деревню болит, — вдруг прошептал Тимоха. — Вот так и печёт внутри, так и печёт и никак не отпустит, — он весь сжался в комочек, натянул на нос одеяло и по-детски засопел.

По-прежнему что-то кому-то доказывал телевизор:

— Недавно я побывал в Торгово-промышленной палате на Московском экономическом форуме. Долго сидел и слушал. А потом вышел и сказал: «Уважаемые коллеги! Вы готовите проект обращения к правительству РФ. У меня есть сильные сомнения, что этот документ вообще будет кем-то рассмотрен. Дело в том, что у нас не правительство, а колониальная администрация. Какой смысл писать челобитную в колониальную администрацию?..

— Ну Вы же понимаете, что такая позиция... — перебил предыдущего оратора кто-то.

— Да выключи ты этот брехунок — толкут воду в ступе, а толку как не было, так и нет, — потребовал Тимоха.

— И впрямь, — откликнулась Настасья и нажала кнопку пульта. — А ты спи, дед, спи и повыброси всё из головы.

— А родник всё ж таки жалко, — протянул Тимоха с лёжни.

Настасья молчала. Она знала, что ничем не может помочь мужу. Походила, потом снова присела на кровать.

— Зна-аешь, — как-то загадочно протянула она, — песню я тут слышала одну — хоро-ошую. Слова запомнила. Подожди только — попробую взять на голос.

Она помедлила, настраиваясь на песню. Слегка откашлялась, потом начала петь — сначала робко, неуверенно. Но постепенно голос её окреп, она нащупала мелодию и повела песню как по проторенной тропе.

Если тебя неудача настигла,
Если не в силах развеять тоску,
Осенью мягкой, осенью тихой
Выйди скорей к моему роднику.
За родником — белый храм,
Кладбище старое —
Этот забытый край
Русь нам оставила.
Если глаза затуманились влагой,
Из родника поплещи на глаза.
Можешь поплакать, спокойно поплакать:
Кто разберёт: где вода, где слеза.
За родником — белый храм,
Кладбище старое —
Этот забытый край
Русь нам оставила.
Видишь: вдали журавли пролетели,
У горизонта растаял их крик.
Если ты болен, прикован к постели,
Пусть тебе снится целебный родник.
За родником — белый храм,
Кладбище старое —
Этот забытый край
Русь нам оставила.

Тимоха внимал песне и постепенно погружался в сон.

Он тихо спал, а тем временем люди на планете продолжали жить своей привычной жизнью. Не зная покоя и отдыха, работал Интернет. Информационные агентства ежесекундно выстреливали информацией по всем уголкам земного шара. Эта информация направляла движение акций, взрывала биржи, заставляла банки распределять финансовые потоки по многочисленным и не всегда законным руслам, останавливала работу предприятий и фирм; на её основе выстраивались военные стратегии и вынашивались тайные планы. Эта информация выгоняла людей протестовать и бороться на улицы, развлекала, расслабляла, возбуждала, а подчас и подвигала к гибели. Планета, опутанная сетями разнообразных кабелей, в язвах и проплешинах от человеческой деятельности на теле, с ореолами траекторий спутников, беспрестанно передающих сигналы на земные станции, и в россыпи космического мусора, привычно вращалась по своей орбите.

В северном полушарии на пятьдесят пятой параллели стояла ночь. Луна заглядывала к людям в окна. Она знала всё про их житьё-бытьё, знала все их секреты. Земля вращалась — может быть, потому только, что жил на ней простой человек — Тимофей Кукушкин.

Марина КУДИМОВА

КОЛЛЕКЦИЯ СПЕЦИЙ

КОРАЛЛ

*По оценкам ученых, большая часть
коралловых рифов исчезнет с лица
Земли в ближайшее десятилетие.*

О коралл!
Ты долго врал,
Пока не влип:
Ведь ты — полип!

Создано море единым куском —
Красок немых незапаянный ящик.
Поры коралла забиты песком:
Ластами дно возмущает ныряльщик.

Он не единственный тут баламут,
Зуб на которого точат полипы:
Рыбы за зрелище хлебом возьмут,
Гривку лишайника вытопчут джипы.

Все расточатся, а я не умру —
При тирании и при автаркии...
Знай же, ветвистый коралл: не к добру
Предрасположены звезды морские!

Так не рассаживались никогда
На бирюзовых златых эполетах...
Как человеческие города,
Рифы стоят на предтечных скелетах.

Ты не полип — ты лингамный Приап!
Сонмы прописанных в царстве подводном —
Губка, моллюск и разлапистый краб —
Расквартированы в доме доходном.

Каждый жирует за счет мертвецов,
В каждом забытые прячутся гости:
Обызвесткованный остов отцов
И матерей чудотворные кости.



Только однажды, почував, как влип
В эту приливность и эту отливность,
Склочных жильцов раскидает полип,
Не переварит планктонную живность.

Пусть как любовник он неутомим,
Верности жаждет кораллово тело
Травке, воспитанной им же самим,
С чувственным именем — зооксантелла.

Федру фригидный отверг Ипполит —
Зооксантеллу исторгнул полип.
Дни сочтены этой бурой травы —
Ей средь глубин не сносить головы.

И, не справляясь, куда подались
Жалкие съемщики в бездне бессрочной,
Щупалец жалящий, липкую слизь
Ладит полип для ловитвы полночной.

Слеп, как Гомер, и остер, как стилет,
Им построяемый белый скелет.

Брось его, глупый полип, и живи!
Щупальцы выпростай — вольно плыви.
Не размышляй, кто тебе посылал
К самоубийству дежурный сигнал.

Рыб отрави кислородом любви,
Дайверу ноги изрежь — и плыви.

Он — человек, и ему все равно,
Где ты осядешь на чистое дно,

Где обнажит тебя пляжный прилив...
Смертен коралл, но бессмертен полип.

СПЕЦИИ

*Сливаясь, запах ладана, цветов,
Фруктов и трав возносится к Престолу
Воздать хвалу Творцу...*

Френсис Томпсон

Поутру заурядно глядим сквозь горбыль,
Как сосед загружается в автомобиль
После плаванья в снах inferнальных.
Вот уехал «Ниссан», и пришел ассасин,
Дабы септик, воняющий, как керосин,
Отсосать на условиях кабальных,
Феодалных, анальных, подвальных.
Пусть к парадной не подали нам лимузин,
Тут в доступности шаговой есть магазин
Принадлежностей неритуальных.

А давай мы там купим с тобой сельдерей!
Стоит он максимально полсотни рублей —



Это нам не грозит разореньем.
Мы разденем капусту и лук заголим
До колочей слезы, вышибаемой им,
Мы займемся обедовареньем
И дополним все это кореньем.
Как же кстати царицей введен в оборот
Гвоздевой, головной, корневой корнеплод,
Взятый чохом с индейским селеньем!

Хлеб второй, артефакт Катерины Второй, —
Мы им тоже, как смехом, давились порой,
Насыщались по самые гланды,
Но, поскольку хтонически были бедны,
То золу собирали до новой луны,
Завозили навоз без команды,
С Кордильерами путая Анды.
Вдохновенней спартанский сисситий готовь
И ножом поварским препарируй картофь
На Солярисе летней веранды.

Если в корне неправ утопический Мор,
И уйдет богомол, и придет комсомол,
И не вырваться из балагана,
То, пока не начнут суматошить и гнать,
Мы научимся сумерничать, вспоминать
Радость постника, вкусы вегана
Под гримасничанье уркагана.
Пусть казак Галаган изведет нашу сечь,
Пусть Ваххаб-гастарбайтер нас вынудит лечь
Под колеса седана, логана.

Пусть внезапно наступит развязка времен,
И уйдет Эхнатон, и взойдет Эсхатон...
Все ништяк, как сказал бы Лукреций!
Насмотреться успели — в обжор за глаза —
До того, как разверзлась гроза-ураза,
На эрзацы италий и греций.
Мы займемся коллекцией специй!
Кардамон и шафран, базилик, эстрагон
Не сопрет гегемон, не схарчит бибигон
Под журчанье соплей и секретий.

Начитались, налакомившись задарма,
Про бездетных красавиц, сводивших с ума
И сходящих с ума понемногу.
Про холодные тени священных камней,
Про зиждительность мускула без трудодней,
Про щедроты, угодные Богу,
И про Аппиеву дорогу.
А теперь обонянья настала пора —
Розмарин и бадьян, куркума и зира
Нас не выдадут зверю двурогу.

Обоняньем владеющий не говорит,
Чуйкой чужа меняющийся колорит,
В порошок впечатленья стирая,

Потаеня свои измельчая в труху,
Трепыханья сердечные пряча во мху,
Узнаванья мгновенные рая
В катакомбы души убирая.
Жизнь сквозь запах, ты смерти, увы, не сильней,
Но, чем ближе мы к ней, тем острее и родней
Эта штучная память вторая.

Так давай добавлять и укроп, и тимьян,
Так давай не впадать в синуситный обман
Под сивушные выдохи змия.
Если я доложу майоран и бадьян,
Не застелет туман, не накроет бурьян,
Не затмит чужеродное имя,
Не запразднуется аносмия.
Я щепотью зажму куркуму и зиру —
И проснусь поутру, и еще не умру,
И останусь с Тобой, а не с ними.

* * *

Когда мы в Россию вернемся...

Г. Адамович

Когда мы в Россию вернемся
Из Зюзина и Строгина,
На самом краю обернемся,
Но там уже будет война.

Введут пропуска и талоны,
И в силу войдет хлеборез,
С бесцветным пропаном баллоны,
Пропавший к себе интерес.

До схронов родных, до заимок,
Оконцев в один огонек —
Из Бутова, Черустей, Химок...
И каждый пойдет одинок

Из офисов, фирм и компаний,
Велико- и мало- Британий,
В поденном прикиде до пят,
С билетом просроченным волчьим...

Последний ответ перемолчан.
Разряжен последний айпад.

А Родина пусть не заметит,
Какой мы проделали путь,
И нас у околиц не встретит,
Дворнягой не прыгнет на грудь.

Владимир ВАРАВА

МАЛАНЬИНА ГОРА

Р а с с к а з

Жил в нашем селе мужик по имени Матфей. Ходила о нем молва дурная, как о человеке жадном и хитром, себе на уме. Особого зла он, вроде, и не делал, да был нелюдим и угрюм, отсюда и всякие рассказы про его дела темные. И вправду, как какое ненастье с кем приключится, все в сторону Матфея косятся, а он ходит себе да поглядывает, как бы чужую беду вынюхивает.

Да и на вид он был какой-то порченный: борода редкая, как репейник — острыми клочками в разны стороны; один глаз больше другого, а густые брови свисают так плотно, что и этих кривых глаз не видно толком. И как посмотрит косо, то прямо мороз по коже дерет; век бы не знать такого взгляда. Хромал он на левую ногу, и когда шел, то все его тучное тело напоминало огромный мешок, набитый всякой дрянью; да и голос был у него какой-то неприятный, ржавый и писклявый. Скажет что-нибудь да тут же захихикает своим лисьим смешком, как из помойного ведра обдаст.

И вот жил такой человек, жил совсем нелюдимо да прижимисто; не в Бога богател, как говорят. Все знали: у Матфея много денег, только он никогда их никому не давал и не показывал, все копил где-то в своей норе-берлоге, копил, да людей попроще обманывал и обкрадывал. И как все удивились, когда однажды нашли Матфея мертвым, на Маланьиной горе. Обрадоваться не обрадовались, да все же о суде Божьем подумали. Но не только удивились, но и испугались сильно, испугались насмерть, испугались так, что с тех пор страх этот сойти не может, всякого хватает за самое нельзя. И правду было здесь чего испугаться.

Село у нас небольшое, все как на ладони, и до городу не так чтоб далеко. Однако версты три будет. И есть две дороги: одна короткая, прямо через Маланьину гору, а одна подлиннее, в объезд. Это только название такое — гора, а в общем никакая это не гора, а так — холм, прямо посреди дороги легший и сравнявшийся уже почти с дорогой, так, небольшое взгорье. Но все же — взгорье, подниматься надобно, если идешь, и нелегко подниматься там. Если днем, то прямехонько, без страху через эту горку всякий идет-едет, а к ночи народ потрусливей всегда огибает это место — дурная слава за ним водится издавна.

Почему дурное место это — разные рассказы ходят, но взаправду там, раз или два, находили покойников, людей, не добравшихся до дому из города. Как и почему они именно там Богу душу отдали, никто не знает, только говорят: кого не захочет



Маланья пустить домой, того ни за что не пустит. Едет, например, мужик упрямо в гору, да не может дотянуть до середины. Как ни тужься, как лошадь ни погоняй — как будто сила какая отталкивает его и сбрасывает вниз. Ну а если запрямится, тогда беды не миновать, не вернуться домой вовсе. Если Маланья кого-то выбрала, то уже и не отпустит, будет кружить до смерти, пока человек сам в могилу не сойдет.

Правда, в прошлую осень один горячий да строптивый молодец на спор решил целую ночь просидеть на Маланьиной горе. И просидел, только потом его уже не видел никто нормальным: ходит безумный, бормочет что-то себе, взгляд горящий да в пустоту смотрящий. А может, это так просто, от страха ум у парня пошатнулся, и Маланья тут ни при чем, кто ж его знает, однако всё так, как есть.

Все ж красивая гора эта, особенно со стороны речки. А близко подойдешь — уже не то, все как обычно; и тихая оторопь охватывает всякого, и будто бы чей-то тяжелый взгляд, идущий прямо из-под земли, ощущается. И словно стон какой тяжкий, да вроде девичий смех, переходящий в плач. Вот, что слышится и видится на той Маланьиной горе.

И тут — Магфей — как раз на самой Маланьиной горе — мертвый в полной красе. Что с ним приключилось — неизвестно, только как нашли его там, не по себе стало всем.

...А рассказывают о горе этой так. Жил когда-то парень Макар, жил, как все, веселился, как все, работал, как все, ничем дурным и злонравным не выделялся. И была у него любимая — девица по имени Маланья. Все бы хорошо, да не чаял Макар души в своей любимой, и любил ее так, как может любить неокрепшее, но горячее сердце. Маланья правда была хороша собой: высокая да статная, груди большие, накастистые, лицо ясное, улыбка завораживающая. Всякий засматривался на Маланью, да и трудно удержаться и не остановить взгляд свой на такой радостной и здоровой красе женской. Хоть и юная еще была девица по годам, да по зрелости природной — в полном рассвете своем.

Все у Макара и Маланьи было хорошо, и дело шло на лад, к женитьбе, одно было нехорошо: ревновал Макар Маланью сильно, бузumno ревновал. А Маланья не то чтобы была легкомысленна и ветрена, но могла одарить и смехом своим звонким, и взглядом своим смелым любого, кто неровно посмотрит в ее сторону. Могла Маланья и поддразнить Макара, радуясь тому, как сильно он ее любит.

И вот наговорили злые языки на Маланью, наговорили так, что и сомненья не могло быть никакого для Макара. Подстроили, подговорили, подслушали — да горе и состряпали. Помутилось в голове у Макара, так помутилось, что все человеческое он враз потерял. Задумал он черное дело, дело мести за свою поруганную любовь, дело такое, какое отродясь в этих местах и не знал никто. Сильна молодая страсть, сильна и злоба.

Повечеру пригласил Макар Маланью прогуляться, чтоб напитаться де нежностью летней прохлады и пощебетать о радости предстоящей свадьбы. Не заподозрила девица ничего дурного, доверилась своему суженому, и отвел он ее прямо на то место, о котором после дурная слава и пошла. Яму глубокую он выкопал заранее и столкнул Маланью в эту яму черную, и закопал живую. Закапывал, пока стоны глухие и плач не прекратили из-под земли слышаться. Все сделал, как задумал.

Сел потом Макар на землю, и горечь горькая так подступила к нему, что свет перестал быть светом, и взяло тогда раскаяние Макара за то, что он сотворил-содеял, какое зло неслыханное свершил. И стал Макар раскапывать эту могилу, чтоб достать свою любимую. Копал долго, да ничего найти не мог. Только земля да земля. Да пот градом, да страх кубарем. И руки в крови, и земля в глазах, и черви красные под ногтями, а все нет и нет Маланьи нигде, как будто выпорхнула из страшной могилы, которую ей жених уготовал. И ужас небывалый охватил его, когда, уставший и ополоумевший, сел он передохнуть и почувствовал, как чья-то рука холодно опустилась на его плечо. Оглянулся Макар — и мертвым пал.

Наутро вся деревня была на ногах. Накануне юродивый Сенька рассказал парням свой сон, и было во сне все точь-в-точь, как и случилось. Да только тогда, конечно, Сеньке никто не поверил, думали, совсем ополоумел, несет всякую дурь несусветную. А он, знай, все свое твердит да твердит: погубит Макар Маланью, в землю зароет, пухом покроет, она заплачет-завоет, вся белая встанет да рукой поманит, кто к ней подойдет, тот раньше со свету сойдет.

В то утро и вспомнили слова Сеньки, и всех тогда страх такой прошиб, что отродясь не бывало. Ведь взаправду Маланья пропала; как ни искали, нигде сыскать не смогли, и Макар мертвый лежит возле ямы страшной, непонятно зачем выкопанной. Как тут не поверить в дикие Сенькины рассказы, и верить не хочется, а делать нечего, все одно к одному. И Маланьину гору, так они прозвали это место, стали за версту обходить, особенно в час вечерний.

Так вот. Пропал мужик Матфей на Маланьиной горке, пропал ли за свою жадность, или так просто, никто теперь не знает. Только рассказывают, что накануне дед Ануфрий сон какой-то видел про гору эту. И с тех пор совсем заброшенным местом стала Маланьиная гора, поросла бурьяном непроходимым, да так поросла, что образовался там как будто лес какой.

А еще рассказывают, что ровно в середине сентября, как раз, когда все и произошло там, выходит Маланья во всей своей страшной красе на волно. Ходит меж живыми в человечесьем обличие, худого не делает, а все ж страшно из дому выходить. И еще рассказывают, что иногда видят девушку, одетую в свадебный белый наряд, сидящую на горе, сидящую и тихо рыдающую.



Владимир ЯРЦЕВ

СОН ДО РАССВЕТА

* * *

Шмель, слетевший с рекламы «Билайна»,
Утолит желтизну в черноте.
Крановщица! Ни вира, ни майна
Не спасают. Ни эти, ни те.

Воскресает зверек землеройка,
Котлован зарастает травой.
Крановщица, зачем эта стройка
И стрела над моей головой?

Прорицатели сядут в галошу,
Ну а лучше бы — сразу в тюрьму.
Опускай неподъемную ношу,
Я холодные стропы приму.

* * *

Говорят, что случай слеп.
Нет же! Зряч. На то и случай.
Как иначе, потрох сучий,
Заработает на хлеб?

Говорят еще, что этот
Костоправ ли, костолом
Применяет гнусный метод —
Караулит за углом.

И опять догадка мимо:
Безучастный сделав вид,
Грустный, словно пантомима,
Он на площади стоит.



Со ступеньки на ступеньку,
Из метро, к нему:
— Родной!
Как охота? — Помаленьку. —
И обходит стороной.

* * *

Левый
Нагрудный кармашек.
Думал: сердце.
А там — телефон.

* * *

Я безбытен. Выходит, безбеден.
И конфликт между мной и судьбой
Для меня абсолютно безвреден
И удар не опасен любой.

Раскулачить возможно ль идею?
В долговую внесенный тетрадь,
Не боюсь, потому что владею
Только тем, что нельзя потерять.

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АВТОБУСЕ № 26

Хвала отцам, что в мире есть
Автобус номер двадцать шесть.
С его маршрутом самым дальним
В пределах городской черты
И регулярным опозданием
И остановкою «Клесты».
Где у водителя в кабине
Изображение рабыни
Из кинофильма «Фараон».
Украшен также и салон.
Здесь всевозможные красотки
Вам демонстрируют колготки
И остальное заодно.
Не нравится? Смотри в окно.
Какие славные пейзажи!
Художник взял щепотку сажи,
Чуть-чуть кармина (напрокат),
Изобразив душевный кризис,
А проще говоря — закат.
А может, и Апокалипсис.
Да будет ли обратный путь,
Хоть завтра, хоть когда-нибудь
Из царства славного ВАСХНИЛа?
И ненаглядная Ненила,
Гречанка, замужем давно.
И заколочено окно.



* * *

Великих мертвых опасливо отстраня,
Трогательная в своей неискренности,
Провозгласила — не кого-нибудь, а меня
Мэтром Западно-Сибирской низменности.

Уж лучше б я побывал под троллейбусом
Или другая приключилась утопия.
Совестно ощущать себя негусом
Средне-Сибирского —
Абиссинского! — плоскостопия.

...Я люблю ее
(По-отечески, яко дочь),
И — пока не сгнули, не погибли мы, —
Вечность, пасть ненасытно не щерь:
Отношения наши
Незыблемы.

* * *

В старом парке цветет волчье лыко,
Ни беседок, ни светлых аллей.
Ну откуда взялась ты, улыбка,
Беспоощадная, словно улика, —
Для тебя! — господин дуралей?

Ну откуда и нежность, и жалость
Меж чубушников в парке пустом?
И она ничего не боялась,
Эта девушка, — шла и смеялась,
И глаза прикрывала зонтом...

* * *

Уже который год
Ищу забитый вход
В полузабытый дом.
Ищу калитку в сад,
Где много лет назад
Я бегал босиком.
Всё кажется: вот-вот,
Еще чуть-чуть, почти,
Ищу который год —
И не могу найти.

Но! Прошлое во мне,
Внутри, а не вовне —
Со светлым потолком
В квартирной полумгле,
Со ржицей-васильком
В стакане на столе,
С окном, раскрытым в сад,
И запахами трав.

Но в скарлатине брат,
Босяк по кличке Граф —
И женская рука
На детском лбу лежит:
Всё хорошо, пока
Вечерний сад жужжит.

Но в сумерках вползет
Беда сквозь щель в стене.
И доктор не придет.
И брат умрет во сне.

ФАНТАСМАГОРИЯ

Втиснут, вмят, не по доброму впихнут —
Против воли — в сомнительный поезд.
...Фонари на перроне не вспыхнут,
Упреждая погоню и поиск.
Пахнет пыльным сукном, сухоцветом,
Валерьянкой, дешевым кагором.
Тесно мне в нерестилище этом,
И в ушах отдаёт ре-минором.
Ни роптанья, ни детского плача,
Ни малейшей зацепки для слуха.
Это, видимо, все же не плаха.
Депортация духа.
То не мелкие козни Фролова,
Счетовода из тридцать второго,
Чей сигнал безупречно оплачен —
Доноситель и сам раскулачен.
То не игры вождистов в английских,
В чанкайшистских и прочих шпионов,
Но молчание дальних и близких.
Глухота миллионов.
То не вывих истории нашей,
Но невинною девочкой Машей
Невзначай обозначенный вектор —
Переменчивый ветер.

...Как ни ахал, ни охал, ни эхал,
Ни стонал на глухом перегоне,
Но до станции дальней доехал
В неприветливом общем вагоне.
Вот и вышел с предчувствием боли,
Но неладное что-то со мною:
Впереди — медоносное поле,
И попутчиков нет за спиною.
Где народ из гадючьей теплушки?
Снова призрачный сон до рассвета?
Клевера. Кукованье кукушки
За опушкой гремящего лета.

Александр УНТИЛА

ДВА РАССКАЗА

Рассказы

НОГА

Третий сводный отряд специального назначения от 54 отдельного разведполка ВДВ выходил на боевую задачу. Отряд отвечал за всю горно-лесную часть Веденского района до самой Грузии, и ранней весной 2001 года работы разведчикам хватало. Закопошились зимовавшие в селах боевики, разномастные воины ислама потихонечку поперли со стороны грузинской границы — кто на заранее оборудованные лесные базы, а кто просто — подкальмить где придется. Набирал обороты очередной сезон затянувшейся войны, которую с подачи руководства приказано было именовать контртеррористической операцией. Офицеры в отряде быстро переименовали ее в контрацептивическую, давно махнув рукой на стратегические цели и идеи и сведя насущные заботы к минимуму — сберечь солдат и, по возможности, собственное здоровье, без потерь дотянуть до конца очередной командировки.

Без потерь, правда, не обходилось. Мало того что многодневные сидения на засадах и пешие прогулки по зимним чеченским горам в поисках окопавшегося или выдвигавшегося на очередной промысел душья никому не прибавляли жизненного тонуса, из без того немногочисленного списка личного состава желтыми зубами выгрызал свою долю гепатит, от дистиллированной воды горных речек сыпались зубы. Содержимое сухих пайков, неизвестно по какому принципу скомплектованное, то цементировало наглухо желудки, то вызывало повальную диарею. Обморожения, потертости, фурункулы считались личным недосмотром их обладателя, за такую напасть от начмеда можно было получить разве что пинок под зад — в качестве профилактики на будущее, да временный титул дежурного чухана.

23:00, 03 марта 2001 г. Колонна пошла. Тихо, без света, почти на холостых. Три БТРа с личным составом на броне, «Урал» с боеприпасами и командно-штабная «шишига»¹. Не болтать, не курить, наблюдать во все стороны. Головной БТР ведет колонну на ощупь — ни звезд, ни силуэтов гор на чуть бледном небе. Со всех сторон морозящая снегом непроглядная темень. Раскисшая ледяной глиной колея осталась слева, движение — по обочинам. На инженерную разведку времени нет, к рассвету надо быть под Элистанжами, встать, закрепиться, замаскироваться.



Первая группа спецназа сходу выдвигается и садится на засаду, остальные тихо налаживают временный быт передвижного командного пункта — с этой точки 14 дней отряду работать по окрестным горам. Не дай бог засветиться на марше или при оборудовании временного лагеря: духи — в лучшем случае — затаятся, отойдут, и вся работа пойдет прахом. В худшем — понаблюдают, подтянутся и накроют. Хоть и малочисленный, отряд специального назначения — желанная добыча для любого полевого командира.

Две недели при минимуме тепла и пищи. Фонарями не пользоваться, костры не жечь, одежду сушить на себе. Сон — урывками. Две группы на засадах или в разведке, одна в охране. Позади остался базовый лагерь — более-менее обжитый «Шанхай» с нехитрым уютом, печками, самодельными банями и чахлым, вечно большим электричеством от дизель-генераторов.

02:20, 04 марта 2001 г. Подморозило, небо очистилось. Глиняная жижа схватилась коркой, хрусталем лопается под скатами крадущихся БТРов, глушит ровный тихий свист турбированных дизелей, демаскирует.

На посветлевшем своде проклюнулись ночные светила, обрисовались силуэты гор. Ориентироваться стало легче.

— Омич — Палычу.

— Связь.

— Две тройки.

Палыч — командир механизированной группы и зампотех отряда. Колонну ведет он. Капитан, 24 года, тянет уже третью командировку. У Палыча давно нет имени и фамилии, для офицеров — и воинского звания. По отчеству, ставшему позывным, к нему обращается даже командир отряда — грозный подполковник Шувалов, он же Омич.

Опытный, знающий, надежный и невозмутимый офицер, чемпион округа по боксу, Палыч внушал благоговейный ужас солдатам. Он мог днем и ночью провести колонну вне дорог в любом направлении. При полном отсутствии запчастей починить БТР. За два месяца из любого сопливого призывника, которого мама перед армией не научила умываться, подготовить хорошего механика-водителя или пулеметчика. Он не орал, не топал ногами, не раздавал зуботычины и практически не наказывал бойцов за их многочисленные «косяки». Провинившемуся десантнику он смотрел в глаза и бросал одну только фразу, которая надолго делала несчастного посмешищем. Самой большой катастрофой для солдата было попасть к капитану на профилактическую беседу с глазу на глаз — общался с «преступником» Палыч в этом случае почти на равных, угощал чайком и сигаретами, но даже у самого отчаянного раздолбая в итоге долго шевелились от ужаса пеньки волос на голове, холодный пот тек за шиворот. Воин икал и пускал газы, тряся от стыда и осознания собственной ущербности.

«Две тройки»: колонна, стой! Метрах в сорока по курсу — две пары зеленых угольков. Палыч поднял «Вал»², приник к ночному прицелу. Волки. Две матерых тени с горящими светодиодами глаз. Стоят, не уходят, не шевелятся. Капитан чуть повел стволом, потянул спуск. Тихонько чавкнул затвор, между передних лап первого зверя зеленоватым облачком взметнулся фонтанчик мерзлой земли. Второй волчара — видимо, помоложе или самка — резко присел, подогнув хвост между задних ляжек. Вожак невозмутимо потряс передними лапами, досадливо стряхивая стегнувшие по ним льдинки. Звери продолжили путь.

— Омич — Палычу.

— Да.

— Две пятерки.

«Две пятерки»: можно двигаться дальше. Колонна пошла.

² «Вал» — автомат специальный, калибр 9 мм, имеет интегрированный прибор бесшумной и беспламенной стрельбы.



05:30, 04 марта 2001 г. Вышли на место. В галогеновом мерцании увязнувших в дымке звезд наметились очертания небольшой поляны с провалами старых капониров под технику. Когда-то, еще в первую кампанию, на этом месте стоял артиллерийский дивизион, стоял основательно и плотно. Вгрызшись в землю, обложившись мешками с песком и окутавшись паутиной колючей проволоки, дивизион контролировал гаубичным огнем добрую треть Веденского района. Поляна чуть возвышалась над рельефом, была замаскирована подлеском, имела хороший обзор.

— Странник — Омичу.

— Связь.

— Проверь... Грач, охранение.

Приступили к работе саперы, проверяя место будущей стоянки. Солдаты минутно останавливались, присаживались, поднимая левую руку, и осторожно ковыряли поляну щупами и пехотными лопатками.

06:30, 04 марта 2001 г. Омич собрал командиров. Вытирая пот, подошел Странник. Над командиром саперов колыхался светлеющий воздух, от БЗК³ шел пар.

— Долго еще?

— Звенит все, товарищ подполковник. Банки, гильзы, колючка ржавая... Если все копать — часа два как минимум.

Шувалов на секунду задумался, потер кирпичный подбородок.

— Так, хорош, не успеваем. Палыч, распредели технику по капонирам и загоняй. Грач, готовь группу на засаду. Татарин, с тебя охранение. Ставь аккуратно, в кусты пусть не лезут. Странник, как рассветет, вокруг лагеря проверишь, могли растяжек понаставить.

В самый глубокий капонир Палыч загнал «Урал» с боеприпасами. Подошел к Страннику:

— Николаич, капониры проверял?

— Не все успел, Палыч. Там все звенит, мусора накопили кучу.

— Эх...

На рассвете Странник снял в кустах вокруг лагеря четыре растяжки. Гранаты были относительно свежие, не проржавевшие. Свежими были и накопанные гильзы и банки, как будто специально принесенные и рассыпанные вокруг да около для усложнения работы саперов. Сомнения, возникшие накануне, заворочались, как упитанные ежи в корзине, закололи душу.

— Местечко-то наше засвеченное, Странник.

— Да я уж понял... — сапер досадливо сплюнул, — ждали нас тут, или предусмотрительные очень. Странно, что на въезде фугасик не поставили. Видимо, очень хотели, чтоб мы въехали.

— Что командир?

— Согласен. Думает, спалили нас. Скорее всего, у душья за такими местами постоянное наблюдение. Какой-нибудь бача раз в два-три дня делает обход, смотрит, не ведут ли свежие следы к местам старых стоянок.

— Думаешь, подтянутся? — Палыч щелчком стряхнул с плеча снежинку.

— А хрен их знает! Могут. Может, так, из минометов постреляют...

Шувалов принял единственно возможное в сложившейся ситуации решение — доложив в Ханкалу о случившемся, отправил все три группы на засады, на пути возможного подхода боевиков. В лагере оставили броню и минимум личного состава. Организовали круговую оборону, наблюдение за дорогами. На случай возможного обстрела из минометов или эрэсами⁴ решено было восстановить старый блиндаж. Им занялись саперы. Расчистив вход, Странник послал бойца на разведку.

³ БЗК — боевой защитный комплект. Включает противоосколочный комбинезон, бронежилет 5 уровня, защитный шлем.

⁴ РС (эрэс, нурс) — неуправляемый реактивный снаряд.



Воин сунул в жерло укрытия миноискатель, и тот сразу истошно завопил зуммером. Осторожно потыкали щупом. В блиндаже было по щиколотку воды, схваченной ледяной коркой, из которой, как остовы затонувших кораблей, торчали пустые цинки из-под патронов. Посветили фонариком на сочащиеся влагой стены, под покрытый сосульками и мерзлыми поганками бревенчатый потолок... Есть. Еле заметная проволочка, на уровне глаз. Грамотно, ничего не скажешь. Заходя в незнакомое помещение, человек обычно светит по сторонам и себе под ноги, не замечая того, что находится перед его носом. Снимать растяжку пока не стали — кто его знает, сколько раз и где этот фугас продублирован. Рассеялись последние сомнения. Духи упорно ждали, когда кто-нибудь встанет на это место, ждали и готовились.

Омич приказал в случае обстрела прятаться в БТРах и сразу же выводить машины с площадки, и теперь сидел над картой, грыз карандаш и ломал голову, куда уводить отряд. Двигать в базовый лагерь тем же путем было опасно, просить пехоту выставить блокпосты — окончательно запороть всю операцию.

Тянулся пасмурный день. Группы мерзли на засадах, потихоньку жевали галеты и холодную тушенку. Редкие снежинки кружили белыми мухами, ныряли в стыльную грязь.

16:46, 04 марта 2001 г.

— Омич — Татарину. Три двойки, по руслу. Вижу восемь. Вижу десять... двенадцать...

Духи шли по руслу. Шувалов быстро прикинул расклад. Нормально. Направление подхода угадано, мины выставлены, группа успела окопаться. Грач чуть сместился, отрезая боевикам пути возможного отхода. Отряд был небольшой, двенадцать «чехов», вооружение стрелковое, два пулемета, гранатомет — наверняка разведка. Шли грамотно, головкой, боковые дозоры и тыл, но уж больно торопливо — видимо, не терпелось засветло выйти к лагерю и организовать наблюдение. Здоровенькие, упакованные, видно, что не первый год воюют, а вот дисциплина в подразделении хромает, идут вроде осторожно, а веточками похрустывают, стволами кусты цепляют, в ядре еще и ругаться умудряются полупшепотом.

Головной дозор сняли из двух снайперских винтовок и сразу растащили по кустам, забрали радиостанцию. Русло ручья в этом месте делало небольшой изгиб, остальные «бородатые» держали дистанцию метров в сорок и не услышали, не увидели случившегося. На духовский запрос по станции ответили двумя щелчками тангенты — заблаговременно подслушанный условный сигнал. Главные силы противника двинулись дальше, дошли до поворота, Татарин произвел подрыв установленных мин. Четыре осколочно-заградительные мины разом грохнули, разметав клочья по деревьям. Боковые дозоры и тыл боевиков тут же залегли, открыв стрельбу во все стороны, но группа Татарина вжалась в отрытые окопчики, слилась с мерзлым мхом, отмолчалась. Не получив ответа, духи успокоились. Решив, что заминированное русло никем не прикрывалось, завыглядывали из укрытий, закаркали гортанными голосами. Потом двое полезли в ручей, осмотрели тела подорвавшихся, собрали оружие и закарбакались вверх по склону. Тихо всхлипнули бесшумные винтовки, два трупа, бряцая оружием, покатались на дно. Немногочисленные остатки банды, уже не прячась, ломанулись назад по руслу, прямо на пулеметы Грача. Тут уже деликатничать не стали, бойцы прилежно отработали по патронному коробу.

Шувалов был доволен. Минусы обернулись плюсами, среди разведчиков раненых и убитых нет, результат впечатляет. Шуму, конечно, наделали, но тут уж не до жиру. Забито двенадцать «бородатых», если их основные силы где-то на подходе — вряд ли сунутся, услышав звуки боя и потеряв со своими связь. Трофейная станция пару раз что-то обеспокоенно спросила на чеченском и замолкла — «духи» ушли на другую частоту. Сейчас ноги в руки и сваливать отсюда. Жаль, погода хреновая, вызвать бы вертолеты, может, получилось засечь остальных и грамотно навести артиллерию... Надо спешить. Пока светло — есть шанс проскочить.



18:00, 04 марта 2001 г.

— Палыч — Омичу.

— Связь.

— Все, отход, «ленту» на дорогу.

БТРы и «шестьдесят-шестая» выползли на дорогу, построились в походный порядок. Наводчики хищно поводили жалами крупнокалиберных танковых пулеметов, обшаривая в прицелы стремительно темнеющие склоны. Грузенный «Урал» беспомощно елозил в своем укрытии — за день жирная глина подраскисла, солидолом забила протекторы колес. Из леса потянулись разведчики — пыхтящие, нагруженные трофейным оружием и снаряжением. Развернули охранение, полезли на броню. Водитель «Урала» — бритоголовый, с оттопыренными ушами боец по фамилии Клюков, смешно пучил глаза и вытягивал шею, отчаянно газовал.

Палыч подошел к «Уралу», глянул в капонир, открыл дверь в кабину:

— Слушай сюда, Клюква. Я тебя сейчас бэтээром зацеплю, как трос натянется, дашь на первой полный газ, как вылезешь — сразу нейтралку и по тормозам. Понял?

— Так точно...

— Давай...

Палыч выдернул из колонны замыкающий БТР, подогнал задом, завел буксирный трос. Отошел метров на двадцать — не дай бог лопнет — срежет, как бритвой. Махнул механику. БТР пыхнул соляжкой, потянул, Клюков дал газу, «Урал», поднимая фонтаны жидкой грязи, полез из своей ловушки...

18:10, 04 марта 2001 г. Земля встала вертикально и с размаху ударила Палыча по затылку. Пропали звуки, смазалась картинка. Капитан попытался вдохнуть — не смог. Подвигал челюстью, выплюнул что-то соленое, дунул в нос, прочищая ходы. Поморгал глазами. Прямо по курсу было пасмурное небо, под ногами пустота. Наконец до него дошло, что он лежит на спине, впечатавшись в огромную лужу, ледяные струйки уже весело текут за шиворот, холодят гудящий затылок. Сразу встать не получилось, Палыч перевернулся на живот, встал на карачки, утопив в жиже ладони. Закашлялся, выхаркивая из легких комья глины. Все действия казались невообразимо затянутыми, как при замедленной киносъемке.

Так, «Урал»... Где он? Поднялся, помотал головой...

Грузовик скатился назад, в капонир, кабина была разворочена, левое переднее колесо залетело в кусты.

На выезде из укрытия чернела воронка, над которой все еще висело в воздухе сизое облако, напоминающее небольшой ядерный гриб. Возвращающееся обоняние резала вонь солярки и тротиловой гари.

«Оружие?» — обожгла мысль. Палыч поискал вокруг себя. Автомат оказался в руках, только держал его капитан как будто двумя кусками дерева. Забросил оружие за спину и, шатаясь и потирая отсушенные ладони, побежал к «Уралу».

Грузовик наклонился на левый безколесный бок, крыша вздыблена, искореженную дверь заклинило. Срывая ногти, тратя долгие драгоценные секунды, удалось ее открыть. Палыч встал на подножку, хрустнул стеклянным крошечком. Урал накренился еще, застонал рваным железом. Вот он, Клюков, как обычно, выпучил свои глаза, затянутае красной сеткой полопавшихся сосудов, плянется с ужасом и непониманием.

Секунда на оценку обстановки. Боец зажат между сиденьем и рулем в районе таза, голову держит, значит, шея не сломана. Странно, потолок кабины над его головой вмят, явно, здорово припечатался. Правая рука сломана и неестественно вывернута, ниже локтя вообще сплошное месиво, а дальше... Дальше. Левую ногу не видно, теряется где-то под остатками приборной доски. Пах разворочен, лоскутья и клочья ваты — остатки штанов — густо пропитаны кровью. Правая нога... Правая разбита в районе бедра, разорвана артерия — кровь хльщит пульсирующими толчками, скатывается ртутными шариками по снежно-белому обломку бедренной кости.



Клюков пялится неотрывно, очевидно, не понимая, что с ним произошло и что ему делать — боли он, по всей видимости, еще не чувствовал из-за шока. Палыч глянул на него поостроже, тихо сказал:

— Рот закрой, воин. Нормально все.

Боец немедленно захлопнул отвисшую челюсть, длинно, со свистом выдохнул, путив из угла рта кровавые пузыри, и вдруг обмяк, мешком сполз на сиденье.

Все. Надо вытаскивать его отсюда. Палыч обернулся, хрипло проорал через плечо:

— Жгуты и промедол!

Правая нога солдата оказалась обмотанной вокруг рычага переключения передач, держалась на лоскуте кожи и лохмотьях ватных штанов. Недолго думая, Палыч вытащил нож и обрезал все это. Дернув вниз остатки штанины, проткнул ее сбоку лезвием, пару раз крутанул, затягивая импровизированный жгут. Водительское сиденье со своих креплений было сорвано. Капитан вышиб его пинком в глубь салона, потянул молчавшего Клюкова на себя. Левая нога выскользнула из своего плена, изгибаясь в тех местах, где ей совсем не положено. Все ясно, тоже раздроблена. Пачкаясь в липкой крови, подхватил бойца под тощий зад, передал в чьи-то подставленные руки.

Стали подходить разведчики, прибежали командиры групп. Доставали промедол, потрошили свои индивидуальные перевязочные пакеты. Кто-то не сдержался, запричитал:

— Ой, бля...

— Ой, ё...

Клюков задышал, оглянулся безумными глазами и заскулил.

— Тихо все! На хрен ушли отсюда! — Палыч поймал взглядом вытаращенные глаза первого попавшегося разведчика. Тихо и внушительно сказал:

— Сейчас жути нагоните, он запаникует и умрет. Все нормально, всем улыбаться, ясно? И вообще, дуйте по своим местам, не дай бог, обстрел начнется.

Подошел Омич, разогнал разведчиков.

— Ты как сам-то, Палыч?

— Нормально...

Капитан дошел до БТРа, постучал в броню прикладом.

— Тимоха, цел?

— Так точно...

— Воды умыться дай... И бушлат чистый. Пока механик возился внутри машины, Палыч повернул на себя зеркало заднего вида, глянул... Да уж, ну и рожа. Весь в крови и глине, на черта похож. Скинул бронежилет, бушлат, ставший комком сырого теста. С пятилитровой пластиковой баклажкой подскочил Тимоха.

— Вот, товарищ капитан... Из силового, теплая...

— Полей...

Палыч умылся, стуча зубами, «теплой» водой, натянул чистый бушлат и пошел помогать доктору.

Клюков, обколотый лошадиной дозой промедола, наконец потерял сознание. Доктор уже навертел из бинтов целый футбольный мяч и затолкал его солдату в пах, наложил нормальный жгут на оторванную ногу и теперь накладывал шины на переломанные конечности.

— Как он, Док? — мысли тяжело ворочались в гудящей голове, заплетался язык.

— Хреново... Крови потерял много, если внутренние повреждения есть — вряд ли довезем. Омич вертолет пошел вызывать... тут и так целый набор, еще и нога... «Нога!!!» — мысль молнией мелькнула в разжиженном контузией мозгу.

— Тимоха!

Примчался Тимоха, увидел распростертого Клюкова, уронил челюсть и завис. Палыч вывел его из ступора подзатыльником, отвел в сторону.



— Тимоха, лезь в «Урал». Там осталась нога Клюкова, возьми ее, ботинок и штанину снимешь, родишь чистого снега — вот с этой горки, дальше не лезь. У тебя две РШГ⁵ лежат в десанте, снимешь с них целлофан. В один замотаешь ногу, вложишь в другой, а промежуток забьешь снегом. Если летчики быстро прилетят, может, еще и пришьют. Понял?

Тимченко умчался, Палыч, преодолевая тошноту и мотая головой, помогал Доку. Начмед что-то говорил, но пчелы, свившие улей в черепной коробке и отчаянно гудевшие, мешали его слушать.

— Слушай, Док, сустав у него цел тазобедренный?

— Да вроде...

— А яйца?

— Там все всмятку, Палыч. Мягкие ткани все в лоскуты. Как он жив-то еще, не пойму. Я вот помню...

— Слышь, Димон, а ногу ему можно пришить? Я сказал, чтоб ее в снег замотали. Ну, я читал где-то, что так можно сохранить оторванную часть...

— Не знаю... вряд ли. Судя по всему, ему с бедра вынесло кусок, я из-под бушлата две горсти обломков выгреб... Хотя можно вставить штырь металлический, а кожу и мышцы со спины вырезать... Ты сам-то как? Ого, у тебя кровь из уха... — доктор опять затрепал языком, видно, ему необходимо было говорить, чтобы отвлечь себя от страшной работы.

Опять заморосило. Клюкова бережно перетащили в БТР, накрыли одеялами. Док с трудом нашел у бойца вену, воткнул иглу, подвесил под броневой потолок какой-то пакет.

Снаружи забарабанили:

— Палыч!

— Чё?..

— Не «чё», а «я»... вылезай.

У БТРа стоял Омич.

— Как боец?

— Жив пока...

— Я с Ханкалой связался. Двигаться нам нельзя, и вертушка придет только утром. Темно уже и погоды нет... — комбат выругался. — Расставь бэтээры по периметру охранения и иди к бойцу. Продержи мне его до рассвета, слышишь, Палыч? Тебя солдаты слушаются, вот и прикажи ему, чтобы не умирал...

— До рассвета... Ногу не пришьют, поздно будет.

— Какую ногу? — не понял Шувалов.

Палыч рассказал ему про ногу.

— Ниче... Снег чаще меняйте. Бывают исключения, — обнадежил комбат, и, развернувшись, ушел в темноту.

23:05, 04 марта 2001 г. Палыч полез в десант. Клюков очухался, застонал, разлепил глаза.

— Товарищ капитан... Товарищи капитаны... где я?

— В бэтээре ты, Клюков. Спи давай, чего проснулся?

— Я подорвался, да?

— С чего ты взял?..

Клюков с трудом сглотнул, хотел кашлянуть, но не смог.

— Я знаю, подорвался... Сильно?

— Зацепило маленько... Меня самого тряхнуло, голова гудит. Жить будешь. Не истери мне тут!

— Не, я нормально... Я только вот одного не пойму, товарищ капитан...

Клюков зажмурился, из глаз ручьями потекли слезы — промедол отпускает, догадался Палыч.



— ...Почему я, товарищ капитан? Ну почему я? Столько народу, командировка, считай, к концу подходит, и все целы, почему я-то? — губы водителя задрожали, в глазах вспыхнуло отчаянье.

Все, сейчас сорвется, понял Палыч. Ему жалко, невообразимо жалко было Клюкова, но он понимал: пожалей сейчас бойца — и тот зарыдает, забьется, замечется, выдерет сломанными руками капельницу, разорвет бинты. Надпочечники выплеснут в кровеносное русло адреналин, повысится давление, сердце закачает — погонит и без того скудные остатки крови из сочащихся ран. Жалость поставит их на один уровень, а Клюкову сейчас нужен командир. Он должен чувствовать рядом силу, бояться и слушаться ее, не позволять себе расслабиться. Палыч поймал мутный взгляд Клюкова, спокойно и зло сказал:

— Ты охрелел, мартышка? Ты что, хотел, чтобы Тимоха подорвался или я? Тебе легче было бы, воин?

— Да нет, я не о том...

— Вот и помалкивай лежи, силы береги. И вообще ты у нас везунчик, лежишь тут живой, болтаешь всякую хренотень. Починят — плясать будешь. Нам еще два месяца корячиться, а ты сейчас домой улетишь, к подружке, она тебе, герою, плюшки будет в госпиталь таскать...

— Подруга... — Клюков вылупил глаза. — Товарищ капитан, а у меня... там... цело все?

— Ясен пень, — соврал Палыч, поняв, что с подружкой допустил осечку, — ты вон на доктора так возбудился, что ему пришлось твое полено к ноге примотать. Ты может у нас нетрадиционный, а, солдат?

Клюков попытался улыбнуться, его перекосило.

— Тебе больно, воин? — встрял доктор. Палыч зыркнул на него, сильно пихнул локтем в бок. Не хватало еще, чтоб солдат сконцентрировался на своих ощущениях.

— Больно...

— Док, на хрена ты спросил? — зашипел Палыч. — Коли теперь промедол.

— Нельзя, и так уже шесть тюбиков.

— Ну а на хрена спросил тогда? — оборачиваясь к солдату: — Клюков, ты терпи, понял? Сейчас вертолет придет — и все, конец. Госпиталь, белые простыни, медсестры... Терпи, родной... Терпи, с-сука!

Боец заметался, пошел испариной. Впал в забытье, заскулил. Вкололи еще промедол. На возражения доктора Палыч резонно заметил, что допустимые дозы рассчитаны с большой перестраховкой, а если боец помрет от боли, то доктор ляжет рядом с ним.

05:30, 05 марта 2001 г. Клюков то терял сознание, то просыпался, бредил и стонал. Палыч то материл его последними словами, то успокаивал, смачивал распухшие горячие губы водой и чаем, выдавливал по капле из ватного тампона солдату в рот. Он рассказывал ему байки и анекдоты, заставлял слушать, смеяться и смотреть в глаза. То называл Клюкова братом, то уродом маминым, плаксивой телкой, макакой и позором ВДВ... Заставлял рассказывать про свою деревню, читать стихи, исполнять Гимн России... Палыч тянул его на тросах нервов, на канатах сухожилий, усилием воли выдирая и сплетая их из собственной плоти, физически ощущая, как звенят они от натуги, дрожат перетянутыми струнами, удерживая ускользящее сознание солдата, как потрескивают, рвутся, кучерявятся кольцами их отдельные пряди.

Тросы жгли руки, резали ладони, капитан наматывал их на локти и тянул так, сжимая челюсти от напруги, что скулы, казалось, вот-вот прорежут кожу, раскрошатся зубы, лопнут мелкие сосуды и вены на руках.

Клюков жил, держался, цеплялся за капитана. Он боялся умереть, зная, что нарушит его, командира, волю, и Палыч будет недоволен им, может, даже назовет



солдатом-обезьяной. В его обескровленном, изломанном теле теплился уголек духа и твердая вера в командирское слово. Если Палыч сказал, что Клюков выживет, значит, так оно и будет. Не может не быть.

Дважды заглядывал Омич. Приходил Странник, рассказал про фугас. Безоболочечный, замыкатель прикопан и засыпан гильзами сантиметров на семь. Когда загоняли «Урал», земля была подмерзшая — он и не сработал, а за день подтаяло... Да Клюков еще, как назло, буксанул, колесами сверху поелозил. Источник питания — японский аккумулятор большой емкости, вынесен далеко в сторону, закопан на метр и утеплен. У фугаса была и вторая часть, гораздо более мощная, и рвануть она должна была прямо под кузовом груженого боеприпасами «Урала». Части устройства соединял детонирующий шнур, но он почему-то не сработал.

06:30, 05 марта 2001 г. Забрелжил рассвет. Клюков уже ничего не соображал. Он осунулся, посинел, ничего не говорил и не слышал, только чуть шевелил побелевшими губами. Палыч уже просто сжимал его единственную целую руку, словно пытаясь через кожу перекачать свою жизнь в тряпичное тело солдата. Усилием воли подгонял неторопливые секунды.

Пришел вертолет, грузно коснулся колесами поляны. Поднял ледяную пыль, змеями погнал по земле оранжевый дым пирофакелов, обозначавших место посадки. Два «крокодила»⁶ сопровождения кружили в воздухе. Клюкова погрузили, за него тут же взялись ханкалинские врачи — воткнули плазму, одели маску, еще что-то...

Палыч шел от вертолета к БТРу. Поднял глаза, увидел, что навстречу ему, скользя по грязи, бежит Тимоха, прижимая к груди пакет.

— Товарищ капитан, нога, ногу забыли!

Ё-мое... Палыч вырвал у солдата пакет, бросился к вертолету. «Восьмерка»⁷ уже закрыла боковую дверь, готовясь к взлету.

— Стойте, стойте, черти! — кричал капитан. — Ногу заберите!

Дважды его сбивало воздушным потоком, Палыч падал и снова бежал. Наконец вертолет оторвался, и, заложив с места крутой вираж, полез в светлое небо.

07:05, 05 марта 2001 г. Палыч сидел, прислонившись к колесу БТРа, злые слезы текли по лицу. Дикое напряжение последних суток отпускало, выходило нервной электрической дрожью. Капитан вдруг обозлился на себя, встал, размазал копоть рукавом. Подошел доктор, принес в железной кружке граммов сто спирта. Палыч молча проглотил, запивать не стал.

— Доктор, а ногу-то не забрали. Не успел я отдать. Теперь все, не сохраним? Может, с колонной центроподвоза отправить?

— Не, Палыч, теперь все. И так-то шансов мало было.

— Эх, баран я, надо было ее сразу у Тимохи забрать!

— Разверни, давай хоть посмотрим, — предложил Док.

Разрезали верхний пакет, вытряхнули снег. Внутренний пакет оказался неестественно маленьким и мягким. Развернули, высыпали... Кусок ступни с пальцами, пятка, куча разрозненных лоскутов плоти и отломков кости, самый большой — величиной с ладонь.

— Тимоха! Что это за херня, воин?!

— Нога, товарищ капитан... — испуганный Тимоха таращил из люка заspanные глаза. — Я в «Урале» окошки позавесил и всю ночь собирал с фонариком. Все собрал, до последней крошки... Не пришьют?

Палыч молча, на автомате сгреб ногу обратно в пакет, бережно положил в БТР.

— Нормально все. Заводи давай и вставай в замыкание. Мабута⁸ уже до нас блокпосты выставила, двинемся сейчас.

⁶ «Крокодил» — боевой вертолет МИ-24.

⁷ «Восьмерка» — транспортно-боевой вертолет МИ-8.

⁸ «Мабута» — общее название, придуманное десанниками для подразделений, не относящихся к ВДВ. Интонация при использовании — от снисходительно-ироничной до презрительной.

07:45, 05 марта 2001 г.

— Палыч — Омичу.

— Связь.

— Готов?

— Да.

— Три пятерки.

— Понял.

Колонна пошла...

* * *

Клюков выжил. Из Ханкалы его перевели в Ростов, потом в Москву, в госпиталь Бурденко. Солдату пришлось ампутировать и левую ногу ниже колена, и правую руку выше локтя. Заштопали легкое, удалили селезенку и еще бог знает сколько всего. Клюков на удивление стойко переносил тяжелейшие операции, держался и даже пытался шутить. Когда же его, наконец, перевели в палату и разрешили посещение родными, боец сломался под их сочувственными взглядами и похоронным нытьем. Он причитал и капризничал, как маленький, размазывал по лицу слюны и слезы, ревел сутки напролет. Бился в истерике, швырялся посудой и ничего не ел. После дикой дозы успокоительного впадал в жар, липкий бред, все стонал, грозил какому-то Палычу, обещал найти его и убить за то, что не дал ему, Клюкову, умереть, заставил жить обрубленным кастратом с привязанной до конца дней к культе бутылочкой...

Как-то, месяца через полтора, уставшая, перепуганная мать бочком протиснулась в палату. Клюков лежал и, безучастно уставившись в потолок, изучал трещины в побелке.

— Опять ничего не ел... Осунулся-то как, сынок, кожа да кости, прям светишься весь. Тебя лекарствами пичкают, кушать надо...

За окном шумела буйная молодая листва, верещали птахи. Четвертый этаж. Сегодня ночью он сделает это, лишь бы окно не закрыли. Любой ценой, с помощью целой руки и зубов, перелезет на подоконник, совершит свой последний в жизни прыжок. Не крайний, как говорят в ВДВ, а именно последний.

— Письмо тебе, сынок... Из части, что ли. Москва-400, капитану Путилову. Прочитать тебе? Клюков заморгал, оторвал глаза от гипнотической трещины в потолке.

— Дай сюда... Сам я.

С трудом разорвал конверт, вытащил исписанный с одной стороны листок.

Солдат читал письмо и менялся на глазах. Обрисовались скулы, появился блеск в глазах. Он живо пробежал строчки, уже не в первый раз перечитывая написанное. Наконец опустил листок на грудь, вытянулся, подобрался. Казалось, он сейчас стоит в строю — только почему-то лежа. В глазах — деловая озабоченность, на впалых щеках — впервые румянец. Вошла старая докторша, осеклась на полуслове, оторопело уставилась на пациента.

Клюков расправил на груди тельняшку, перевел на мать повеселевший взгляд.

— Мам, принеси воды теплой, бритву, щетку зубную. Я тебе сейчас адресок черкану, сходишь в Союз ветеранов. Скажешь, капитана Путилова солдат, пусть помогут чем смогут. И книжек принеси — в институт восстанавливаться надо. Скоро командир придет...

Будем жить!

P.S. Как мать ни просила, письма ей Клюков так и не показал. Сын часто его перечитывал и хранил как величайшую драгоценность. Она ревновала и не могла понять — какие такие неведомые слова смог найти командир, и почему их не подсказало ей материнское сердце. Ей однажды удалось случайно разглядеть первую строчку. Письмо начиналось словами:

«Клюков, обезьяна...»



ЗАПАХИ



Специальная сводная группа ФСБ подорвалась в районе моста через реку Басс. «Фэйсы» выехали ночью на адресное мероприятие в одно из сел Введенского района. БТР, выделенный от третьего сводного отряда специального назначения, шел головным, за ним бронированный «уазик». Основная масса народа, во главе с командиром, облепила «броню». Операцию планировали провести быстро — информатор предоставил точный адрес, ставка была на эффект неожиданности. Хозяин одного из домов, по предоставленным данным, скрывал у себя подстреленного накануне боевика, необходимо было это дело проверить. Инженерную разведку решили не проводить — иначе какая уж тут внезапность...

Прокравшись вброд через обмелевшую речку параллельно мосту, БТР и УАЗ полезли вверх по грунтовке, ведущей в село. Тут уже по обочине двигаться возможности не было — заборы крайних домов вплотную прилегали к колее. Проволочную паутину, натянутую метрах в трех над дорогой, естественно, никто не заметил.

Командир механизированной группы, капитан Панов, в чьем хозяйстве числились БТРы, давно поснимал с машин штыревые антенны. Толку от бортовых радиостанций было мало, для связи экипажи (спасибо спонсорам) использовали более удобные и надежные «Стандарты». Без антенн риск поймать растяжку «верхового» фугаса, которые вошли в моду в этом сезоне, существенно снижался. Бронетранспортер к тому же был оснащен генератором помех — громоздким электронным устройством, «гравипапой», как ее обозвали разведчики. Хреновина эта глушила радиоволны в широком диапазоне и призвана была свести к минимуму опасность подрыва на радиоуправляемом взрывном устройстве. Аппаратура имела комплект своих — довольно длинных — антенн и кучу недостатков. Помимо сигналов, посланных со спутниковых телефонов, пейджеров и радиостанций затаившихся с видеокерами по обочинам боевиков, она успешно глушила всю собственную связь разведчиков, и, по непроверенным слухам, крайне отрицательно влияла на мужскую потенцию. К тому же бронетехника часто использовалась для «тихий» ночных операций — точечных зачисток, вывода и эвакуации разведгрупп, когда элемент скрытности являлся важнейшей составляющей успеха. Все пути-дороги так или иначе проходили вблизи населенных пунктов, и если крадущуюся в темноте на почти холостых оборотах машину, лишенную всех световых приборов, разглядеть было не так-то просто, то по сбившемуся сигналу спутниковых «тарелок», по испортившейся картинке в своих широкоэкранных плоских телевизорах несчастное и угнетенное чеченское население соображало, что на их улице гости. В двухэтажных халупах из итальянского красного кирпича, «восстановленных» на деньги русских налогоплательщиков, начиналась деловая суета. Задерживались занавески за тройными стеклопакетами, из укромных мест извлекались спутниковые телефоны. Днем во дворах начинали чадить сигнальные индейские костры. Система оповещения работала слаженно и четко. При планировании таких операций командиру отряда приходилось из двух зол выбирать меньшее — либо скрытность и связь, либо радиозащита...

Чем зацепили ту проволочку — антенной «гравипапы» или просто головой сидевшего на броне бойца, уже никогда не узнать, но фугас, начиненный болтами и гайками, сработал безупречно. Рвануло справа. Из девяти человек, расположившихся на броне, пятеро погибли сразу, остальных здорово посеколо. Стальные элементы взрывного устройства прошивали бронешилеты и разгрузки, как пули газету. Командиру группы, сидевшему справа от механика-водителя в открытом люке, волной оторвало голову вместе со «сферой», офицер мешком сполз в десант. Так получилось, что своим телом командир прикрыл бойца, сидевшего за рулем. Рядовой Потапов вел машину «по-походному», положив под задницу короб с патро-



нами для крупнокалиберного танкового пулемета, голова торчала из люка. Солдат ослеп-оглох на пару минут, но остался цел. «Уазик», двигавшийся за БТРом на удалении, не пострадал, если не считать срезанного зеркала заднего вида.

Капитан Панов на этот выезд не поехал. Обычно командир мехгруппы выезжал тогда, когда на задачу выделялось две и более единицы бронетехники. В его обязанности входило прикрывать тяжелым вооружением, а при необходимости — и бронированным телом машин основные силы колонны, корректировать огонь всех «коробочек». Если же выезжал один БТР, с этими обязанностями справлялись сами командиры разведгрупп. Палыч возился в парке, перебирая с двумя бойцами «стуканувший» двигатель. Время близилось к полночи, пора было закругляться, но оставлять работу недоделанной не хотелось. В маленькой палатке, приспособленной под ремонтный бокс, тускло светила лампочка, трещал приемник. Пахло теплым отработанным маслом, кофе и жженым сухим спиртом — на самодельном таганке коптилась железная кружка. Примчался посыльный по отряду, сунул под брезентовый полог голову в каске:

— Товарищ капитан... Два бэтэраа на выезд.

— Что случилось? — Палыч оторвался от работы, вытер лоб замасленным рукавом.

— Не знаю... Вроде, с нашими что-то... кто на «адрес» уехал.

Бойцы насторожились, уставились на командира.

— Заводите «семнадцатый» и «двадцать первый», выгоняйте на исходную. Оставьте на холодных, пусть греются. Тут порядок наведете — и в палатку.

Панов побегал в свое расположение, на ходу вытирая руки ветошью. Дал команду разбудить экипажи, оделся...

На месте подрыва были минут через сорок. Раненые держались из последних сил. Оставшиеся невредимыми четверо из «уазика», соблюдая светомаскировку, в кромешной тьме перевязывали товарищей, кололи промедол.

Палыч первым делом разыскал своих бойцов. Экипаж БТРа прикрывал. В башенный прицел в ночной деревне не многое разглядишь, поэтому солдаты укрылись в придорожной канаве, вооружившись пулеметом ФСБешников. Деревня драла глотку хриплым пёсьим лаем, не светилось ни одно окно.

Картина была привычная и страшная. Мертвые уже лежали в десанте бесформенной грудой и сладко пахли свежим мясом. Раненые были сильно покрошены, особенно пострадали неприкрытые бронезилетами руки-ноги. У одного из офицеров вырвана нижняя челюсть. Парни держались, старались не стонать. Их перенесли в «семнадцатый», и доктор с фельдшером пытались найти у ослабленных кровопотерей людей хоть какие-нибудь вены...

С рассветом пришли вертолеты, отряд от внутренних войск ушел в село проводить широкомасштабную зачистку. Раненый с оторванной челюстью до эвакуации не дотянул, остальных дикими усилиями доктора удалось отправить живыми.

Палыч с доктором сидели в медпункте, пили чай. Использованные пакетики бросили в переполненное кровью и бинтами ведро. Разговор не клеился, настроение было хуже некуда. Доктор тяжело вздохнул, провел пятерней по стриженной макушке:

— Эх, хорошо духи поработали... Шесть по «двести».

— Да уж... — Палыч поморгал, потер красные от недосыпания глаза. — Ты бы видел, что с бэтэром, доктор. С правого борта все навесное сорвало, триплекса вышибло... Потапова у меня контузило маленько... Посмотришь потом?

Доктор кивнул. Панов допил чай и поплелся в парк. День был жаркий. Солдаты наводили порядок в машинах, заканчивали сборку двигателя. Подраненный БТР



стоял чуть поодаль, с правого бока бронированная шкура была усеяна мелкими выщерблинами от стегнувших по ней гаек, отчего приземистая машина стала немного похожа на леопарда. Три первых колеса с той же стороны пробиты. Больше всего досталось второму — крышка изодрана в клочья. При эвакуации Палыч с бойцами открутили его и закинули на броню. Освободившийся бортовой редуктор подтянули повыше, приспособив буксировочный трос, дырки в остальных колесах позатыкали гильзами от 7,62 миллиметровых патронов, врубили на полную подкачку и доехали так. Теперь же все эти проблемы необходимо было устранять.

Рядом с машиной возвышалась куча промокшего тряпья. Из десанта вылез пулеметчик, сержант Назаров. Палыч вздрогнул. Назаров стоял в одних трусах и выглядел так, как будто с него содрали кожу. Воин был весь, от пяток до макушки, перемазан красно-черным, в кисельных густках и слизистых разводах. В руках он держал пластмассовое ведро и совок, вырезанный из пустой пластиковой бутылки. Пулеметчик, щурясь, оглядел себя, перевел на командира спокойный и чуть виноватый взгляд.

— Крови с «двухсотых» натекло, товарищ капитан. Все коврики, все сиденья промокли... Второе ведро выношу.

Назар был толковым контрактником. Экипаж этот был самый опытный, тянул вторую командировку. Палыч назначил сержанта своим нештатным заместителем и ни разу не пожалел об этом.

Капитан заглянул в ведро, заполненное на две трети, зачем-то потрогал густую студенистую массу пальцем.

— Куда выносишь?

— Я там за складом ГСМ яму специальную выкопал, потом засыплю, чтоб мухи не налетели.

Палыч кивнул.

— Коврики сжечь надо будет. Отнесешь на помойку, сольешь литров десять соляры. С комбатом я вопрос решу.

— Так точно.

У Потапова оказалось-таки легкое сотрясение, еще и осколок со спичечную головку в щеке. На скоротечном консилиуме с доктором решено было с ближайшей колонной центроподвоза отправить бойца в Ханкалинский госпиталь, чтобы зафиксировать ранение. Потап пытался было упираться, но Палыч многозначительно показал ему кулачище и строго наказал без справки не возвращаться. Сопровождающим Панов назначил Назарова — пусть зам заодно развеется, в магазин ходит... Отмытый БТР на время отсутствия экипажа закрыли и опечатали.

Назаров с Потаповым вернулись на четвертый день. Механику с его сотрясением полагалось проваляться в госпитале намного дальше, но хитрый воин к предстоящему лечению тщательно подготовился. Прикинувшись дурачком, «забыл» на базе военный билет. Солдата все-таки положили. Тогда он предусмотрительно спрятал форму и ботинки, а вместо них сдал на госпитальный склад драную подменку. Жалобно бляя, подкупив врача каким-то трофейным ножиком, он выцыганил себе вожделенную справку уже на второй день, достал из-под матраса заныканую амуницию и дал дёру, оставив на кровати записку — «чтоб не волновались». Расторопные контрактники где-то раздобыли шесть блоков сигарет, шмат сала и четыре буханки белого хлеба. Забрали в «отстойнике» письма на весь отряд, и, поймав попутный вертолет, довольные, двинулись восвояси.

Палыч беззлобно отодрал их для профилактики. Сигареты и снесь разделили на группу.

На следующий день на импровизированном стрельбище близ лагеря были запланированы пристрелка оружия и занятия. До полигона было километра полтора,



прикрывался он блокпостом с горки, дорога утром перед занятиями проверялась саперами, которым в сопровождение выделялся БТР. На этот несложный выезд Панов назначил Назарова с Потаповым — пусть опробуют машину после ремонта и вынужденного простоя.

Утром мехгруппа с командиром вышла на физическую зарядку, экипаж ушел готовить на выезд машину. Солдаты размялись, расползлись по самодельным снарядам и принялись добросовестно качать железо. Палыч забавлялся с гирей, изготовленной из большой жестяной банки и аккумуляторного свинца, подбрасывал ее вверх, отжимал от груди, разгоняя кровь по жилам. Довольно кричал, чувствуя, как просыпаются после короткого сна подраслабившиеся мышцы.

Прибежал Назаров. Лицо у сержанта было бледно-зеленого цвета и идеально гармонировало с тканью застиранного камуфляжа.

— Товарищ... Товарищ капитан... — Назарова трясло, он героически пытался совладать с собой. Проглотил ком, заговорил внятно: — Товарищ капитан, бэтээр не сможет выехать.

Палыч бросил гирю. Назар был не из тех, кто болтает попусту. Вопросительно глянул.

— Запах... Запах в машине. Воняет страшно.

— Ты же вылизал ее всю. Забыл какую-нибудь тряпку?

— Не знаю... — сержант явно был расстроен и озадачен. В добросовестности проделанной им работы можно было не сомневаться.

Палыч помолчал.

— Ладно. Вам отбой. «Шестнадцатый» на выезд, я сейчас подойду.

Зачерпнув ведром холодной воды из бочки, зашел за палатку, обмылся до пояса. Накинул китель на голое мокрое тело, пошел в парк. Несмотря на ранний час, солнце уже поднялось высоко над горами и начинало припекать, пытаясь подсушить раскатанную парковую грязь. Прыгая по сухим островкам, добрались до машины. Потапов стоял метрах в трех, переминался с ноги на ногу. Капитан подошел к БТРу, повернул ручку бортового люка, потянул. Из чуть нагретой солнцем машины дохнуло теплым...

С чем можно сравнить смрад разлагающейся человеческой плоти? Есть ли на свете запах, способный перебить его? Тяжелый, густой и сладкий, как жирный лосьон, он в мгновение пропитывает одежду, въедается в волосы, липким кляпом перекрывает дыхание. Сложнейший букет, невообразимая смесь — патока, элитные сорта сыра с плесенью и концентрированное зловоние, от которого, кажется, не отмыться, не продышаться...

Нет приятнее аромата, который излучает тельце новорожденного ребенка в первые дни его жизни, и нет страшнее запаха, который человек же испускает через несколько дней после смерти.

...Палыч аккуратно прикрыл люк, отошел, длинно выдохнул. Постояли, помолчали...

— Назар, ты под полками вычищал?

— Нет...

— Значит, туда натекло и протухло. Погода теплая, БТР четвертый день не солнце. Сейчас пока все люки нараспашку и пусть постоит. Потом полки надо будет вскрыть.

Капитан упер в Назарова тяжелый взгляд, тот, сглотнув, кивнул.

БТР мыли неделю. Отогнав его подальше от стоянки, задыхаясь, скрутили металлические полки, прикрывавшие трансмиссию, свинтили дренажные лючки на днище. Промывали водой, соляжкой, дефицитным стиральным порошком. Щепочками, старыми зубными щетками, стеклом выскабливали каждый рычажок, каждую тягу.



Запах держался. Вонь, казалось, въелась в металл, пропитала стекло и пластик.

В конце концов разожгли паяльную лампу и прошлись огнем по стальным внутренностям машины — там, где это было возможно. Ядовито шипела, вскипая пузырями, серая шаровая краска, дымилось испаряющееся масло...

Дело было сделано, полики прикрутили на место...

Но все равно — тонкий, как паутина, как винное послевкусие, запах смерти продолжал обонятельной галлюцинацией витать под стальными плитами раненой машины.

Командира механизированной группы вызвал комбат. Ибрагимовцы выезжали на какое-то мероприятие в Махкеты, просили в прикрытие два БТРа. С местным «антитеррористическим подразделением» отношения у разведчиков были натянутые. Были среди них нормальные мужики, но в основном бойцы отряда, возглавляемого бывшим полевым командиром, напоминали пиратскую банду. Разномастностью оружия, формы одежды и отсутствием дисциплины они мало чем отличались от бродивших по горам земляков. Среднестатистический «ополченец», «индеец», или «партизан», как предпочитали называть их спецназовцы, выглядел довольно экзотично: клочковатая борода, куртка от армейского камуфляжа (наверняка имеющая пару заштопанных пулевых отверстий), какие-нибудь заношенные псевдоадидасовские трико с раздутыми пузырями коленками, стоптанные кроссовки. Завершала наряд традиционная чеченская тубетейка и вытертый до белизны, перемотанный изолентой автомат дульного тормоза-компенсатора. Несмотря на слабую подготовку и затрапезный внешний вид, пальцы у народных мстителей растопыривались веером даже на ногах. Разговаривали партизаны с разведчиками свысока, мешая чеченские слова и русский мат и периодически сплевывая сквозь зубы жеваный насвай. Кое-кто из ибрагимовцев наверняка работал на два фронта, поэтому спиной к ним капитан предпочитал не поворачиваться...

Комбат хотел было вежливо послать просителей, но те заручились поддержкой вновь назначенного командира сводной группы. ФСБешник по связи объяснил, что задача согласована и его ребята выезжают тоже. Комбат тихо выматерился, но БТРы дал.

В 23.30 двинулись. Замыкающим шел «двадцать первый» с бойцами и командиром специальной сводной группы, головным — отремонтированная и отмытая «семнашка». Между ними тряслись по каменистой дороге все тот же ФСБешный «уазик» и «бронированный» ЗиЛ-130 ополченцев. Сквозь грубо наляпанную зеленую краску просвечивали синие колхозные борта, обшитые по внутреннему периметру бревнами и мешками с песком. Антитеррористы сидели в кузове, гоготали и грызли семечки, оружие, как садовый инвентарь, торчало у каждого между коленок. Ни дать ни взять — ударники сельского хозяйства едут на полевые работы.

Когда въезжали в деревню, выключили «гравипапы», восстановили связь в колонне. Светила полная луна, видимость была хорошая. Позывной подполковника, командира сводной группы — «Овен». Был он мешковат, суетлив и вообще весь какой-то невоенный. Бойцы, видимо, своего нового командира воспринимали «не очень», так как между собой называли его «кусок овна».

Красивый двухэтажный дом, в котором предположительно находились боевики или «причастные лица», обложили «углом». Палыч отогнал свой БТР на соседнюю улицу, укрыл за домами — но машина стояла так, чтобы проверяемое здание было хорошо видно в простенок между ними. Сводная группа на соседней улице спешила с замыкающей «брони». ЗиЛ пристроился за капитаном, «уазик» ушел за Овном. Рассосредоточились, заняли оборону ближе к дому, в палисадниках. По короткой перепалке в эфире стало ясно, что Овен предлагает старшему ибрагимовцев самому досмотреть «адрес», своих же людей оставляет прикрывать. Палыч мысленно поставил подполковнику «плюс» за грамотное решение. В итоге



чеченцы горохом высыпали из своей колымаги, в открытую подошли к кованым высоким воротам, заколотили ногами... Самый нетерпеливый перемахнул через забор, открыл воротину изнутри.

Вооруженная ватага пересекла двор, в дальнем углу которого сиял лаком и хромом новенький, иссиня-черный Мицубиси Паджеро с причудливой ярко-оранжевой молнией вдоль борта.

Забарабанили в дверь. «Что они творят, — только и успел подумать Палыч. — Хоть бы рассредоточились да под окнами кто-нибудь встал...»

Дом был расположен к капитану под углом, дистанция — метров пятьдесят. Видны две стены; одна — с дверью, куда ломились ибрагимовцы, плюс два окна второго этажа, на второй — только окна, по три на этаж. Крыша под красной черепицей, два чердачных окошка — за ними особый контроль. Панов быстренько назначил наводчику ориентиры.

Встал за машиной, поверх брони наблюдая за домом и подступами... Тихо зашипела станция:

- Овен — Палычу, Казбеку.
- Связь.
- Операцией команду я. Без моей команды не стрелять.
- Палыч: «да».
- Казбек: «да»...

Дверь открыли, старший ибрагимовцев шагнул было внутрь. В недрах дома полыхнула короткая очередь. Переломившись пополам, Казбек покатился с невысоких ступенек, остальные бросились врассыпную. Еще две коротких — уже с чердачного окошка. Еще два силуэта, дрыгая ногами, забились на земле, остальные залегли за ближайшими укрытиями. Железная дверь с грохотом захлопнулась. Единственное светлое окно на втором этаже погасло. Тишина.

— Овен — Палычу...

Пауза.

— Палыч — Овну: вижу «точку». Огонь?

Пауза.

— Огонь???

— Н... нет, нет, не стрелять, Палыч... Ибрагимовцы где?

— Три по «триста» наблюдаю. Остальные ко мне ползут.

Пауза.

— Овен — Палычу: уходим... Отход.

— А «трехсотые»?

Пауза.

— Овен — Палычу: пусть их свои вытаскивают. Отход.

— Понял.

Ибрагимовцы, пригибаясь, перебежали за БТР. Палыч знал одного из них — Мусу — по прошлым выездам, объяснил ему положение. Посоветовавшись, четверо ополченцев побежали к дому... Только первая двойка сунулась на залитый светом луны и фонаря двор, как дом ожил, зазвенел выбитыми стеклами, оцетинился вспышками. Сначала стреляли из верхних окон и с чердака, потом присоединились нижние. Две случайные пули цокнули по броне, вышибая искры, одна, выбив форточку, угодила в кабину ЗиЛа. В кабине истошно заорал водитель.

— Потап, малый назад!

Взвизгнул стартер, БТР, пыхнув соляжкой, попятился.

— Влево! Прямо! Вправо! Прямо! Стоп!

Вильнув по дороге кормой, «семнадцатый» прикрыл собой ЗиЛ от обстрела. Ушедшие на эвакуацию раненых ибрагимовцы ёжились за хилыми дворовыми



укрытиями. Первая двойка укрылась за великолепным Паджеро — по ним, кстати, не стреляли, явно берегли машину, но и высунуться из-за нее у мужиков шансов не было. Тем более вернуться к БТРу. С хрустальным звоном разлетелась фараискатель. Оставшиеся ополченцы перевязывали раненого в плечо водителя ЗиЛа.

— Палыч — Овну.

— Связь...

— Овен, у меня люди в котле. Надо выводить. Добро на «огонь»?

— А... э-э...

— Понял!

Капитан все это время находился на откинутой нижней створке десантного люка со стороны, противоположной обстрелу. Сунул голову внутрь.

— Назар, работай по чердаку. Короткими: огонь!

Сержант выдохнул «есть» и утопил кнопку электроспуска. Автоматные хлопки сразу утонули в грохоте. Короткая очередь из главного калибра в куски разнесла раму импортного стеклопакета крайнего левого окна, выломала кирпичи из сводчатого проема, вздыбила черепицу. Вспышки МДЗ-снарядов сверкнули внутри помещения расплавленными брызгами. Назар перенес огонь на второе окно...

— Палыч — Овну.

— На связи... На связи... Что у тебя там, Палыч?

— Долбят. Пытаюсь людей отвести. Два вышло, еще два за Паджерой. Вы не стреляйте, не раскрывайтесь.

Поздно. Сводной группе тоже захотелось повоевать, со стороны залегших на соседней улице по дому хлестнули трассы. В ответ сразу открыли плотный огонь с верхних этажей.

Нет худа без добра. Воспользовавшись моментом, двое ибрагимовцев перебежали из-за Паджерика за БТР. Запоздалые очереди со второго этажа с жестяным громом ударили по воротам.

— Овен, твои отошли?

— Нет, огонь плотный...

— Подключаю броню?

— Давай...

Два БТРа крошили здание. Крупный калибр залетал в окна, рвался внутри, вырывал из кладки гроздь кирпичей. В доме что-то загорелось, повалил дым. Механики, перебравшись к пулеметчикам, меняли короба, соединяя ленты непрерывной цепью. Случилось то, чего капитан больше всего опасался — когда обстреливали верхний этаж, с нижнего в сторону «двадцать первого» метнулся огненный хвост гранатометного выстрела. Граната, зацепив хвостовым оперением забор, свечой ушла вверх в пяти метрах от машины.

— «Двадцать первый», «семнадцатый», длинными по первому!

Бойцы сводной группы тем временем удачно отошли и принялись лупить по нижнему этажу из своих гранатометов. Из-за БТРа, прокричав «Аллах Акбар», пальнул из своего гранатомета Муса. Ошмётья и кирпичное крошево летели в разные стороны. Верхние этажи продолжали огрызаться. Простенки между окнами постепенно переставали существовать.

Вдруг внутри здания что-то натужно лопнуло, прокатилось волной, ультразвуком срикошетило от зубов, нервов и барабанных перепонок. Из окон вырвались оранжевые шары, черные дымные хлопья — то ли в склад боеприпасов угодили, то ли в газовый баллон. Вылетел правый от входа угол. Дом накренился. Теряя черепичную крышу, просел на один бок и рухнул, взметнув в светлеющий воздух облако кирпичной пыли. «Некачественная постройка», — отметил капитан, присев от неожиданности. Рыжий дым клубами полз от развалин. Муса со своими, пригнувшись, побежали за убитыми, притащили четыре трупа. За телами извивались по земле красные ручьи.



Над раскаленным стволом крупнокалиберного танкового пулемета колыхалось марево, из десанта курился пороховой туман. Оттуда, насквозь мокрый, с красными глазами, на карачках выполз Назар. Хрипло закашлялся, выхаркивая из легких накопившуюся гарь, закапал на песок потом, слюной и слезами.

Трупы заволокли за БТР, пыхтящий Муса подбежал к Палычу:

— Командыр, у нас вадила ранэн, калесо прастрэлен, ЗиЛ бросить нада! Давай убитый тебе в бэтээр?

Палыч взглянул на сочащиеся тела, на смесь протеста и ужаса в вытаращенных глазах Назарова... То ли в воздухе, то ли в закоулках мозга материализовался, поплыл липкой тошнотворной химерой запах гниющей крови...

— Нет, парни, грузите-ка к себе. Водителя я дам, колесо сейчас заменим. Запаска есть?

— Запаска ест, врэмя нэт!

Муса был прав, уходить надо было срочно. Кто знает, сколько в селе боевиков — наверняка не в одном доме все сидели.

В мгновение поддомкратили ЗиЛ, скрутили пробитое колесо, наживили лысую запаску. Других повреждений у машины не было. Чеченцы попрыгали в кузов, на этот раз присели за «броней», ошетинили борта стволами. В кабину ЗиЛа Палыч посадил Потапова, за руль БТРа сел сам. Второй БТР и «уазик» уже дожидались на перекрестке, башни развернули в разные стороны, задрал стволы — чтобы не зацепить придорожные столбы. Отход!

Проскочили деревню, сразу съехали в поле, рассредоточились. Взяли окраину на прицел. Вдали пылила подмога. Подтянулась большая колонна — почти весь третий сводный, отряд ВВ (внутренних войск), Курганский СОБР. С головного БТРа прыгнул комбат. Коротко переговорили. Палыча и две «брони» оставили на въезде в село — организовать блокпост и дожидаться вертолета. Доктор хлопотал над водителем и бойцом сводной группы, комбат с вэвээшниками двинулись в село — проводить досмотр и зачистку. Через полчаса пришла «восьмерка» с сопровождением, забрала раненых.

На блокпосту проторчали почти до вечера. Сначала ждали второй вертолет с какой-то досмотровой группой из Ханкалы, потом Панов долго бродил с ними вокруг да около развалин, отвечал на дотошные вопросы: где стоял, куда стрелял...

Вокруг сновали и тарасились на бесплатное представление осмелевшие селяне, выла какая-то баба. От чуть дымящихся руин мусорный ветер носил запахи горелого пластика и шашлыка, голодный организм реагировал желудочными спазмами и выделением слюны.

Наконец все кончилось. Место боя оставили под охраной ФСБ и ибрагимовцев, построили колонну и двинулись в лагерь. Несколько последующих дней мотались на разбор завала. Разведчики стояли по периметру охранения, в обрушенном доме копались местные власти и ФСБ. Руководил всем какой-то полугражданский седой мужик. Полковник из Штаба горной группировки ходил за ним по пятам, преданно заглядывал через плечо. На все негромкие указания усиленно кивал.

Всю информацию держали в секрете. Сколько и кого настреляли, узнать не удалось.

* * *

— Товарищ капитан, Вы закончили?

— Да.

— Что-то я не видел, чтоб вы что-то переписывали. Я же Вам сказал: исправить.

— Исправлять нечего, товарищ подполковник. Эта объяснительная — четырнадцатая. Содержание предыдущих я помню наизусть.

Следователь скорчил гримасу, небрежно сгреб объяснительную на пяти листах, зашуршал бумагой:



— Огонь приказали открыть Вы?

— Да.

— А вот подполковник Селезнев утверждает, что руководство адресным мероприятием было возложено на него. И он предупреждал Вас о том, что огонь необходимо открывать только в крайнем случае и только по его команде.

— Крайний случай был. Перед открытием ответного огня я с ним свои действия согласовал.

— А он утверждает, что не согласовывали... — подполковник походил по кабинету, взял стоящую на сейфе детскую пластмассовую лейку в виде слоника, заботливо полил какой-то лопух в горшке. — Устроили Сталинград в центре села... Вы хоть понимаете, сколько мирных граждан могло пострадать? И пострадало! Мне не следует Вам всего говорить, но в доме, который вы расстреляли, были заложники, ни в чем не повинные люди. Что молчите?

Палыч вздохнул. Мурыжили его уже месяц. Сначала какие-то дознаватели прилетали в отряд, дергали его и солдат из экипажей. Ничего толком не объясняли, только заставляли писать и рассказывать по сто раз, что да как. Прояснить ситуацию не мог даже комбат. Теперь же капитан уже пятые сутки парился на Ханкале. Стало ясно, что под него по какой-то причине «копают». Официально не арестовывали, но удостоверение личности и автомат забрали, с пересыльного пункта не выпускали. Между допросами капитан тоскливо слонялся вдоль колючего периметра. От нечего делать стрельнул сигарету, закурил, закашлялся. Подозвал какого-то солдата, отдал отраву ему. Боец козырнул и тут же затянулся, воровато оглядываясь. Болела душа за группу — пятый день одни... То, что службу не завалят, Палыч не сомневался, но тем не менее... Тем не менее.

— Что молчите?! — подполковник наливал себе кипяток из чайника.

— Я все указал в рапорте. Был ранен водитель ЗиЛа, убиты четверо.

— Значит, надо было блокировать дом и доложить командованию, а не принимать самостоятельных решений.

— Люди Селезнева находились по периметру охранения. По ним велся плотный огонь, отойти без прикрытия они не могли. У боевиков наверняка были и ночные прицелы. Один БТР был обстрелян из гранатомета, стояли бы мы молча — нас бы сожгли. Отошли бы — бросили бы охранение и тела, упустили бандитов.

— Все равно... Нет команды — не стреляй. Вы военный, капитан, или как? — следователь явно пытался острить, все переводил разговор в стадию душевной беседы. — А заложники? А? Повесят их теперь на тебя...

— Ты так думаешь? — Палыч упер в подполковника тяжелый взгляд.

Тот на мгновение опешил, на гладко выбритом лице мелькнула тень возмущения — которое, он, впрочем, тут же дипломатично подавил. Заулыбался...

— Извиняюсь... На Вас повесят... Чаю хотите?

— Нет. А вы уверены, что это заложники, а не хозяева дома, которые устроили у себя перевалочную базу и склад? Не связные? Они что, в наручниках были?

— Следствие, как говорится, разберется... И вопросы тут все-таки задаю я, капитан... Товарищ капитан. Командование всеми силами пытается стабилизировать обстановку в регионе, а Вы такие провокации устраиваете. В соседнем дворе от вашей стрельбы погибла корова. За дом уже сын хозяина — питерский бизнесмен, кстати, — иск готовит. Джип племянника, который во дворе стоял, расстрелян и восстановлению не подлежит. Вы за все это платить будете?

Палыч вспомнил, как бродил по развалинам с досмотровой группой. Паджеро стоял, чуть припорошенный кирпичной пылью, но ни царапин, ни тем более пулевых пробоин капитан на нем не видел.

— Давайте-ка еще раз по порядку. С момента выезда из лагеря.

— Я все указал в рапорте.

— Да насрать мне на Ваш рапорт! — дознаватель все же вышел из себя. Тут же попытался сгладить, подошел к небольшому холодильнику, распахнул дверцу.



Тихо звякнули водочные бутылки. — Хотите курицу? Только не отказывайтесь! Домашняя, мне посылка на днях пришла. После Ваших сухпайков — милое дело!

Достал пакет, зашуршал. Потом вдруг брезгливо принюхался, отвел от себя сверток:

— Черт, кажется, испортилась... Свет часто отключают. Дневальный!

Вбежал воин, забрал протухшую курицу и на вытянутых руках понес к выходу. «Зря, — подумал капитан, глядя вслед солдату. — Может сожрать».

Под низким потолком щитового домика невидимой тяжестью повис уже близкий и родной, щемящий и ласковый запах разлагающейся плоти...

Палыч молчал.

Панов сидел в столовой, в своем выцветшем камуфляже, рядом суетился бело-снежный солдат-официант. Капитан безучастно проглотил наваристый борщ, съел картошку, окорочок. Залпом выпил непривычно сладкий компот. Собираясь встать, автоматически пошарил возле лавки в поисках оружия и на секунду оторопел, когда рука повисла в пустоте. Вспомнил, что автомат отобран, беззвучно выматерился.

Вошел посыльный, спросил разрешения обратиться. Вызывали к дежурному по лагерю. Палыч не спеша побрел к дежурке. Из деревянной бани доносилось приглушенное нестройное пение, капитан заглянул из любопытства. В предбаннике сидели голые мужики, пили водку и горланили. Один из них, румяный крепыш, сделал театральный жест рукой, смахнув со стола пластиковый стаканчик:

— Заходи, капитан! Плесните капитану! За ВДВ!

На вешалке висели новенькие камуфляжи с майорскими и подполковничьими погонами.

— Не могу. В наряд заступаю, — бросил Панов первое, что пришло на ум, развернулся и вышел.

По пути потрепались с местным зампотехом.

— Что это у вас за певцы в бане, Саня?

— Так это же ваши, из разведотдела Штаба войск. Прислали их на три недели... Бухают и моются все время, задолбали. Слава богу, улетают завтра...

В дежурку Панов вошел без стука, не ожидая ничего хорошего. Рядом с дежурным сидел знакомый подполковник-следователь. Поздоровались.

— Получите свое оружие, документы. Колонна центроподвоза отходит с «пятачка» через... два часа. Можете быть свободны... пока.

* * *

Отряд заменился. Промелькнуло напряженно-радостное время ожидания сменщиков, встреча и братская попойка, пересыльные лагеря Ханкалы и Моздока, многочисленные погрузки, разгрузки, досмотры на таможенных пунктах. Панова опять вызывали, то в Штаб войск, то в гарнизонный военный суд. Опять допрашивали, толком ничего не объясняя... Потом как-то резко все затихло.

Однажды вечером Палыч с доктором решили посидеть, чуть выпить да потрепаться. Сгоняли в магазин, пошли к Панову в общагу. В обшарпанном полутемном коридоре пахло плесенью. Переступили через валяющийся посреди дороги детский велосипед, запнулись о чей-то тапок. Капитан толкнул дверь своей девятиметровой комнаты. Крутанул лампочку — включил свет. Распугал тараканов.

— Что там у тебя, Палыч, по тому делу?

— Не знаю, Док... — капитан пожал плечами. — Отстали пока, но чую, добром не кончится. Сделают из меня второго Ульмана или Буданова, придется в тайгу уходить или во Французский легион... если успею.

— Да ну... — доктор безуспешно пытался выловить из банки огурец. — А ты юристу полковому, Владу, позвони. Он в суд мотается, у него там однокашники, может, и пробьет чего.



— И то дело...

Позвонили юристу. Влад о ситуации слышал только краем уха. Сказал, что на Панова запрашивали характеристики и выписки из личного дела, обещал что-нибудь разузнать.

Через неделю встретились, сели в кафешке. Влад помолчал, собираясь с мыслями.

— Ситуация такая, Палыч. Сколько народу было в доме, я не выяснил. Среди них были гражданские — хозяин дома и какие-то родственники. Сын хозяина в это время был в Питере. Когда на него вышли, он сказал, что дорогого папу кто-то взял в заложники и требует выкуп. Сообщать в органы сынуля якобы побоялся, начал собирать деньги, а на следующий день приехали федералы, то есть вы, и спалили родовое гнездо вместе с папашей. Уж не знаю, кто там ему поверил, только всех начали иметь по жесткой схеме... Причем на самом высоком уровне. Все, естественно, стали отмазываться, тебя решено было сделать крайним. Потом поработало следствие, разобрались. Попался, видимо, кто-то честный и принципиальный. Доказали связь хозяина дома с боевиками. Нашли у него в карманах американские деньги той же серии, что и в карманах убитых духов, схрон в подвале... Да и так ясно было. Сынулю этого питерского тоже за задницу взяли. Один из прибитых вами боевичков оказался чуть ли не приближенным Бен Ладена — какой-то крутой парень, еще с первой войны в разработке. Ситуация сразу перевернулась, теперь все строчат на себя наградные. Командующий группировкой себя вроде на «Героя» подал, но не прокатило — фээсбэшники перетянули. Про тебя, вроде, забыли, дело закрыто.

Помолчали.

— На бойцов наградные подписали, не знаешь? Я солдат из экипажей на «Отвагу» представлял.

— Не знаю, Палыч. Это надо в Штабе войск узнавать.

— Ладно... Спасибо, Влад.

Шло время. Отдельный батальон, в котором служил Панов, был расформирован в угоду грянувшим военным реформам. Большинство офицеров части решили увольняться. Распался слаженный боевой коллектив, служить стало не с кем. Скрепя сердце, подал рапорт на увольнение и Палыч, получивший к тому времени майорские погоны. Прошел медкомиссию, вышел «за штат» и пополнил бесконечные ряды очередников на получение жилья. Устроился на какую-то работу...

Первое время было ничего, но скоро продажная гражданская жизнь встала поперек горла. Иногда собирались с сослуживцами, грустили и пили, борясь с ностальгией.

23 февраля решили встретиться всем коллективом в бывшей солдатской столовой, переданной теперь каким-то связистам. Накануне позвонил комбат.

— Здорово, Палыч. С праздником.

— С наступающим, товарищ полковник.

— В Москве завтра будешь?

— Да.

— Собираемся в десять. А тебе к девяти в Штабе войск надо быть. В разведотделе.

— По какому такому случаю?

— Не знаю. Я тебе позже скину номер кабинета и фамилию, к кому.

В 8.45 23 февраля майор вошел в стеклянные двери штаба. Назвал дежурному фамилию. Тот проверил документы, позвонил.

Палыч поднялся на четвертый этаж, нашел означенную дверь... Не успел Панов постучаться, как дверь распахнулась, из кабинета, хохоча, выпорхнула рыжая размазанная мадам в погонах старшего прапорщика. Эротично повизгивая и стреляя

глазками, деваха отбивалась от крепыша-подполковника, который, в расстегнутом кителе, все норовил ущипнуть ее за пышный зад.

— Вам кого? — офицер штаба неприязненно устался на майора в камуфляже.

Его румяная физиономия показалась Палычу знакомой. На кителе, поверх рядов разноцветных планок, у подполковника криво висел новенький орден Мужества, под мокрой колодкой расплывалось пятно. «Обмывают — пораскинув мозгами, догадался Штирлиц».

— Я к полковнику Сизову. Майор Панов. Он знает.

— Сейчас...

Подполковник скрылся в кабинете. Товарищ старший прапорщик, повиливая бедрами, с независимым видом продефилировала следом.

Через пару минут Палыча пригласили войти. В кабинете за накрытым столом сидели человек десять старших офицеров, несколько женщин. Поднялся усатый полковник.

— Майор Панов?

— Так точно.

Полковник молча прошел в угол к сейфу, извлек картонную коробочку и удостоверение, раскрыл его.

— Указом Президента России от ...ноября ...года Вы награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Давно лежит. Чего ваш кадровик не забрал?

— Нет кадровика, товарищ полковник. Часть расформирована.

— Ты из восьмьсот двенадцатого?

— Так точно.

— Тогда ясно...

Полковник пересек кабинет, вручил награду, пожал руку.

— Поздравляю!

— Служу Отечеству. Разрешите идти?

— Идите.

Палыч развернулся.

— Стойте! Товарищ полковник! Положено обмыть! Плесните майору! — румяный орденосец и любитель ханкалинских бань, недавно проявивший половой гигантизм, театрально махнул рукавом, снося со стола фужер с шампанским.

Полковник поиграл бровями, взглянул на Палыча вопросительно.

— Не могу, товарищ полковник. Пока своему командиру не представился — не положено. Разрешите идти?

— Идите. Еще раз поздравляю.

— Благодарю.

Панов вышел на улицу, вдохнул морозный воздух. Рядом со входом сизыми клубами дымила чугунная урна — видимо, кто-то неудачно бросил окурочек. Палыч стукнул кулаком в стекло, кивнул дежурному. Тот заметался, как рыба в аквариуме. Мусорный дым пах шашлыком и горелым пластиком.

К стеклянным дверям тем временем прибывали все новые защитники Отечества. Сияли награды, полковничьи и генеральские погоны. Стоянка перед штабом была сплошь заставлена дорогими авто. На правом ее краю сверкал лаком, хромом и инеем иссиня-черный Мицубиси Паджеро с причудливой ярко-оранжевой молнией вдоль борта.

Экипажи БТРов за ту командировку так и не наградили.

Михаил ЧВАНОВ

БЫВШИХ ОФИЦЕРОВ НЕ БЫВАЕТ

*(В качестве послесловия к рассказам
Александра Унтила)*

Летом 1912 года из Санкт-Петербурга во Владивосток Северным морским путем отправилась парусно-паровая шхуна «Св. Анна» под руководством лейтенанта флота Георгия Брусилова. Но уже в октябре, зажатая тяжелыми льдами около Ямала, а потом вмерзшая в них, она стала дрейфовать на север и на следующий год оказалась в широтах, близких к Северному полюсу. Летом 1914 года часть экипажа во главе с уроженцем Уфы штурманом Валерианом Альбановым отправилась в беспрецедентный переход по дрейфующим льдам к ближайшей земле — архипелагу Земля Франца-Иосифа, который тоже еще не был спасением. Из 13 человек до мыса Флора, где их по счастливой случайности подобрал парусник «Св. вмч. Фока», дошли только двое: штурман Валериан Альбанов и матрос Александр Конрад. По сей день оставалась в полной неизвестности судьба оставшихся на судне членов экипажа, как и судьба членов группы Альбанова, с которыми он дошел до Земли Франца Иосифа и с которыми вынужденно расстался на мысе Ниль. Валериан Альбанов, вернувшись на теплую землю, ничуть не помышляя о писательской славе, написал «Записки о путешествии по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана летом 1914 года. (На юг, к Земле Франца-Иосифа)», которые были опубликованы в приложении к сугубо специальному изданию, к 41-му тому «Гидрографических записок». По причине начавшейся Первой мировой войны они остались практически незамеченными, а сам автор скоро сгорел в горниле войны гражданской. Бог дал ему писательский талант, о котором Альбанов и не подозревал, и жестокую судьбу, чтобы через много десятилетий его вроде бы сугубо документальные «Записки...», по-прежнему малоизвестные российскому читателю, стали откровением для читателя в Германии, Англии, США.

Летом 2010 года меня нашли матерый полярный волк — полковник МЧС Валерий Кудрявцев и другой полярник с немалым экспедиционным стажем — Александр Чичаев. Оказалось, что их души потрясли «Записки...» Валериана Альбанова. Они нашли меня не только потому, что в свое время, тоже задетый за живое «Записками...», я пытался размотать нить судьбы Альбанова (ведь не были известны даже место и время рождения и гибели) и написал роман-поиск «Загадка штурмана Альбанова», но и потому, что в конце 90-х годов прошлого века мы с выдающимся полярным летчиком, заслуженным летчиком-испытателем СССР, заслуженным испытателем космической техники, Героем Советского Союза Василием Петровичем Колошенко и легендарным флаг-штурманом Полярной авиации Валентином Ивановичем Аккуратовым готовили поисковую экспедицию на Землю Франца-Иосифа. Той экспедиции помешал развал Советского Союза. И вот теперь Валерий Кудрявцев и Александр Чичаев попросили меня стать консультантом планируемой ими экспедиции, они хотели выяснить судьбу отставших от Альбанова спутников. Российское географическое общество отказало им



в гранте, отдав предпочтение шумным пиар-кампаниям, и экспедицию они готовили на свои деньги. Костяк экспедиции составили бывшие офицеры спецназа ВДВ, за плечами у которых была война, и спасатели аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС России, за плечами у которых тоже была война, профессионалы высочайшего класса, работающие на ликвидации последствий природных и техногенных катастроф не только в России, но по всему миру. (Подробно об этой экспедиции можно прочитать в «Сибирских огнях», № 6 за 2011 год, материал Михаила Чванова «Загадка штурмана Альбанова». — Прим. ред.)

Когда я кому-нибудь рассказываю об этой экспедиции, меня нередко, словно обухом по голове, возвращает в нынешнюю прагматично-коммерческую действительность удивленно-снисходительный вопрос: «И что их туда потащило на свои деньги в свой единственный в году отпуск?»

Начальника экспедиции, в прошлом офицера-десантника, за плечами которого более полутора тысяч парашютных прыжков, в том числе парашютное десантирование на Северный полюс и десятки сложнейших полярных экспедиций, Олега Продана, позвало жизненное кредо: «Сделать то, что другие до тебя не смогли!». Врач экспедиции Роман Буйнов, оставивший врачебную практику, так как на зарплату врача был не в состоянии прокормить пятерых детей, ответил на этот вопрос так: «Позвал поиск правильной жизни, когда все понятно: кто с тобой и с кем ты...»

Ответ самого молодого члена экспедиции, спасателя Александра Унтила, был таков: «Когда я служил в Воздушно-десантных войсках, у нас был закон — своих не бросать. Сколько человек ушло на задачу — будь то засада, налёт или разведывательно-поисковые действия — столько же должно вернуться, и не важно, мертвые они или живые. Вытаскивать необходимо всех. Были случаи, что при спасении одного человека или при эвакуации погибшего товарища гибли другие, но никто никогда не ставил под сомнение непреложность этого неписаного закона братства и чести. Из истории Великой Отечественной мы знаем, что война не окончена, пока не устанут и не захоронен последний солдат. Люди, которых мы сейчас ищем в Арктике, — в своем роде тоже солдаты. У них был свой фронт, пали они за то же, за что погибли их потомки на различных полях брани — за укрепление мощи и славы России, расширение ее границ, за Великий северный морской путь, в открытие которого они внесли свой вклад. Путь, который оказался таким незаменимым для Советского Союза во время Великой Отечественной войны, который спас тысячи жизней. Найти их для нас — дело чести и смысла жизни, пусть страна сейчас и живет другими ценностями».

Так вот. Первые сенсационные находки — останки одного из членов группы Альбанова, дневник, экспедиционные вещи — сделал (когда, казалось всем, поиск нужно было сворачивать) именно Александр Унтила, и я полагаю, совсем не случайно. Эти находки — словно награда свыше, от Бога, за всю предыдущую, еще не длинную, но яркую, горькую и честную жизнь.

«Когда я служил в ВДВ...» Он не просто служил в ВДВ. К 2007 году, к своим тридцати годам, он — майор, заместитель командира отдельного 218-го разведывательного батальона спецназа ВДВ, в свое время героически проявившего себя в Карабахе, Приднестровье, Абхазии; батальон этот входил в знаменитый 45-й отдельный гвардейский разведывательный полк им. Александра Невского. Сформированный в декабре 1994 года прямо во время боев на основе 218-го батальона (к нему был добавлен «непромокаемый» 901-й десантно-штурмовой батальон, выдержавший годичную блокаду в осажденном Сухуми), 45-й полк на то время был едва ли не единственной полнокровной боевой единицей во всех Вооруженных силах России. Создавал его начальник разведки ВДВ полковник Павел Поповских, тот самый, которого потом обвинят в убийстве журналиста Д. Холодова и долго, несмотря на несколько оправдательных приговоров, продержат за решеткой. 1 января 1995 года под звон кремлевских бокалов полк бросят в Грозный, как последний резерв всей Российской армии, и он спасет ее от позора, от поражения и окончательного развала, как, впрочем, и Россию как государство.

Обязательный для нынешних журналистов вопрос о дедовщине заставляет Александра Унтила усмехнуться:

— Моим солдатам некогда было этим заниматься. Дедовщина — от избытка свободного времени, а у нас его не было. И потом: наше подразделение — боевое, здесь другие взаимоотношения. Сегодня ты молодого обидишь — а завтра пойдешь с ним на боевую задачу. И не обязательно, что он может выстрелить тебе в спину, он просто, скажем так, не захочет, рискуя своей жизнью, вытаскивать тебя, раненого, из огня. Убить можно и бездействием...



Как удалось не потерять ни одного солдата? Секрет прост: дрючить и еще раз дрючить, и солдат, и, тем более, себя — и в плане дисциплины, и в плане боевого мастерства. Спасибо моему первому ротному! Он говорил так: ранили или убили, значит — дурак, плохо воевал! Наверное, и Бог помог, хотя верующим я себя назвать не могу, только еще иду к нему... Уже в 22 года я стал командиром группы спецназа. Четыре месяца я входил в специфику ведения боевых действий. Ездил по «учебкам», отбирал солдат, обычно самых хулиганов, детдомовцев, с условными судимостями — из такого контингента, как правило, получаются самые лучшие солдаты. Когда командир спецназа готовит солдат к операции, он с ними спит и ест. Два месяца подготовки проходят в лесу, где вы вместе живете, добываете себе пищу, отрабатываете засады, вождение, стрельбу боевых машин. Командир группы — сколько бы ему ни было лет, хоть двадцать два, — полностью за все отвечает. И пока их готовишь к боевым операциям, сплетаешься с ними душой, держишь их, конечно, на дистанции, но, тем не менее, получается почти семья. Я дважды ночью вставал, обходил казарму, знал каждого солдата, как зовут его папу, маму, знал клички их кошек, собак, знал, на какой пятке у кого какая мозоль... Жаль, что так внезапно все закончилось. Тяжело было жить, когда наш батальон расформировали. Можно сравнить это с любовью, как если бы ты любил человека, полностью был поглощен им, и потом вас внезапно разлучили!

На вопрос: «Какие для Вас самые дорогие награды», он ответит: «Солдатская медаль “За отвагу!”».

А вот — случайно услышанный разговор. Новобранцы спрашивают старослужащего, к кому в роту лучше попроситься. Тот отвечает: «Все вы к Унтила не попадете, но счастье тому, кто попадет к нему. Будет тяжело, будете гоняемы нещадно, но до дембеля доживете».

В 2007 году, оставив за плечами два года и восемь месяцев боев и специальных операций на Кавказе и не потерявший *ни одного солдата* (не многие, наверное, могут похвалиться подобным!), набравший бесценный боевой опыт Александр Унтила вынужден оставить российскую армию. Самый инновационный в истории России министр обороны, «маршал Табуреткин», в «реформаторском» раже намеревался вообще расформировать войска ВДВ (по причине их ненужности), но легендарному генералу Шаманову все-таки удалось отстоять их. Однако судьба отдельного уникального 218-го батальона специального назначения, в январе 1995 года спасшего армию и страну от позора, все равно была предreshена, он попал под каток «реформирования» по той простой причине, что квартировался, в отличие от 45-го полка, не в Кубинке, а в центре Москвы, в Сокольниках. А земля в центре Москвы, дураку понятно, дороже всякого золота и обороноспособности страны; наверное, не только Лужкову это не давало спокойно спать. А может, все еще влиятельная Пятая колонна в российской власти не могла простить батальону, как и создавшему его, а затем 45 полк полковнику Поповскому, Грозный. Батальон полностью разогнали, аллею Героев раскорчевали, землю продали и построили на этом месте элитные многоэтажки. Александр потом с горечью говорил мне: «Мне предложили единственный вариант: занять в Кубинке, в 45-ом полку, нижестоящую на две ступени должность командира роты... обеспечения (баня, столовая, склады), других офицеров, а среди них были люди намного авторитетнее меня, просто выбросили на улицу, ничего не предлагая. Хвататься за соломинку и менять “ориентацию” я не захотел, ушел со всеми». Так в 30 лет он стал бездомным военным пенсионером.

Полк в Кубинке тоже пошерстили, на 60 процентов сократили количество офицеров. От расформирования его спас генерал Шаманов, а от передислокации — не поверите, удивительные обстоятельства. Многих в стране резануло по сердцу, когда 16 августа 2009 года разбился, выполняя рядовой тренировочный полет, начальник 237-го гвардейского Центра показа авиационной техники им. И. Н. Кожедуба в Кубинке, командир, ведущий и соло-пилот легендарной, известной всему миру пилотажной группы «Русские виажи», заслуженный военный летчик, полковник Игорь Ткаченко. Этому предшествовало решение властей передислоцировать Центр и, соответственно, пилотажную группу в безквартирный Липецк, а авиабазу отдать миллиардеру Сулейманову под vip-аэропорт для олигархов. Игорь Ткаченко к кому только не обращался, пытаясь спасти авиабазу! Накануне своей трагической смерти, потеряв последнюю надежду на спасение авиабазы, он в отчаянье написал рапорт об увольнении из Вооруженных сил. И утром (можно представить, в каком он находился нервном напряжении) погиб, столкнувшись в воздухе с другим самолетом, — ошибка, которую в принципе никак не мог допустить не только ас, но и любой рядовой летчик.



Известный летчик-испытатель Магомед Толбоев на вопрос журналистов, что он думает по поводу перевода авиабазы из Кубинки, однозначно назвал это решение преступлением, независимо от того, кем оно принималось. И вот, после трагической гибели командира всемирно известной пилотажной группы, вдруг стало известно об отмене решения о переводе авиабазы и, соответственно, пилотажной группы в Липецк. Я, как, наверное, и многие, наивно подумал, что у кого-то эта смерть пробудила совесть. Но увы, с совестью у принявших это решение менеджеров от власти было все в порядке. От совести откупились, присвоив посмертно Игорю Валентиновичу Ткаченко звание Героя России. А спасло Кубинку то, что, она, оказывается, входила в перечень военных объектов, которые по соглашению с НАТО подлежат взаимной инспекторской проверке. И в НАТО возмутились, что российская сторона нарушает соглашение — не поставив западных партнеров в известность, переводит авиабазу в другое место. Что сказать? Спасибо «родному» блоку НАТО!..

И все-таки цену офицерам 218-го батальона знали. Через какое-то время перебивающегося случайными заработками Александра Унтила пригласили не куда-нибудь, а... в охрану первых лиц государства. Позади — потерянная, пока воевал, семья, на горизонте — московская квартира, полковничьи погоны. Но через несколько месяцев, подыскав повод, Александр Унтила уволился в запас. «Не офицерское дело, — скажет он, — бегать за коньяком, выгуливать собачку хозяина и носить за его женой сумки в магазине. Пусть я снял погоны, но до конца жизни я должен блюсти свою честь. Все знают, что я был офицером. А я должен помнить, что я и остался офицером, только запаса. Бывших офицеров не бывает. Ты не вправе совершать недостойные поступки».

Война вроде бы далеко позади. Но до сих пор он не может отделаться от привычки, где бы ни был, ночью просыпаться через каждые 15 минут — ровно на четыре секунды, — чтобы окинуть взглядом «палатку», спросить дежурного о наличии людей и оружия. Это сидящая в нем пружина офицера спецназа после долгого поиска работы «по душе» в конце концов привела его в МЧС. Ознакомившись с его, как ныне говорят, «резюме», ему была предложена командирская должность, но он, посмотрев в глаза построенных перед ним будущих подчиненных, у которых через одного на груди был орден Мужества, а за спиной — как и у него, война, сказал: «Я не могу командовать этими людьми. Прежде чем взять над ними командование, я должен доказать, кто я. Прошу зачислить меня в этот отряд рядовым».

За три года в МЧС, вдобавок к многочисленным военным, он уже освоил 12 необходимых спасателю профессий, хотя многие из них для него были далеко не в новинку. Он принимал участие в спасательных операциях на Алтае, в Туве, на Гаити, в Японии, принимал участие в ликвидации техногенной катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС. Во исполнение поручения Президента России в качестве гуманитарной помощи разминировал самые тяжелые в минном отношении районы Сербии, на которые не было карт. Принимал участие в работе поисковых и мемориальных отрядов на территории Смоленской, Тверской, Ленинградской, Московской областей по поиску, идентификации и перезахоронению останков советских воинов Великой Отечественной войны, уничтожению боеприпасов. Принимал участие в водолазной экспедиции к остаткам эскадренного миноносца «Керчь» на траверсе Кадошского маяка, г. Туапсе, в экспедициях к затонувшим судам в Арктике в акваториях Баренцева и Белого морей... Я выпросил у члена Попечительского совета Аксаковского фонда, гендиректора Катав-Ивановского приборостроительного завода компас для диверсантов-подводников и через Олега Продана переслал Александру. Уже через неделю я получил по электронной почте письмо: «Огромное спасибо! Он очень мне пригодился, пришлось искать погибшего внутри затонувшего судна в абсолютной темноте, во взвеси ила, где ничего не видно на расстоянии вытянутой руки и трудно сориентироваться, где верх, где низ».

Сейчас как бы параллельно существуют две России: одна — всё на продажу, во главе с Чубайсами, Абрамовичами и Прохоровыми, с инновационными министрами, которые уничтожают национальное образование, культуру, медицину; и другая — коренная, униженная, втоптанная в грязь, которая пытается спасти то, что от страны еще осталось, прежде всего, ее духовную суть, основу, без которой Россия перестанет быть Россией. Доблестный русский офицер Александр Унтила, в 30 лет вышвырнутый из армии (сколько он еще солдат спас бы в той же Чечне, Дагестане, Ингушетии!), стал профессиональным спасателем, потому что он по жизни — спасатель. Когда случилась трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС, сразу несколько комиссий, авторитетных ученых,



аналитиков пришли к заключению, что страшная техногенная катастрофа — прежде всего результат расчленения Чубайсом единой энергетической системы страны и Саяно-Шушенской ГЭС в частности, вставал даже вопрос о возбуждении против него уголовного дела. Но уже через неделю, как по команде (а может, действительно по команде), его имя в связи с катастрофой упоминать перестали, нашли других виновных, мелких стрелочников. В то время, когда Александр Унтила, рискуя жизнью, разгребая жуткие завалы, спускался все ниже и ниже в жерло порушенной станции, пытаясь найти еще живых, а его товарищи ныряли в смесь воды и вытекшего из трансформаторов масла в легких водолазных костюмах, к тому же ночью (и то, и другое категорически запрещено, потому что сопряжено со смертельной опасностью, но некогда было ждать, когда привезут специальные водолазные костюмы — счет шел на минуты и даже на секунды, и четыре водолаза в результате действительно попали в больницу с тяжелым отравлением масляными парами), Чубайс восседал, вальяжно развалившись, на каком-то правительственном заседании и, нагло улыбаясь, поучал, как надо управлять страной. Он не только, как всегда, вышел из воды сухим — через какое-то время он уже командовал другой «инновационной» корпорацией, «осваивавшей» народные деньги.

В 2011 году 45-й полк ВДВ за его боевые заслуги в мирное время президент Медведев наградил орденом Кутузова. Правда, перед этим он наградил главным орденом страны — Андреем Первозванным — главного разрушителя страны, рекламщика пиццы Михаила Горбачева, что было воспринято народом как плевок в душу, и потому все другие награды стали выглядеть чуть ли не как оскорбление.

Полк в день 66-й годовщины Великой Победы, без Александра Унтилы и без других офицеров доблестного 218-го батальона, прошел по Красной площади в парадном строю. Незадолго до этого Александр Унтила вернулся из Японии, где работал в самом разрушенном землетрясением районе — Сендае. Вполне возможно, что он не видел парада даже по телевизору, по крайней мере, его телефон и электронная почта в тот день и позже молчали, вполне возможно, что в это время он, спасая людей, работал на очередном стихийном бедствии или техногенной катастрофе.

Надо признать, парад неплохо смотрелся, невзирая на инновационную мешковатую форму от Юдашкина, в которой уже перемерзло, переболело и даже перемерло столько российских солдат. Парад неплохо смотрелся, но у многих поведение первых лиц государства вызвало буквально шок. Даже кремлевские старцы, как к ним ни относиться, в свои восемьдесят с лишним лет в День Победы «от и до» выстаивали военный парад, отдавая дань уважения прежней армии — освободительнице — и нынешней — охранительнице — Родины. А тут — три «богатыря»: главнокомандующий, премьер-министр и министр обороны раскрепощено так, даже вальяжно, расставив ноги, как в народе говорят, по-бабьи, сидели на лавочке, только семечки не лузгали. Словно мимо них в торжественном марше проходила не Российская, теперь впервые за всю свою историю на самом деле ставшая рабоче-крестьянской (может, потому к ней такое отношение?), армия, воюющая и несущая боевые потери, тот же 45-полк, а какие-нибудь наемные ландскнехты, вроде французского Иностранного легиона.

И еще одно. О понятии «русский». Что это — чистота крови или отношение к России? Как ни горько, может, некоторым «суперрусским» признать, но дело не в крови. Александр Матросов был башкиром, а меня, русского, например, переполняет гордость оттого, что башкир погиб за Россию — принципиально *русским* солдатом. Одна из самых любимых у башкир старинных песен — песня «Любезар», о Великой Отечественной войне 1812 года. «Любезар» в переводе — «любезные». Потому что так назвал башкирские конные полки Кутузов, они доблестно сражались в частях атамана Платова и однажды вместе с донскими казаками чуть не взяли в плен самого Наполеона. И нынешние башкиры гордятся этим, и потому они для меня — русские. В том и суть истинной русскости, что под ее духовным влиянием люди самых разных национальностей (оставаясь при том башкирами, татарами, таджиками, узбеками), становятся русскими, то есть любящими Россию и даже отдающими за нее жизнь. Не могу сказать, что меня не тревожит нынешний мощный наплыв в Россию так называемых мигрантов. Но если Россия, как некогда, снова станет сильной, великой страной, если у нас по-прежнему сильная кровь и сильная объединяющая национальная идея, Россия переживет любых мигрантов. В конце концов, и Пушкин, и Лермонтов — потомки мигрантов. Если мы будем только стенать и плакать, лить слезы и размазывать сопли, нищие телом и духом, — как говориться, туда нам и дорога! Пятая колонна в российской власти, в российских СМИ гораздо страшнее мигрантов.

В свое время я поинтересовался у Александра его странной фамилией и заметил, что он упорно не склоняет ее, хотя мужские фамилии в русском языке склоняются. «Нет, моя не склоняется», — твердо ответил он. Потому что доблестный русский офицер Александр Унтила — этнический финн. Его дед попал в плен в так называемую финскую кампанию, из-за начавшейся Великой Отечественной войны не успел вернуться на родину, а уже его сын, отец Александра, офицер-вертолетчик, доблестно воевал в Афганистане.

И, возвращаясь к полярной поисковой экспедиции... Да, она сделала сенсационные находки. Но, по-моему, главный результат ее в том, что она вообще состоялась — через 96 лет после случившейся в Арктике трагедии! Ведь до этого пропавших практически никто не искал. И вот, нашлись люди, которые не смогли жить спокойно при мысли, что где-то лежат не приданными земле останки наших соотечественников.

Результаты экспедиции послужили толчком к возвращению имени Валериана Альбанова в Уфу. Во время XXII Международного Аксаковского праздника состоялась торжественная церемония присвоения одному из судов Уфимского командного речного училища имени «Штурман Альбанов». Специально на церемонию прилетели дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт В. П. Савиных, один из организаторов поисковой экспедиции по следам пропавшей группы Альбанова, выдающийся военный и полярный летчик, Герой России, генерал-лейтенант Н. Ф. Гаврилов, начальник поисковой экспедиции О. Л. Продан и сделавший первые сенсационные экспедиционные находки рядовой аэромобильного отряда «Центроспаса» МЧС России Александр Унтила.

Чтобы пригласить его на Аксаковский праздник, я обзвонил всех участников экспедиции, но никто из них не знал, где он может быть, молчали мобильник и электронная почта. И только через три месяца, в конце мая, по электронной почте пришли две фотографии: на одной Александр Унтила в камуфляже и головном уборе, похожем на чалму, с автоматом Калашникова, в каких-то джунглях, на второй — уже с американской винтовкой М-16 на каком-то корабле (как позже, при встрече, узнаю — на проводке судов через пиратские районы Южной Африки).

Прощаясь после праздника, обнялись.

— Куда ты сейчас? — спросил я.

— Не знаю. Где что обрушится, взорвется, заработает вулкан, взметнется цунами...

Через день он прислал мне по электронке письмо: «Михаил Андреевич, ну, нет слов. Был бы я чуть сентиментален, отписался бы в восторженных тонах. Ощущение, что глотнул чистого воздуха и хлебнул свежей воды. Теперь вопросы: “зачем” и “ради чего” долго не возникнут — за вот таких людей, как Ваши земляки, — хоть под пули, хоть в завал. Спасибо, что показали НАСТОЯЩУЮ Россию, а то в этой долбанной Москве все представления исказились. Живы мы, и жить будем...»

P.S. Не от Унтила, а от врача экспедиции Романа Буйнова я узнал, что Александр пишет. Я попросил дать мне что-нибудь прочесть. Саша смутился: «Да какой я писатель? Я только пробую... Я лишен воображения. Я ведь пишу только о том, что сам пережил-перевидел».

Рассказы Александра Унтила меня потрясли. Я их невольно сравнил с жесткой, честной и горькой прозой окопных лейтенантов Великой Отечественной: Бондарева, Воробьева, Быкова...

Александр Унтила, как и Валериан Альбанов, не собирался становиться писателем и не оканчивал литературного института имени великого пролетарского писателя. (Это не значит, что я против литературного института.) Просто у каждого писателя своя, начертанная Богом, судьба и, соответственно, свои университеты.



МОИ РОДНЫЕ СТАРОВЕРЫ

Есть у меня одна икона... Стоит в Петербурге, на полке среди других икон. Она для меня — самая главная.

Другие, современные, купленные в церковных лавках за последние двадцать лет — самые разные: яркие, блестящие, закатанные в пластик — и самые простые, бумажные, производства 1990-х годов. Есть и одна старинная: большая, потемневшая от времени, с металлическим окладом, в деревянном коробе, под стеклом — и лежит под ней чей-то давний венчальный веночек...

А моя — целиком из желтого металла, хоть и небольшая, но тяжеленькая, со следами грубоватого литья, и на обороте кое-где тронутая зеленью. Моя... Старообрядческая. Сколько ей лет? Не знаю, да мне и знать не надо. Досталась она мне от матери, Ольги Прокопьевны, а к ней попала... Самым необычным образом!

Где-то эдак в году 1965-ом мать была в одной деревне под Бийском. Сидела на берегу речки, где купались местные ребята и где ходил скот — и коровы, и лошади — место было и шумное, и затоптанное... Мать надумала сполоснуть ноги и, заходя в воду, на чем-то поскользнулась. Нагнулась, покопалась в песке-иле — и вытащила икону!

— Я сразу ее узнала, — такая была и у дедушки...

Икона лежала изображением вниз — потому и поскользнулась мать... Потому и сохранилась — не повредили икону ни конские подковы, ни тележные колеса, ни что другое...

Почему нашла мать — будучи впервые на этой речке? Воля Провидения, воля Божия, никак не иначе!

Сколько лет пролежала? Трудно сказать. Могли забросить богоборцы 1920-30-х годов — да деревня-то не староверская, таких икон тут быть не должно. Получается — обронили с воза староверы, когда переезжали речку? А когда переезжали? Ого-го! Когда переселялись в глухие места, на пути в Горный Алтай, в поисках свободы для своей веры, свободы для себя, свободы от притеснений, в поисках царства добра и справедливости — Беловодья... А было это в конце XVIII — начале XIX-го века... Впрочем, как утверждают историки, подобные иконы в массовом количестве начали лить во второй половине XIX века, на Урале, и большинство алтайских икон — уральские. Есть еще один вариант, почему икона оказалась в реке: в 60-е годы XX века начался кризис староверских общин, умирали последние носители веры, и когда священный предмет передать было некому, его, по обычаю, могли закопать в лесу, оставить на ветке дерева или — опустить в реку. Отдать на Божий промысел...

Найденная икона жила со мной в Бийске, лежала на этажерке, среди моих книжек-учебников, я иногда брал ее в руки, рассматривал... Ничего, разумеется, не понимая — просто: нечто из другого мира, необычное. Чтобы повесить ее на стену, хотя бы на гвоздик — и в голову никому прийти не могло. Зачем?.. Никто вокруг ничего не знал о Боге, о Христе, не знал молитв, никогда не крестился — вообще ничего такого не знал и понятия даже не имел. А что имел — забыл...

Появись икона на стене — насколько бы она не соответствовала всему вокруг — и в доме, и за стенами дома — даже и сказать нельзя. Мы все были, я бы так определил, — естественные атеисты. Много лет спустя я прочитал слова Иоанна Златоуста, смысл которых таков: если бы все люди были идеальные, то и религия была бы не нужна. Но мы-то были совсем не идеальные, и грех вокруг бурлил и кипел...



Чего стоило одно только беспробудное пьянство моего отчима — и многоэтажные мамы! Да и не отчим он был мне, а так... Прибился к нам когда-то мужик: вначале было что-то вроде бы похожее на семейную жизнь, а потом он просто жил сам по себе. Так десять лет и прожил. В пьянке, магах и табачном дыму — до самой смерти. Впрочем, это отдельный сюжет... Были и какие-то проблески, отчего я сейчас иногда поминую Валентина Алексеевича... Но отдельный, отдельный сюжет — тем более что он был не из староверов.

Лежала себе икона, лежала — и привлекла внимание одного моего приятеля, начинающего коллекционера.

— Да это и не икона — так, от створня часть, — определил он. — Ты мне ее продай, на обмен пойдет.

От створня часть — это часть створчатой иконы, значит; а на обмен — это он ее обменяет, значит, на что-нибудь для себя подходящее... Хотя наше семейство находилось даже не в бедности, а в глубокой, настоящей нищете, в каком-то люмпен-пролетарском положении, и каждый рубль для нас имел значение (а он предлагал целых десять рублей), я продавать отказался. Потом приятель приходил в мое отсутствие, пытался купить икону у матери — не купил... Не суждено было ей закончить свой путь в гряде копеечных обменных предметов, переходящих из рук в руки.

Теперь стоит на полке в Петербурге, и смотрю я на нее с полным пониманием — давно уже. Хотя... Бывали такие времена — когда я только-только перебрался в Ленинград-Петербург... Не то что иконе — мне самому едва-едва находилось место — на полу, в чужом углу. Ей-богу, понятия не имею, как икона оказалась со мной в Ленинграде! Выражаясь по-ленински, я пребывал уже в архилюмпенском положении. Все свое ношу с собой — так сказать было нельзя. Все свое носил на себе. Однако икона оказалась на берегах Невы... Да впрочем, какой там Невы! Обводного канала — грязно-мутного потока на краю исторической части города. Думаю, только икона и помогла преодолеть ад тогдашней жизни — жизни в коммунальной квартире, когда я не то что про икону — про самого себя-то едва помнил, заедаемый клопами и комарами, осаждаемый крысами — и страшными питерскими коммунальными алкашами. И на работе тоже был ад.

Икона где-то тихо ждала своего часа, когда я, наконец, возьму ее в руки, как в юности, рассмотрю и — поставлю уже на видное место...

Проходили годы, мое терпение вознаграждалось, волшебная жизненная шкатулка открывалась все шире — в ней находилось и счастье обретения веры, — и вот икона дождалась того часа, когда на нее люди помолились. Правда, сначала это был не я, а мои гости — православные люди из Америки, русские старообрядцы из штата Орегон — потомки тех староверов, которых двести лет назад икона хранила на их трудном пути в Горный Алтай, в поисках свободы, добра и справедливости...

* * *

Мои родные-староверы почти все — родом из Горного Алтая. Даже если они происходят из Орегона, Бразилии, Китая, даже Аляски — все равно их корни — в Горном Алтае! А самые близкие мои родные-староверы — конечно, из Бийска, где я и родился; и с той поры, как я начал что-то понимать, на всю жизнь усвоил: Верх-Уймон, Усть-Кокса, Кокса, Мульта, Катунь, Белуха... и другие названия сел, рек, речек и гор — даже и не зная, что это такое и где находится. Особенно часто упоминался Верхний Уймон — родное село матери и тетки — Татьяны Прокопьевны, тети Таси. Она мне была как вторая мать...

В конце 1950-х — начале 60-х годов, когда мне было 8—12 лет, родственники мои были еще людьми молодыми. Молодыми, но уже и не молоденькими — под сорок, за сорок. Горный Алтай, где прошли детство и юность, они покинули уже давно, начиналась пора воспоминаний...

Верхний Уймон... И дедушка — Вахрамей Семёнович Атаманов. Именно он упоминался в первую очередь, не мама даже — Марьяна Карпеевна, не отец — Прокопий Варфоломеевич, а дедушка — Вахрамей, по-книжному — Варфоломей. Он был главой большого кержакацкого семейства — полновластный хозяин дома, всего хозяйства, распорядитель всех житейских дел. И все это значило одно: он сам — первый работник, не указчик, не приказчик, а — работник. Кстати: кержаками, как я понимаю, сами себя уймонские староверы не называли — так их называли люди сторонние.



Работа... Работа была с раннего утра — и до позднего вечера, по-другому и быть не могло. Представьте только себе: нет электричества, нет почти никакой техники — а любой продукт, любой товар нужно произвести, изготовить самому: хлеб, мясо, масло, одежду, телеги, доски — всё-всё-всё!

— Ох, рученьки мои, рученьки! — махал руками в изнеможении Вахрамей Семёныч — рассказывали мне мать и тетка.

Помашет руками, передохнет чуть-чуть — и снова в работу...

К работе приучались все, с раннего детства.

— Мы — пояски ткали, — говорили мне тетка и мать.

Пояс — важная часть староверского бытия — даже не одежды, а именно бытия! Им подпоясывались рубахи и сарафаны, без него никогда и нигде нельзя было находиться. Почти как нательный крест! Он отделял человека от греховного мира, оберегал от нечистой силы... Он не только выполнял утилитарную функцию, он был предметом веры, символом веры.

Пояс является любимым изделием староверов, изготавливается их много, самых разных цветов и видов. У каждого в доме хранится целый запас поясов: пользуются ими сами и одаривают гостей. У меня в Петербурге — целая коробка с поясами из Орегона! Они украшены не одними только геометрическими орнаментами, но и мудрыми изречениями из старообрядческих книг. Например: «Богородица, благословен плод чрева твоего, яко родила еси Христа Спаса, избавителя душам нашим»...

Из Орегона — все равно что из Горного Алтая, Уймона и окрестных сел, где сейчас возрождается традиция изготовления поясов. Достают из оregonской коробки, рассматриваю... Теперь достают привезенные из Верхнего Уймона — то же самое. Слава Богу, слава Богу — жива традиция, не этнография — сама жизнь!..

Впервые жизнь Верхнего Уймона я увидел в далеком 1964 году, когда мне было 14 лет, и нигде кроме Бийска я до этого не бывал... Чисто городской парень.

— Прямо Древняя Русь, — заявил я, стоя посреди улицы и оглядывая все вокруг.

До-о-лго потом мои родственники посмеивались, пересказывая друг другу мои слова... Бревенчатые дома, старые, от времени — серые, словно шелковые. Самое большое впечатление произвели заборы, ограды — так называемые прясла: толстые длинные жерди, лежащие своими концами на широких торцах вкопанных в землю бревен. Очень основательные сооружения.

Дома — вида сурового, безо всяких наружных украшений. Внутри — довольно просторная горница, большая русская печь, полати, широкие лавки вдоль стен... Узнала ли все это моя душа, отозвалась ли как-нибудь? Удивительно: нет! А ведь за мной стояли десятки крестьянских поколений — и многие века деревенской жизни. Как же легко обрываются человеческие корни — одним ударом!..

К тому же я был уже почти взрослый, и жизни деревенской, повторяю, не видел. В Бийске мы жили в районе так называемой новостройки: двухэтажные кирпичные, деревянные дома, бараки — потом появились панельные пятиэтажки. Вокруг кипела Всесоюзная ударная комсомольская стройка! Строили целый комплекс оборонных предприятий, в народе называемый «лесные братья»: они находились в лесу. Благодаря этим «братьям» город вырос, думаю, раза в три... В Бийске появились невиданные доселе люди: москвичи, ленинградцы, да еще «чучмеки» — так называли кавказцев. И прочие, прочие... Были даже академики, как я потом узнал!

Ну, а я со всем своим окружением очутился в «бараках коммунизма». Это был прогресс! До этого, после потери всего имущества и хозяйства — от «раскулачивания», — мои родные-староверы, оказавшись в Бийске, снимали углы... А некоторые и без «раскулачивания» сбежали в город — жить в деревне было невыносимо...

«Бараки коммунизма» были разнообразные — мне довелось пожить и в интернате, и даже — недолго — в детдоме. Я становился настоящим советским человеком — что называется, до мозга костей. Естественным атеистом. Притом очень подкованным! Запросто мог целый кроссворд разгадать. Мой отчим, Валентин Алексеевич, бывший интеллигент, нередко посылал меня в газетный киоск.

— Сбегай, возьми газет — всех по одной.

Газеты стоили копейки, я притаскивал домой целую пачку, «всех по одной» — и мы сидели, и все подряд читали: и про международное положение, и про социалистическое соревнование, и про дальние города и страны, и про строительство коммунизма, и про «религиозный дурман»... Про все на свете.



Так что стоял я, четырнадцатилетний подросток, посреди уймонской улицы, как настоящий гражданин мира. Хоть из «бараков коммунизма» — но с мыслями о Париже и Нью-Йорке!

А в Уймоне жизни не было — так мне тогда показалось. Человеческая память устроена таким образом, что подростковые впечатления помнятся гора-а-здо лучше, чем, скажем, 30-летние, 40-летние... Помню я все прекрасно. Нет, разумеется, был в Уймоне колхоз, были фермы, поля, трактора, покосы и все остальное, только деревня стояла пустая... Покажется старик, пробежит ребенок — и больше ничего. Грязь на дороге, серые избы, заборы — и тишина. Всё серое: одежда, предметы — всё... А главное — пустота. Мне еще мать говорила, что после войны деревни и села опустели.

— До войны по деревне идешь, народу — полно! Разговоры, смех, веселье было, все как-то в жизни уже утряслось. У меня даже гитара была, хоть я и в чужом углу жила. Устоялось, утряслось... А после войны — пустота...

Пустоту я и заметил...

Однако были времена, когда жизнь в Уймоне текла широко, полнокровно, естественно, когда люди работали для того, чтобы выжить, знали время для отдыха и для праздников, всегда помнили о Боге — и знали, для чего они живут. Мои родственники получили прививку из этой жизни... Прививка оказалась столь сильна, что они прожили свой век... ну, почти в соответствии со словами Иоанна Златоуста! Потому и я, пишуший сейчас эти строки, истинно дивлюсь самому себе: и тогдашнему, 14-летнему, и 40-летнему, и даже 50-летнему... Не было же ничего, из-за чего я бы начал истинно жить! Только молитвы моих родственников, бабушек и дедушек, стоящих у престола Божия, и просящих за меня...

У престола Божия, в красоте Божией они прожили свою жизнь и здесь — на земле. Беловодье они ведь и нашли, и создали! Хотя, по сердечной простоте, все продолжали искать и мечтать о нем...

Красота Божия — это Уймонская долина, что в самом сердце Горного Алтая, там расположились деревни Верхний Уймон, Нижний Уймон, Мульта, маленькая Тихонькая — и большая Усть-Кокса... А вокруг — зеленые горы, а вдали — горы в снежных шапках — белки... Впервые на одну из ближайших гор я забрался тогда, в 1964-ом, вместе с одним из многочисленных родственников, троюродным братом. Вот я — на фотографии, сделанной им: за мной, внизу — районный центр Усть-Кокса, а в долине сливаются реки, зеленая — Кокса, и голубая (белая!) — Катунь. И синее небо... Цвета я запомнил с тех времен — а фотография, разумеется, черно-белая.

Любовался ли я всем этим тогда? Человек в таком возрасте не любит — он живет всем окружающим миром!

Как и жили мои родные-староверы, во всяком возрасте... Работали, растили детей — и растили свою пшеницу, которую любовно называли «Аленька» — за ее красноватый цвет. Особая была пшеница, из нее, говорят, пекли караваи к царскому столу.

Скота до революции 1917 года держали без счета — масло также попадало в Зимний дворец... А в лесах, в горах — ягоды, грибы, всякие растения и коренья, а в реках — рыба...

Божия благодать.

* * *

«...И считает Вахрамей число подвод с сельскими машинами. Староверское сердце вместило машину. Здравое судит о германской и американской индустрии. Рано или позднее, но будут работать с Америкой... Народ ценит открытый характер американцев и подмечает общие черты. «Приезжайте с нами работать», — зовут американцев. Этот дружеский зов прошел по всей Азии.

После индустриальных толков Вахрамей начинает мурлыкать напевно какой-то сказ. Разбираю: «А прими ты меня, пустыня тишайшая. А и как же принять тебя? Нет у меня, пустыни, палат и дворцов...»

Знакомо. Сказ про Иосафа. «Знаешь ли, Вахрамей, о ком поешь? Ведь поешь про Будду. Ведь Ботхисатва — Ботхисатв переделано в Иосаф».

Так влился Будда в кержакское сознание, а пашня довела до машины, а кооперация до Беловодья.

Но Вахрамей не по одной кооперации, не по стихирам только. Он, по завету мудрых, ничему не удивляется; он знает и руды, знает и маралов, знает и пчелок,



а главное и заветное — знает он травки и цветики. Это уже неоспоримо. И не только он знает, как и где растут цветики и где затаились коренья, но он любит их и любитесь ими. И до самой седой бороды набрав целый ворох многоцветных трав, просветляется ликом, и гладит их, и ласково приговаривает о их полезности. Это уже Пантелей Целитель, не темное ведовство, но опытное знание. Здравствуй, Вахрамеем Семёныч! Для тебя на Гималаях Жар-цвет вырос».

Так пишет о моем прадеде в книге «Алтай — Гималаи» художник Николай Константинович Рерих... Во время своей Центрально-азиатской экспедиции 1923—1928 годов, летом 1926-го, Рерих останавливался в доме Атаманова в селе Верхний Уймон в Горном Алтае. Несколько десятилетий там существует музей, построенный, созданный поклонниками Рериха со всех концов Советского Союза.

В Верхнем Уймоне мне довелось побывать и в 1983 году, когда там только-только создавался музей. По итогам поездки опубликовал я путевой очерк в журнале «Нева».

Всю жизнь имя Рериха сопровождает меня — в отдалении, в отдалении, но сопровождает. Когда-то мать и тетка рассказывали о приезде рериховской экспедиции — не зная ни о каком Рерихе и экспедиции, а называя всех одним словом: американцы. Потом сам что-то почитывал, репродукции рассматривал, на выставки ходил. Иногда рериховцы (члены рериховских обществ) интересовались моей скромной персоной — в связи с Вахрамеем и музеем... Почитал-полистал в свое время огромный труд доктора богословия, диакона Андрея Кураева — «Рерихи: сатанизм для интеллигенции». Об их учении...

Прошли годы, и вот что я могу сказать сам.

В том же 1926 году Рерихи побывали и в Москве, куда привезли послание махатм — восточных мудрецов, и ларец «со священной гималайской землей, на могилу брата нашего, махатмы Ленина». Н. К. Рерих пишет: «В 1926 году мы имели долгие добрые беседы с Чичериным, Луначарским, Бокием. Мы хотели тогда же остаться на Родине, приобщившись к строительству. Но мы должны были ехать в Тибетскую экспедицию, и Бокий советовал не упускать этой редкой возможности».

А вот какие строки содержатся в послании махатм: «На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий... Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов... Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали на значение познания. Вы преклонились перед красотой. Вы принесли детям всю мощь космоса... Вы увидели неотложность построения домов Общего Блага...»

Знаем, многие построения совершатся в годах 28—31—36. Привет вам, ищущим Общего Блага!».

Такие вот премудрости... То есть, все, сотворенное большевиками, — махатмами одобряется, а Рерихом — принимается. В 1927 году в книге «Основы буддизма» Елена Рерих написала: «Учитель Ленин знал ценность новых путей. Каждое слово его проповеди, каждый поступок его нес на себе печать незабываемой новизны...»

Притом, что все 20-е годы, особенно — 30-е, в стране шло уничтожение, прямое уничтожение ни в чем не повинных людей. Миллионов людей! И участь многих из тех, с кем Рерих вел «долгие, добрые беседы» уже была предreshена...

И Жар-цвет на Гималаях вырос не для Вахрамеем Семёныча. И пожелание: «Здравствуй, Вахрамеем Семёныч!» — было не для Вахрамеем Атаманова. Как раз в те дни, когда писались эти строки, он, как и миллионы других, был «раскулачен».

Мать и тетка рассказывали мне, как это происходило. Все-все отобрали — и отправили на север, в так называемый Нарым. Долго везли в телеге, и на барже везли — и высадили на пустой берег какой-то реки.

Люди пытались копать землянки, но мёрли как мухи — есть было совершенно нечего.

— Гнилушки толкли и ели, — рассказывала мать.

Через некоторое время детей увезли в детдом, а взрослые все остались там, на берегу. И могилка Вахрамеем там осталась...

Такое вот «уничтожение семьи лицемерия».

...Беда ведь в том, что в царской России не один оказался таким, для которого «религия есть учение всеобъемлемости материи» — по махатмам.

По-православному — восточные лжепремудрости...



И когда сегодняшний человек начинает толковать про «бога в душе», показывать пальцем на сердце — значит, человек уже создал свою секту — пусть и только для себя... Это в конце концов и приводит к неразличению Добра и Зла. Всякому помутнению сознания...

Пошел я как-то в библиотеку, в Петербурге, взяв домой «Живую Этику», почитать, освежить знания, так сказать. Сразу встретил «рериховцев». Едва только заговорил, зачем пришел, библиотечкаша мгновенно заявила:

— Христианство — самая злая религия!

«Живую Этику», она, оказывается, хорошо знает, «Агни-Йогой» много занималась...

Что к чему?.. Чуть попробовал возразить — другая библиотечкаша, проходя мимо, вздохнула мне в ухо:

— О, господи...

Чепуху, дескать, говорю...

Библиотечкаши — дамы знающие, начитанные — посоветовали мне еще зайти в магазин «Роза Мира». (Можно поиронизировать в духе моего любимого Бунина: разумеется — Роза, разумеется — Мира!) Зашел. Книжки, плакаты, буклеты, амулеты. Представлены, кажется, все секты мира! Накурено благовониями, зудит восточная музыка, в клубах дыма бродят полоумные старушки, дамочки, блаженного вида граждане... Несколько полок — труды Рерихов. Есть солидные, дорогие издания, прямо академические. А есть — и много — вот такие, простецкие: на обложке — «Агни-Йога» — и все... Но тиражи — гигантские.

Вот вам и «разрушили тюрьму воспитания», вот вам и «сожгли войско рабов»...

На столе передо мной современная, 2003 года, красочная книга «Усть-Коксинский район» — в этом районе Республики Алтай и находится село Верхний Уймон. Пишет генеральный директор одного из предприятий:

«Самый серьезный барьер, с которым пришлось столкнуться — это многолетний алкоголизм рабочих и, как следствие, резкое ухудшение здоровья работников, прогулы, снижение качества выполняемого труда, отягощенная наследственность, общая деморализация и злокачественный атеизм».

Вот вам и «упразднили церковь»...

...Лет пятнадцать-двадцать назад по телевидению часто показывали большой, часа на полтора, документальный фильм о Рерихе. Многократный повтор в этом фильме — напыляющее на зрителя лицо Рериха на фоне окна дома Вахрамеева Атаманова.

Смотрите, смотрите на реальность, Николай Константинович...

Впрочем, никакого дома не было уже в 60-е годы: низко и уныло стоял один этаж из двух, а к началу 80-х — лишь торчали остатки стен... Рериховцы для музея возвели неподалеку дом из лиственницы, а потом уж отстроили и дом Вахрамеева, создав его похожим на прежний...

* * *

В 2006-м еще раз съездил я на родину предков, в Горный Алтай. Поездка приключилась на знаменательные даты: 250-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав России и 80-летие экспедиции Рериха. Приехав в Усть-Коксу, сразу же оказался на хорошем, полезном мероприятии: архивных чтениях в районной администрации — «Встреча эпох»... А после этого — и на застолье с любезными хозяевами. И уж на следующий день прошелся по знакомым — незнакомым — улицам, через 23 года...

Вспомнился 1983-й... С дороги тогда надо было перекусить, зашли в столовую: хлебная котлета, лапша комком, компот — желтая водичка, и цена — как в ленинградском ресторане. Выйдя на крыльцо столовой, увидели, как толпа штурмует фургон-хлебовозку: хлеб привезли, и прямо из кузова народ его и хватал... Потом, чтоб уехать в Уймон, — ждать-пождать автобус, который, по разговорам в толпе, то ли придет, то ли нет. Пришел, «пазик», куда втиснулась только треть толпы, а мы с чемоданами остались. Пошел я в здание рядом, райком или исполком — меня поразили дамы в бархатных платьях... Разрешили позвонить, я дозвонился в Уймон, родственникам, чтоб за нами приехали.

Приехали. На той стороне Катуня появился мотоцикл с коляской, его водитель накачал резиновую лодку, приплыл к нам — и мы, через кипящие струи Катуня, двинулись к мотоциклу. И с ветерком — на доброе застолье!..



Сейчас времена другие, как и везде — изобилие товаров, магазинов, кафе. А если надо куда уехать — сделай знак — вмиг домчат.

Однако прекрасным июньским утром 2006 года мы с семейством пошли пешочком по отличной дороге из Усть-Коксы в Верхний Уймон — около десяти километров. Красота вокруг — неопишуемая: широкая долина, вдалеке горы, на вершинах — снег, и над всем этим — голубое небо... Впрочем, мало ли на белом свете гор, долин и заснеженных вершин? А я вам приведу слова, которые сказал когда-то московский писатель Сергей Залыгин, в свое время — редактор журнала «Новый мир». Он и писатель был интересный, и человек мудрый:

— В Горном Алтае я бывал и в молодости, и в зрелые годы, а потом объездил весь земной шар, побывал на всех континентах, и могу твердо сказать: Горный Алтай — самое красивое место на Земле.

Как видите, и свидетельство авторитетное, и никакого квасного патриотизма с моей стороны.

Часть пути от Усть-Коксы с нами прошел случайный попутчик, местный резчик по дереву — сдавал в райцентре свои изделия. Проходили мимо небольшой деревеньки, и я вспомнил, как бывал в ней когда-то мальчишкой — расчувствовался, сказал об этом своему попутчику...

— Пьют по-страшному, — неожиданно ответил он. — Каждый месяц кто-нибудь умирает с пьянки.

Вернул на грешную землю, пусть и такую прекрасную... Перед самым Верхним Уймоном — еще одна красота, рукотворная: новый мост через Катунь. Наконец — Верхний Уймон, небольшое село, известное не только в России, но и во всем мире благодаря Н. К. Рериху. И вновь я посетил, через много лет, музей его имени, прошелся по усадьбе прадеда, В. С. Атаманова...

После нашего культпохода вышли мы на дорогу. Никого. Только пьяный мужик попался навстречу. У него и узнали, где магазин. Купили чего надо, сели на берегу Катунь — одной из самых красивых рек мира — по словам Залыгина, помянули всех Атамановых... Ведь даже младшего, последнего сына Вахрамея — Симона — в 1937 году расстреляли. Ведь им (для верности, что ли?) кроме «кулачества» шили еще и «бандитизм». Комиссар Пакалин, пустоглазая чучундра, что расположилась в Улале — Горно-Алтайске, дело свое знала...

В Барнауле, в краевом архиве, я видел «дела» уймонских крестьян — там не только Атамановы, но и другие фамилии. В длиннющих протоколах допросов фигурируют: 1 (одна) винтовка и 1 (один) револьвер «Смит-Вессон».

Естественно, какое-то оружие у крестьян в тех краях в те времена было. Конечно, они возмущались и как-то противились новой власти. Вот строки одного из протоколов:

— Хлеб сдавать не будем. Что это за власть? Приходят, отбирают насильно, описывают, продают. Прямо-таки дневной грабеж!

Да еще: «банда», «бандиты»... И всех — сослали, расстреляли, разогнали по белу свету...

И вспомнились еще мне — из рассказов матери и тетки — не «кулаки» и не «бандиты» — одни из ближайших соседей Атамановых. Фамилию помню — однако не назову, сейчас поймете, почему.

Будучи детьми, мать и тетка забегали в этот двор — и через много лет, уже взрослыми, смеясь, описывали мне его так:

— Вся изба вокруг обгажена, огород бурьяном зарос, а сами все на лавках лежат. Бывало, придут к нам, упадут дедушке в ноги: «Вахрамей Семеныч, дай немного муки, Христа ради...» Дедушка и велит им дать пуд муки.

Нет, они были никакие не больные — просто известные на всю деревню лодыри: землю не пахали, огород не сажали, и даже уборную не строили — бурьян же есть...

Из лени лень! Но лень, хоть и страшна как грех, все же не самый страшный грех — потому и смеялись мать и тетка.

Самый страшный грех совершали те, кто уничтожал деревню, уничтожал Россию. И не надо прикрываться никаким раскулачиванием, никакой коллективизацией, «борьбой нового со старым».

А «неперспективные деревни», а бесовский «перестроечный» крик: «деревня — черная дыра»?!

Это было прямое, умышленное уничтожение. Умышленное!..



Вышли мы с бережка опять на дорогу. Никого. Вот-вот начнет смеркаться, пора бы ехать в гостиницу в Усть-Коксу. Вдруг появляется джип с новосибирскими номерами. Останавливаем. Нет, ему в другую сторону. В раздумье стоим на дороге: надо пойти по деревне, поискать родственников, нагрязнуть, что называется... Но снова, теперь с другой стороны, летит тот же джип.

— Садитесь! До Усть-Коксы, оказывается, всего-то десять километров — отвезем!

И хорошие люди из Новосибирска, само-собой разумеется бесплатно, домчали нас до Коксы, развернулись, улыбнулись — и улетели по своим делам...

По пути в гостиницу — еще одна, последняя, сцена. Идем по улице, и в ряду других домов — маленький, серый, замшелый домишко, а во дворе — только трава, а посреди двора с неприкаянным видом сидит на чурбаке средних лет мужичишка. Я пару раз на него оглянулся, и он крикнул:

— Эй, чего смотришь?

Я помахал рукой — привет...

Сколько таких домишек-мужичишек по России?..

Горный Алтай, самое красивое место на земном шаре...

Самым красивым Сергей Залыгин его назвал в телевизионной беседе с Валентином Распутиным, когда обсуждалось строительство Катунской ГЭС — оба выступали категорически против. Не знаю, окончательно ли остановлен проект, или за минувшие 20 лет было просто не до него. Однако планы по развитию энергетики в России озвучены грандиозные: второе ГОЭЛРО, мол, требуется. Как бы не вернулись к старым планам на Катунь... Не в этом ли будет и заключаться «последняя битва добра и зла» — на реке Катунь, о чем говорится в книге Рериха?

Хочется верить: продолжится жизнь. Как виделось Рериху в добрых строках его книги «Алтай — Гималаи».

«И странно и чудно — везде по всему краю хвалят Алтай. И горы-то прекрасны, и кедр-то могучи, и реки-то быстры, и цветы-то невиданны».

«Говорят, на Алтае весною цветут какие-то особенные красивые лилии. Откуда это общее почитание Алтая?!»

«Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Яркие цветы и успокоительны зеленые травы и кедр».

... Увидели Белуху. Было так чисто и звонко. Прямо Звенигород»...

К счастью, к великому счастью — это все осталось.

Людям бы счастья на такой прекрасной земле...

* * *

Навсегда запомнились названия деревень: Владимировка, Шурмак, Самагалтай, Балгазик... Хотя правильно, вроде, Балгазын. Но какой же русский, да еще староввер, будет говорить «Балгазын»? Балгазик!

Лето 1965-го для меня стало прямо-таки старовверческим паломничеством: мы и в Коксу — Уймон еще раз съездили, а потом и в Туву — все по родственникам, по родственникам... Если Уймон помнится мне тихим и безлюдным, то в тувинских деревнях жизнь была ключом. И дети, и старики, и мужчины-женщины в расцвете сил. Они встречали нас со всем родственным радушием, хотя все они были нам двоюродные-троюродные, а то и далее того. По старой-то вере — до шестого колена родниться надо! Во всяком случае, шестиродным братьям-сестрам жениться-выходить замуж друг за друга запрещалось. Родня. Если в Уймоне и окрестных селах колена такого родства в 60-е годы вряд ли можно было отыскать, то в Туве картина другая. Народ сохранился. Судя по тому, что в каждой деревне у нас с матерью находилась масса всяческой родни, народ сюда перебрался из Горного Алтая. Впрочем, историческими изысканиями я не занимаюсь: возможно, русские деревни существовали здесь и ранее, а я пишу о том, что сам видел и слышал.

Мужики мне рассказывали, как происходило переселение: ехали они обозом, со всем домашним скарбом, семьями, с женами и детьми, со скотом — а тувинцы иногда налетали, пытались налетать на обоз верхом на лошадях. Тувинцев можно понять: они хозяева здешних мест, а к ним без спросу вторгаются какие-то чужие люди. Однако, по рассказам мужиков, достаточно было одного выстрела в воздух, чтобы всадники рас-



сеялись кто куда... Тувинцы отделялись легким испугом, а положение русских староверов было гораздо серьезнее — это им приходилось спасаться бегством, как когда-то их прадедам, спасая себя, свой уклад, свой мир, свою веру... Хотя, казалось, жизнь уже так устоялась: и власть их давным-давно признала, и даже призвала защищать окраину империи от набегов «кыргызов и прочих инородцев и разгонять оных по всем горным щелям» — потому вплоть до 1914 года они были освобождены от воинской повинности. И воевать ни с кем было не надо, и разгонять... Сохранились только предания, как в XIX веке уймонцы и жители других сел ездили в гости к родственникам в Кузнецкий округ — и если в пути на них насакивали аборигены, то кержаки умело отбивались «батиками» — такими палками с утолщением на конце. Вот и весь «разгон». Владели уймонские крестьяне «искусством батика» — украшали своих противников так, что другой раз супостаты к ним соваться остерегались.

Однако на такого супостата, как чучундра Пакалн в Улале, не говоря уж о московских супостатах, уймонский батик короток... Тут нужно было другое «искусство батика» — которым могли овладеть такие люди, как Рерих... Но они, как видите, купились на московский «батик» — сказочно фальшивый.

Бес хитер!

Не просто власть переменялась — антихрист пришел! Начал проводить «раскулачивание» — лучших крестьян истреблять, остальных — в колхозы сгонять, и веру христианскую уничтожать. Но козни бесовские Господь всегда разоблачает, и сегодня нам все так ясно, так ясно... Так ясно — как небо над Уймонской долиной после грозы — слава Богу, минувшей...

А пока приходилось крестьянам бежать — туда, куда власть антихриста еще не добралась — в тувинские земли. В 20-е годы Тува числилась независимым государством, и вошла в состав СССР только в конце 1944 года — так что кержаки нашли здесь землю обетованную. Спасение нашли. Начали строить дома, пахать землю, разводить скот, ловить рыбу... Жить своей жизнью. Ну, а потом — никуда не денешься — пришли все-таки колхозы, так что я уже встретил мирный расцвет колхозной жизни — сытный, спокойный, благополучный. Предложи им, в 1965-м году, вернуться к единоличному хозяйству — возможно, никто бы и не согласился. А молодежь, 17-18-летние, — образованные, современные, цивилизованные люди космического века!

И на религию власть не «наезжала»: церковей-то нет, закрывать нечего. А приказать не верить — ну, до такого и большевики не додумались. Однако строгой, истовой религиозности — и даже просто религиозности — я не заметил. Совсем не то, что в Орегоне, в 1989 году! Но об этом речь впереди.

Советский образ жизни все-таки быстро размывал многовековые устои. Именно так: ничего конкретного сказать нельзя — а просто-напросто не было религии места в жизни — вот и все. И это чувствовали, знали, понимали все — от Москвы до самых до окраин. Хотя и телевидения еще почти не было, и газеты читать незачем, и на радио — ноль внимания, и партия с комсомолом — сами по себе, а вот поди ж ты... Все понимали: Богу места нет. В космос люди слетали, на самое небо слетали — и сказали: Бога нет.

В небе нет — и уж тем более на Земле нет. Так люди решили. В Москве решили — ну, и далее везде такое поветрие пошло, и до Тувы дошло. Старики от веры, конечно, отказаться не могли, а в молодых это поветрие чувствовалось, чувствовалось. По всем разговорам, делам, интересам, пристрастиям — к технике, например! К тем же мотоциклам — в первую очередь.

Не-е-ет, тут опять же тонкая материя. Уж какие автомобильные страсти видел я у староверов в Орегоне!.. Но религии такие страсти совсем не мешали — ни на йоту не мешали. Тувинских кержаков мотоциклетная материя захватила крепко — да опять же, не одна она! Вся, так сказать, аура бытия была материалистическая — вот в чем дело.

Ну, про мотоциклы. Мотоциклы — это одно из первых моих тувинских впечатлений. На деревенской улице, на пыльном пятачке происходил мотоциклетный съезд известных и доступных на то время марок. Про автомобили и речи быть не могло — их просто не было, а вот мотоциклы — пожалуйста. Они и сейчас любимый деревенский транспорт — что уж говорить про тогдашние времена. Мужики и парни стояли, обсуждали достоинства и недостатки, попинывали колеса, садились, давали газу, совершали круг... Ритуал! Тут же стояла и некая «дристопулька» — нечто четырехколесное, дымит и трещит — но едет!



Прокатился и я на мотоцикле. Да нет, это была целая многокилометровая поездка на реку Тес-Хем, с рыбалкой. Поймали первую рыбку, мелко порезали и продолжали ловить на эти кусочки. Никогда больше не видел такую рыбалку... Осман рыба называется.

Река — хоть и быстрая, горная, но текла уже по степи. Вообще Тува мне запомнилась не горами, а степями: едешь по дороге, на автобусе, а вокруг — степи и степи, горы где-то далеко-далеко... Так мы перебирались из деревни в деревню, встречаемые родственниками — и в одной из них для нас устроили особенно широкое застолье. Хозяйева наварили-напекли — всего было много, но всё — самые простые блюда-кушанья — это я помню, хотя, как понимаете, в 15 лет на такие вещи мало обращаешь внимания. Еще знаю, что не было в те времена такого понятия, как «салат», «гарнир» — среди простых-то людей. Это пришло позже, с распространением столовых, появлением кафе, ресторанов... В Бийске на гулянках на стол выставлялась большая миска соленой капусты, можно сказать, тазик — вот вам и салат. Вареная картошка — вот вам и гарнир.

А вот шанежки тувинские, открытые пироги с ягодой — это помню!

Хозяйева пили бражку, а для гостей — для меня с матерью — купили в магазине сладкую наливку. Я глоточек из стаканчика попробовал, хозяйева ласково-заботливо посмотрели, чтобы лишнего не хлебнул, дали закусить хлебом с толстым слоем домашнего масла — чтобы не захмелел.

Между прочим, господа-дворяне тоже когда-то учили своих детей, как пить: в 12 лет давали рюмочку водки — и объясняли, что это такое, и самое главное — как к этому делу в жизни относиться. Стопроцентная трезвость — исключительное явление, спиртные напитки сопровождают человека всю его жизнь, и надо не не пить уметь — надо иметь трезвое, ясное отношение!.. Среди моих староверов я не встречал ни трезвенников, ни пьющих людей. Выпить могут — всегда, пить беспробудно — никогда! Бог милует...

За столом мои староверы пили брагу кружками. Пили — и пели! Духовные песни. Никаких плясок — староверы не пляшут. У меня перед глазами по сей день стоит картина: полная комната ярко, нарядно одетых мужчин и женщин — поющих вдохновенно, от всей души! Песни, правда, очень необычные, мною доселе не слыханные. Я-то уже был набит не только газетными сведениями, но и эстрадными песнями.

«Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о земную ось...»

Это я, между прочим, впервые услышал по радио в столице Тувы — Кызыле. Услышал — и заворожено прослушал. Всё такое легкое, веселое, задорное — и так не соответствующее окружающей сермяжной правде — и зовущее жить легко, весело и задорно!.. Большая, большая политика — именно это и есть большая, серьезная политика...

Но не только на застольях да на рыбалках я бывал — довелось и потрудиться немного. На уборке сена. Люди метали стога — ну, и я что-то делал, помогал. Среди других работал и седобородый дедушка, наравне со всеми работал: подцеплял сено вилами — и подавал на вершину стога. Нелегкая ведь работа! Однако дедушка сумел увидеть между делом, что у меня порван один сандалий, и когда вернулись с поля домой, он мне его сразу зашил. А было этому дедушке, одному из моих родственников, уже 100 лет... Нет, даже больше — 102 или 103. Сейчас он, конечно, в селениях праведников...

Да — интересный факт, связанный с тувинскими стариками-староверами: многие из них... отказывались от пенсии. Грех, дескать, получать незаработанные деньги. Как их ни уверяли, что эти деньги — заработанные... — Грех!..

А в деревне Шурмак я провел диспут на атеистические темы... Хозяйева — люди хотя и молодые, но оказались строго религиозные. Слово за слово, и я, эдакий весь подкованный, эту свою подкованность показал.

— Ни один волос с головы вашей не упадет без воли бога вашего...

— Ага! — а я вот не верю в бога — как же он это позволяет? Получается, по его же воле я в него не верю?!

Хозяйева на мою казуистику реагировали спокойно, без малейшего раздражения — хотя я, войдя в агитационный раж, разговаривал с ними как с людьми отсталыми, непонимающими, даже темными. Свысока вещал...



А они, понимая, что мой атеистический жар — как и всякий атеизм — дело преходящее, не позволяли себе даже оттенка снисходительности. Возражали мне просто и спокойно.

И вот я, чуть не полвека спустя, свободно пройдя через все жизненные испытания, оберегаемый ангелом-хранителем, — вспоминаю эту беседу в маленькой деревушке Шурмак.

Все в жизни состоялось по воле Его — для вразумления моего. И я благодарю Господа, что он дал мне это понять...

* * *

Бийск, слякотный осенний вечер 1967 года, я сижу у тети Таси и смотрю футбол — своего телевизора у нас с матерью не было. Интересный футбол прерывается событием невероятным, для меня поистине судьбоносным: на пороге квартиры появляется гостья, молодая женщина — сказочная фея из далекой страны. Так в мою жизнь вошла Галина Васильевна Атаманова, дочь одного из сыновей Вахрамея Атаманова — Василия.

Василий, с группой уймонцев уйдя в Китай, завел новую семью — так уж случилось. Родились дети, сыновья и дочери, одна из них — Галина, моя двоюродная тетя. Приехала из Швеции. О судьбе Василия и его детей я расскажу позже, а пока — Галина.

Жителям XXI века трудно себе представить сказочность сюжета: появление гражданина Швеции в городе Бийске. Существовал настоящий «железный занавес», отделявший Советский Союз от всего остального мира. Говоря по-нынешнему — виртуальный занавес, но покрепче всякого железного. Сталь, броня!.. Это сейчас человек Запада — естественное явление: покупаю я в бийском киоске газету, открываю — а там интервью с американским профессором, живущим и работающим в городе Бийске. Свободно описывается, как живет-работает американцу в российской глубинке, глубже которой и не бывает.

А в 1967 году западный человек в Бийске — инопланетное явление! Держала Галина себя так просто-естественно, родственно-дружески, что я сразу и навсегда принял ее как по-настоящему родную, свою...

— Здравствуй, тетя Галя! — написал я ей вскоре.

— Если я немного старше, так уже и тетя? — ответила она мне.

И навсегда она стала для меня просто Галей.

Как же я ждал ее писем, открыток — и каким радостным, ярким событием было их появление в почтовом ящике! Письма — всегда интересные, ровные, спокойные — хотя наверняка были у нее свои сложности в благополучной шведской жизни. В Швецию она приехала недавно, из Бразилии, язык не знала, работала на кухне в какой-то лечебнице... Однако никогда — ни слова — о трудностях. Только доброе, только хорошее — и о соседях, шведах, и вообще обо всем и обо всех — вот они, письма, у меня под рукой — за все годы, за многие десятилетия. Ни одно не потерялось! Хотя и вскрытые приходили, и с какими-то печатями «досмотрено»... Не потерялись — еще и наверняка потому, что в каждом были слова: Спаси Христос, храни вас Бог, желаем от Господа Бога всех земных, наипаче небесных благ...

И Господь нас хранил. И ласковые слова согревали: «целую, Галина». Между прочим, для того чтобы с нами встретиться, тогда, в 1967-ом, она потратила на поездку в Сибирь свои чуть ли не первые — а может и первые — отпускные деньги... Так что тут не просто обычный оборот письма: «целую» — это шло действительно от сердца и от души.

А какие красивые открытки присылала нам Галя! Особенно на Пасху и Рождество. Эх, не понимал я тогда смысла этих праздников... Красоту видел, чувствовал, глубоко чувствовал, а смысла не знал. Но, видимо, по капле, по капле, наполнялась моя душа красотой и радостью веры, и когда дошло до определенного уровня — всё и открылось.

Открытки были почти в каждом письме: виды Стокгольма, Гетеборга, а также Парижа, Греции, Африки... Они даже пахли как-то по-особому! А иногда — и просто какие-нибудь красивые картинки, симпатичные кошки, словно живые — эти я все передал знакомым девчонкам... А виды Упсалы — города, где жила Галина?! Древний собор, королевский замок — люди, улицы, дома... Это был прямо бальзам на мою жадную до всякой экзотики душу! Я эти открытки словно под микроскопом изучал:



каждое человеческое лицо, фигуру... Многих людей наверняка уж на свете нет — но их души помнят мои тихие счастливые минуты, мое внимание!

Иногда Галина баловала нас и небольшими посылками: авторучки, нейлоновые рубашки, что-нибудь из секонд-хэнда, который в Швеции был бесплатный... Люди, прожившие в Советском Союзе, меня поймут — они знают, какова была ценность каждой западной вещицы. Ну, и очки для меня. В своих заметках о советской жизни, перестройке, событиях 1991 года, я посвятил теме очков-оправ немало строк... Коротко: западные оправы лицо украшали, советские — уродовали. Так что спасибо шведской тете, имел я некоторую возможность покрасоваться в суровые годы повального дефицита...

Конечно, Галина приглашала приехать в гости, посмотреть, как люди живут. Помню даже, сколько это стоило в начале 1970-х.

— Ты набери, Гена, 400 рублей, и приезжай, обратно мы тебе билет купим, — писала мне она.

Четыреста рублей... В переводе на сегодняшний день — это тысяч пятьдесят с лишним. Для поездки на Луну — а Швеция в те годы была дальше — сумма достаточно реальная. Но... Я был студентом, а мать получала копеечное пособие по болезни — так что у нас и пятидесяти рублей на руках не бывало. И все-таки о поездке я подумывал, пока не пришло известие:

— Гена, цены у вас повысились вдвое, надо 800 рублей...

Приехали! И — странное дело! Времена меняются, эпохи сменяются, государственный строй, а тенденция все одна и та же: цены повысились вдвое...

Через тридцать лет, живя в городе Санкт-Петербурге, собрались мы семейством в круиз по Европе, и в Швецию должны были заехать, а там — я страшно обрадовался, когда увидел маршрут — в город Упсала! Боже мой, я даже названия улиц до сих пор помню, где жила Галия и которые когда-то старательно выводила моя рука, обмакивая перо в чернильницу: Eriksgatan, Norrlandsgatan... Живо представил себе, как войду в королевский замок, древний собор, пройду по местам, где ходила она, войду в дом, где жила она!..

Увы, заезд в Упсалу отменили, да так ловко все обставили, что и претензии не к кому предъявлять. Однако в Стокгольме я увиделся с родной сестрой Гали — Киной Васильевной. Она очень готовилась встретить нас у себя дома, но времени было в обрез, и мы встретились только в центре города, посидели в кафе. Хотя мы видели друг друга впервые в жизни, встреча оказалась очень теплой, по-настоящему родственной.

Потом, стоя на платформе железнодорожного вокзала в Стокгольме и глядя на табличку «Упсала», я представлял, как Галина, будучи в Стокгольме, отъезжает домой, в Упсалу... «Здесь очень красиво, деревья в снежных кружевах» — пишет она мне в открытке 1970 года, отправленной с этого вокзала. А я попал в дождь, и это считается хорошей приметой — на счастье. И все время, пока мы находились в столице Швеции, небеса все окропляли и окропляли нас — на счастье, на счастье...

* * *

Заграница для немалой части моих родных-староверов началась в 30-х годах, когда Василий Атаманов с группой уймонцев ушел в Китай. Так что не все оказались в Нарыме, на пустынном берегу северной реки, обреченные на смерть от голода, горя и страданий. И теперь потомки Вахрамея Атаманова есть по всему свету — от Швеции до Бразилии. Но вначале был Китай, где сибиряки, вместе с другими русскими людьми со всех концов России, стали налаживать свою жизнь... Все закончилось в 1945 году с приходом советских войск. Василий был арестован, отправлен в Советский Союз, получил срок, побывал на стройках коммунизма. Остался жив. Когда освободился, поселился в городе Братске, жил в семье дочери от первого брака. Бывал и в Бийске, навещал своих племянниц — мою мать и тетку. Я его помню! В 67-ом году с Галей, приехавшей к нему из Швеции, Василий отправился на родину, в Горный Алтай. Умер в начале 70-х, похоронен рядом с первой женой. Вот такая судьба...

А русские из коммунистического Китая двинулись в Латинскую Америку, по большей части — в Бразилию, в том числе и семья Василия Атаманова. Один его сын, Виктор, стал архитектором в Сан-Пауло, другой, Михаил — инженером, работал в США, дочь Кира была сотрудником банка — в Швеции. Ну, а про Галю вы знаете...



С момента первого приезда Галины в Россию прошло двадцать лет, я за это время обосновался в Ленинграде-Петербурге, так что на встречу с ней, прибывшей в Москву — из США, с семьей, на празднование 1000-летия крещения Руси — мне было ехать недолго: ночь в поезде.

Днем мы встречали американцев в аэропорту. Вместе с Галиной приехали ее муж — Прохор Григорьевич Мартюшев и сын — девятилетний Гаврюша. Группа, прилетевшая рейсом из Нью-Йорка, оказалась невероятно колоритной! Мужчины — бородатые, в косоворотках, украшенных вышивкой, подвязанных поясами с кистями; женщины — в косынках, длинных платях-талличках... Ткани все блестящие, яркие, шелковые, вышивка нарядная! А люди все крупные, рослые, свободные, уверенные в себе, спокойно-веселые, улыбочивые, говорливые... Наверное, аэропорт «Шереметьево-2» со дня своего основания не видел таких людей — притом русских, настоящих русских!

Прохор Григорьевич, которому было уже за 60, в Россию приехал впервые.

— Бедная страна, бедная, — произнес он после объятий и приветствий.

Это он углядел из окошечка самолета деревеньки, пригороды Москвы, «частный сектор» — убогие домишки, серые заборы, пыльные дороги... А сравнить ему было с чем: белый свет он повидал чуть не весь.

Из аэропорта поехали в гостиницу «Украина», поднялись на высокое крыльцо, на широкую площадку перед входом, где нас встретили подъехавшие ранее русские — из Бразилии, Австралии — отовсюду...

— Надо же, как ты похож на Виктора Атаманова, — сказали мне, — сейчас удостоверись.

Подвели ко мне маленького мальчишку, который меня не знает, а Виктора Атаманова знает. «Это кто?» — показывают на меня.

— Это дядя Витя из Бразилии...

Дядя Витя, правда, тогда не приехал — но, как видите, я его заменял!

Шучу. Каждый из нас занимает свое место во всемирном клане Атамановых...

Остаток этого дня был посвящен отдыху: фотографировались, ходили обедать в ресторан, гуляли вокруг гостиницы... Отдельный, особый поход совершили в магазин «Берёзка» при гостинице. Как бы это объяснить человеку XXI века, что это такое — магазин «Берёзка» в Советском Союзе? Сказочная пещера Али-бабы? Нет, это выход за «железный занавес»! В магазинах «Берёзка» продавались товары западного производства, которых не было в советских магазинах, но купить которые можно было только за валюту — которой не было — и быть не могло — у советского человека. Магнитофоны, джинсы, французские духи... Наши родственники купили нам с женой в подарок японский магнитофон! Вон он, и сейчас стоит, функционирует — что ему делается?..

Набрав еще баночного пива — чудо из чудес, — под восторженно-завистливые взгляды продавцов двинулись в свой номер. Пиво оказалось слабенько-кисленьким, безвкусным — про пастеризацию мы тогда еще ничего не знали — но я сидел, упорно дул его...

Галина Васильевна с устатку прилегла отдохнуть, задремала, сняла с руки часы, положила их на тумбочку передо мной... Я пригляделся: легендарные швейцарские Longines! Взял, показал жене... Галина Васильевна заметила, сказала:

— Оля, забери их себе на память, часы хорошие, золотые...

Вот такая она была — моя тетя Галя!

Ну, часы мы повертели, как диковинку, и положили на место...

Долгий летний день закончился веселым ужином в ресторане гостиницы «Украина» — с музыкой, вином и тесным дружеским общением всесветного русского братства. Переодевания к ужину, как вы понимаете, не было — разве что рубахи понаряднее надели, пояса покрывшие подвязали. Бороды расчесали — бороды ведь длинные, и «трогать», то есть подстригать, их нельзя!

Гости Москвы — такие колоритные, хотя и друг на друга похожие, да все как на подбор из дальних стран — произвели фурор среди прочей ресторанной публики. На вид они, вроде, супер-деревенские, а приглядишься — ан нет! Среди них, скажу я вам, даже настоящие американские миллионеры были...

Я подслушал один разговор. Порфирий Торан — русский из Турции, живущий в США, высокий молодой красавец — привлек внимание ресторанной дамы.

Пристально глядя на него и будучи уверена, что перед нею участник какого-нибудь известного фольклорного ансамбля, она спросила:



— Скажите пожалуйста, а где вы танцуете?

Порфирий, а попросту — Перфил, с улыбкой ответил:

— Вообще-то, я больше пою...

На следующий день мы отправились в Рогожскую слободу, где находится духовный центр Русской православной старообрядческой Церкви — здесь прошли торжества, посвященные 1000-летию крещения Руси. Увидел я древлеправославное благочестие, не спеша прошелся по старинному Рогожскому кладбищу, посмотрел на знаменитую колокольню — она вторая по высоте после Ивана Великого, постоял у древних икон, намоленных за века многими поколениями русских людей...

Когда настало время прощаться-разъезжаться, маленький Гавриил, правнук Вахрамеева Атаманова, не хотел уезжать из России.

— Зачем отсюда уезжать? Здесь же все говорят по-русски...

И правда: устами ребенка глаголет истина!

* * *

Расставаясь в Москве, мы договорились встретиться на следующий год в Америке... Вскоре нам с женой пришли красивые бланки-приглашения на посещение Соединенных Штатов — встал вопрос о покупке билетов. Вопрос неразрешимый, поскольку быстро выяснилось: билеты купить невозможно, их просто нет — и не бывает никогда. Причина проста: любые поездки на Запад стали большим коммерческим предприятием. Люди привозили оттуда, скажем, компьютер, продавали его — и получали чистую прибыль... ну, где-то 30-40 тысяч рублей. Абсолютно фантастическая по тем временам сумма. Первые, самые-самые первые «перестроечные» капиталы делались именно на этом. Устроить кому-то приглашение — и пять тысяч рублей в кармане!

Один знакомый уболтал меня, вышел на Галю, та сделала ему приглашение, он рванул в США — и остался там, затерялся... Обдул-облапошил нас. А Галю навещали сотрудники ФБР: где ваш гость? Хорошо, обошлось без последствий.

Начинались серьезные дела...

Так что мне, собравшемуся «просто в гости», делать у международных касс «Аэрофлота» было нечего... Но билеты я купил — поистине чудом. Когда об этом узнал мой знакомый, пожилой врач-еврей, у которого на руках имелось такое же приглашение, он сказал:

— Геннадий Иванович, я готов встать перед вами на колени, только вы мне скажите, как вы купили билеты?!

Вот такие пошли дела. Близилась новая революция.

Каждому разумному, думающему человеку было понятно — к власти в России рвутся те же силы, которые устроили в свое время так называемый «Великий Октябрь». Те же самые, из-за которых миллионы русских людей оказались за границей.

Вместе с новыми экономическими реалиями набирал обороты и страшный, остревелый «демократический» хай... Он всех и оглушил, и разума лишил — даже многих разумных, думающих людей.

Но в 1989 году еще не верилось, не верилось, что буквально через два года эти силы полностью захватят власть, преступным образом развалят страну — и «демократическим» путем, путем обмана, через всеобщие «свободные» выборы заставят народ своими же руками посадить себе на шею новую диктатуру — «демократическую». В экономике — латиноамериканский вариант, в идеологии — изощренный сатанизм. И жертв «демократическая» революция принесет больше, чем коммунистическая — новые технологии! И русских людей за границей окажутся десятки миллионов. А роль оппозиции будут выполнять карикатурная ЛДПР да бессильная КПРФ, парализованная марксизмом-ленинизмом...

В августе же 1989-го в аэропорту «Шереметьево-2» еще царил тишь да гладь да божья благодать. Людей в зале — наперечет, каждый, где надо, взят на учет... Избранные счастливицы заполнили бумажки и по большому приставному коридору-рукаву, мимо улыбающихся стюардесс, проходили прямо из зала в «Боинг»...

— Уф-ф-ф-фа-а-а-а!

Даже запах другой. Атмосфера... ну, свободы — не свободы, а некой другой жизни. Я вообще первый раз ехал-летел за границу, да еще сразу — в Америку. Не верилось. Видимо, я волновался, так что стюард подошел ко мне, и — еще до взле-



та — предложил шампанского. Принес бокал, потом другой, потом кипу ярких журналов подал.

Не верилось...

«Ну, — думаю, — когда где-нибудь над Германией полетим — тогда поверю!»

Сижу, попиваю шампанское... Да! А сколько же с меня сдерут за этот шампейн?!

Хоть мы сегодня и при валюте, однако пропивать ее, даже с места не тронувшись... Ведь нам еще ехать из Нью-Йорка через всю страну — в штат Орегон!

Шампанское оказалось бесплатное, журнальчики очень занятные... Полетели.

В Нью-Йорке сели, багаж получили, в паспорта печати нам шлепнули...

— Ай эм фри? Я свободен? — спросил я у служащего.

Ты свободен! — с улыбкой воздел он руки к небу.

И поехали мы из Нью-Йорка через всю страну, от океана до океана... на автобусе. Как сели на 8-й авеню на Манхэттене — так и ехали трое суток, день и ночь, до города Портленда — только пересаживались иногда с автобуса на автобус. Во-первых, денег хватило, во-вторых — Америку посмотрели! И по Чикаго несколько часов побродили, и великую реку Миссисипи пересекли, и портреты американских президентов, высеченные среди скал, посмотрели... Среди кукурузы целый день ехали — тоже интересно!

Прибыли на автобусную станцию Портленда. Позвонили родственникам, и в скором времени — вот они, подъехали на машине.

Смотрю сейчас на фотографию, где запечатлен момент нашей встречи... Вот я: весь такой советизировано-демократизированный, в полосатой импортной рубашке, купленной по какому-то невероятному случаю в «Гостинном Дворе»; в легких летних штанах, заказанных в ателье — и все равно сшитых не так, как надо... Боже, сколько же мороки было в те времена буквально с каждой тряпкой... Рядом со мной — Прохор, в самошивной косоворотке, перехваченной самодельным поясом под изрядным пузцом; в ладно скроенных широких штанах... Я поинтересовался, где бы мне такие купить...

— Да в секунд-хэнде, за два доллара! — был ответ...

Думаете, я крохобор-тряпичник? Ну что вы, что вы... Если уж самые серьезные, умные люди считают, что вообще всю советскую власть разрушил дефицит... Вот и считайте.

Галина — в длинном цветастом сарафане, а к ней прижался Гаврюшка, в голубой вышитой рубашечке... А рядом с ними Ольга — в хорошем розовом костюме, с шикарной прической, над которой в Питере долго колдовал парикмахер, когда ему сказали: в Америку человек едет!

В общем, мы старались. Так, что в Нью-Йорке, в аэропорту, здоровенная толстая негритянка-полицейская, когда решался какой-то вопрос, несколько недоверчиво переспросила у меня:

— Это ваша жена?..

Дескать, слишком шикарно рядом со мной выглядит.

По пути заехали в магазин, прикупили того-сего к столу, сыграли в какую-то лотею за один доллар — но где выигрыш может быть огромным!.. Помню, еще покупали бананы у входа в магазин: они чуть «в крапинку», а потому стоили буквально центы.

Почему я обо всем этом толкую... Галина и Прохор — люди очень простые, как и все русские староверы, с кем довелось мне тесно общаться в Орегоне. Их день с утра до вечера наполнен вещами и делами абсолютно простыми, практическими. Зато душа, от момента пробуждения — и до отхода ко сну — обращена к Богу. Мелочи жизни остаются мелочами, а сама жизнь идет строго в соответствии с заповедями Божьими. И все дела идут успешно.

До понимания, осознания такой истины многим православным людям в России, как мне кажется, еще далеко... Потому и быт заедает, и всякие мелочи жизни — жизнь отравляют, и грех уныния одолевает... Только вера, постоянное молитвенное состояние души, помогает человеку обратиться в радость каждое дело — от маленького до большого, помогает ясно видеть, чувствовать и понимать каждое событие — большое и малое. Кстати, защитит она и от грозной болезни нынешнего века — депрессии, то есть, попросту говоря, нежелания жить. Когда окончательно выдавим атеистическую заразу, тогда и будем жить полной жизнью...

Как мои родные староверы!

По отличной дороге, меж высоких сосен, близ океанского простора, мы быстро пролетели и Портленд, и столицу штата — город Сейлем, и городок Вудбурн, и вот он — крохотный Bethlehem — Вифлеем — несколько домов среди ягодных плантаций. Дороги, как и всюду, где бы мы ни были в Америке — в идеальном состоянии. Причина проста: каждый штат США обсчитывает все свои нужды — абсолютно все, в том числе и на строительство-ремонт дорог — и подает заявку в Вашингтон, федеральный центр. Заявка удовлетворяется на 100 процентов. Вот и весь секрет. Такова система власти в Соединенных Штатах Америки — не система финансирования, а система власти!

Едва мы приехали, со всей округи к дому потянулись любопытные, желающие взглянуть на нас — и поговорить, поприветствовать. Даже бабушка в инвалидной коляске подкатила. Гости из далекой России — Советского Союза — тогда еще были в диковинку. Да чего там: даже в автобусе, в котором мы ехали через Америку, водитель однажды произнес в микрофон: в нашем автобусе — туристы из России! И все посмотрели на нас — и даже раздались приветственные возгласы...

В диковинку гости, наверное, и сейчас. Какая уж нам нынче Америка, какие поездки за компьютерами?.. Уже в середине 1990-х, мой гость из США, пройдясь по Петербургу, заметил:

— Мне кажется, всяких товаров здесь даже больше, чем у нас...

То же самое — завалить полки магазинов всякими товарами — можно было сделать и в середине 1980-х — безо всякой «перестройки». Тем более что все заводы и фабрики тогда работали, а в середине 90-х — стояли. Политика!

А просто так, просто в гости — кто же попрется из России — на край света? И на какие шиши?.. На какие шиши — можно было и тогда спросить, в 1989-ом.

На поездку в Америку мы потратили все-все-все свои деньги — несколько тысяч рублей, что откладывались «на кооператив». На покупку кооперативной квартиры, то есть. Очередь на которую еще неизвестно когда подойдет, через много-много лет — но деньги «на кооператив» надо копить уже сейчас, отказывая себе во всем... Кстати, про этот «кооператив» мне до сих пор попадаются какие-то сладенькие рассказы: дескать, можно было «встать на кооператив» — и купить квартиру без очереди, по доступной цене.

Чушь!

Во-первых, чтобы поставили в очередь «на кооператив», нужно, чтобы тебя еще признали нуждающимся, потом стоять чуть не столько же лет, сколько на бесплатную квартиру — и все время откладывать деньги, а потом, въехав в этот «кооператив», продолжать за него выплачивать каждый месяц, много лет... Попросту говоря, одних вынуждали покупать квартиру, а другим давали бесплатно. Хотя у всех было равенство в бедности, и государство могло бы не устраивать никаких «кооперативов».

Да и не покупал никто этот «кооператив»! Собираемые за него деньги — это были сущие гроши от реальной стоимости квартиры, но для отдельного человека — деньги всей жизни...

С чего это я пустился в такие рассуждения? Да ведь это самый больной в России вопрос! В России, но не в США и где бы то ни было, даже в любой мало-мальски развитой стране.

Вспомнил я сейчас свой клоповник-крысятник-комарятник площадью 10,3 квадратных метра в коммуналке на улице Курляндской — и дом Прохора — Галины, вполне бедных людей. У Прохора была пенсия 800 долларов, у Галины, гражданки Швеции, — пособие по болезни, 200 долларов. И всё. А дом... Прежде я никогда в таких домах не бывал, хотя на вид он совершенно простой. Но какой большой, просторный, удобный! Сколько метров квадратных? Да кто его знает, наверное, метров 200 будет, хотя американцы меряют дом не метрами, а количеством спален. Скажем, две спальни, три спальни — и всё понятно. У Прохора с Галиной было две, в каждой — свой туалет. Кроме этого, в доме еще несколько разных помещений: кухня — и рядом — столовая, далее — ванная. Рабочий кабинет Прохора, с компьютером. Кабинет, а не закуток — как обычно бывает в России. Баня еще только строилась... Самое же главное — все большое, просторное, сразу чувствуется: никто не стремится ужать эти пресловутые квадратные метры, понизить потолки, сэкономить на удобстве — на жизни человека, в конце концов! Никуда не надо протискиваться, пролазить, всюду можно свободно шагать, с размаху стул отодвигать, широко руками разводить, две-





ри распахивать! А в туалет, на унитаз, влезет любой ширины человеческий таз... А гостиная?.. Ах, гостиная моя, ты гостиная... Петь хочется, стихами говорить! Дверь с веранды распахнул — и в гостиную сразу шагнул. И шагай — хоть прямо, хоть вправо, хоть влево, и присаживайся на диван — диваны идут по кругу, дорогого гостя ждут...

Однако, войдя в дом, гость обязательно первым делом перекрестится, да с поклоном. Главное в доме — иконы, большие и малые, в каждой комнате развешанные-расставленные, с любовью украшенные цветами, расшитыми яркими полотнами...

Нам с Ольгой выделили комнату с двумя кроватями — и со своим туалетом, размещается... Едва мы поставили свои вещи, как сразу — за стол. Кроме нас и хозяев был еще один гость, свой, орегонский, Семен Созонтьевич Фефелов — они с Прохором Григорьевичем да-а-вние друзья... И в Китае вместе жили, и в Бразилии, и на Аляске — и даже несколько лет в Уругвае! Да, был такой период в жизни Прохора — Галины, уругвайский. На память о нем у меня имеются несколько открыток с уругвайскими видами, да несколько марок — с лицами уругвайских генералов... А сейчас мы сидим за столом в поселке Вифлеем, пьем «канадиян» — канадский виски — и разговор у нас все вертится вокруг моего приезда — прямо-таки явления в старообрядческом мире орегонской общины. Явления настолько невероятного, что забежавший на минуту сосед, знакомый вам Порфирий Торан — Перфил, аж воскликнул:

— Да ... какой же черт тебя сюда занес?!

Это было первое — и последнее ругательное слово, услышанное мною в Орегоне! Перфил тут же спохватился, что сказанул не то... Ну, а в последующие дни мы стали отличными друзьями!

Пока же — Прохор, Семен, огромная пластиковая бутылка «канадияна», запиваемого кока-колой, и уже поздний вечер, и в глазах у меня всё начинает переворачиваться вверх тормашками, и сердце у меня куда-то проваливается, и всё это не столько от «канадияна», сколько от нескольких бессонных ночей — в самолете, в зале ожидания аэропорта имени Джона Кеннеди, в летящем день и ночь автобусе... И тут Семен неожиданно заявляет:

— Ты же, наверно, еще и подзаработать хочешь? Я в четыре утра еду на Аляску — поехали со мной?..

Я встрепенулся:

— И что же я там буду делать?

— Как что? Круглое катить, плоское тащить!

— И сколько заработаю?

— Ну... тысяч по пятьдесят-то возьмем!

Помаленьку, слово за слово, выяснилось, что ехать надо в поселок Николаевск на Аляске, на морскую путину, недели на две, и время отъезда перенести никак нельзя, поскольку срок путины государство определяет строго по дням и даже часам. А ехать надо километров четьреста до канадской границы, и там еще тысячи две — через всю Канаду, с юга на север, да еще по Аляске... А у меня уже не только в глазах всё переворачивается — я и сам уже переворачиваюсь.

Пришлось отказать. Хотя про эти 50 тысяч долларов я до сих пор (сами понимаете), до сих пор иногда с сожалением вспоминаю... Хотя... Бог знает, к чему бы эти 50 тысяч в «лихие 90-е» меня привели, и что бы с ними стало, и что со мной стало, окажись они у меня — тогда...

Пока же мы с Семеном Созонтьевичем расстанемся, но встретимся еще, встретимся!

* * *

Спал я последующую ночь сном праведника. Проснулся поздно и, оглядывая комнату в ярком свете дня, увидел у изголовья большую, богато украшенную икону... Боже, какой же путь проделала она, через какие опасности прошла, чтобы обосноваться здесь. В Орегоне, в поселке Вифлеем, чтобы охранять мир и покой верных ей людей?! Но пока что этот мир был для меня закрыт, и начались обычные будничные хлопоты.

По русскому обычаю — в баню бы надо с дороги, но поскольку с вечера идти в баню не было никакой возможности... Ближайший сосед, Перфил, повез нас в баню



куда-то на машине. Подъехали прямо к бане, на задний двор. Хозяина не было видно, а хозяйка занималась своими делами неподалеку.

— Можно в баню?

— Можно...

Услылав про гостей из России, она поглядела на нас, приложив ладонь ко лбу, от солнца, козырьком. Интересно, конечно, да мы-то ей — никто... Собралась уже было пойти к дому, да напоследок спросила: как фамилия?

— Атамановы.

Хозяйка преобразилась! Подскочила к умывальнику, сполоснула руки, быстро пошла к нам, радостно улыбаясь, подала руку для знакомства.

— А моя девичья фамилия — Атаманова!

Надо ли говорить, какое застолье нас ожидало после бани? Евдокия Тарасьевна и Кирилл Васильевич Бабаевы расстарались вовсю: даже пельмени настряпали! Явился на стол и уже знакомый мне «канадьян». Выпили за встречу, за приятное знакомство, разговорились, кто есть кто, откуда приехали такие Атамановы. Быстро выяснилось: для Евдокии Тарасьевны мы никакая не родня, просто однофамильцы — и безо всяких сомнений, потому что она и Кирилл Васильевич из турецких русских, в Орегоне их называют — турчане. Они — казаки-некрасовцы, потомки тех русских, что несколько веков назад, ведомые атаманом Игнатием Некрасовым, ушли в Турцию после поражения крестьянского восстания под руководством Кондратия Булавина... Двести пятьдесят лет прожили русские в чуждом окружении — и ни с кем не смешались. Община покинула Турцию в 1962-м году: кто-то поехал в СССР, а кто-то в Америку.

Конечно же, только вера помогла им сохранить себя и добиться уважения окружающего народа. Кирилл Васильевич, например, даже служил офицером в турецкой армии. Говорит, молил Бога, чтобы не пришлось воевать против русских...

Как видите, несмотря на всю простоту компании, разговор у меня везде и со всеми собеседниками сразу переходил на глобальные темы — время было такое. Я, гость, узнавал историю и жизнь орегонской общины, а хозяйка страшно интересовалась наша перестройка, Горбачев и перемены в жизни Советского Союза. Шел 1989-й год, и все мы были полны самых радужных надежд. Некоторые из орегонцев, как вы знаете, за год до этого побывали в Москве на праздновании 1000-летия крещения Руси — побывали на земле своих предков, встретили знакомых и незнакомых родственников. А мы с Бабаевыми — побывав у них в бане и на послебанном застолье — стали просто не разлей вода!

Сказав о турчанах, скажу и о других составных частях орегонской общины: это харбинцы и синьцзянцы. Тут всё понятно: это те русские, которые в годы гражданской войны, а потом и коллективизации, ушли в Китай — в район города Харбина, что на востоке, и провинцию Синьцзян, что на Западе. Между прочим, это очень далеко друг от друга — тысячи три километров! Потому и синьцзянцы — харбинцы, по своим привычкам, оборотам речи, некоторому бытовому укладу — люди разные. Мои Галина Васильевна и Прохор Григорьевич — харбинцы, и Прохор Григорьевич, например, подшучивал над некоторыми привычками синьцзянцев...

Впрочем, не только эти три основные группы составляют русскую общину Орегона — мне доводилось встречать даже русских из Ирана. А в конце 1980-х годов здесь стали появляться русские из Румынии, так называемые липоване — тоже не один век живущие за пределами России. Их приветствовали в Штатах в качестве женихов и невест для орегонских русских.

А сблизила столь далеких друг от друга русских людей не только вера, но и дела церковные.

* * *

Еще где-то в конце 1970-х, в одном из писем Галина написала, что они с Прохором пришли к мысли: нужна святость — то есть нужны священники, нужна церковь. Мысль естественная и простая: все когда-то были в лоне церкви, духовно окормлялись священниками, но потом, вследствие раскола и гонений на старую веру, утратили священство и церковь — стали беспоповцами. Когда же появляется возможность утраченное вернуть — надо возвращать. Прохор съездил в Румынию, к липованам, которые сохранили старую веру такой, какой она была до раскола на Руси — поговорил, посмотрел... Когда вернулся в Америку, вокруг него мало-помалу образовался круг желающих вернуться в лоно старообрядческой церкви.

Появилась в Орегоне и церковь. По воле Божией появилась — и трудами орегонских мужиков, умеющих делать своими руками всё. Вот она — стоит, как игрушечка: яркая, нарядная, красивая. Свет истины православия на тихоокеанском берегу Америки.

Но! Сразу надо сказать: многие орегонские русские не приняли священство, остались беспоповцами. Людей можно понять: ведь и этой традиции уже не один век! Словом, в общине произошел самый настоящий раскол. Со временем он, конечно, сгладился, но тогда, в 1989-м году, был весьма и весьма острый. Люди, до этого прожившие бок о бок не одно десятилетие, прошедшие вместе по странам и континентам, оказались разделенными — не смогли найти согласия по самому главному вопросу...

Церковь находится прямо напротив дома Прохора и Галины: выходишь на крыльцо — и вот они, сине-белые купола. Метров сто по тропинке, по траве-мураве (словно где-нибудь в России!) — и ты у входа. Первые двери можно открыть и в притвор войти, однако в саму церковь не пройти: батюшка не разрешает. Во-первых, я без бороды; во-вторых, хоть и крещеный, а все равно что некрещеный: в 37 лет крестился в никоианской церкви, и без полного погружения в воду. Некрещеный... Предложили мне и моей супруге Ольге покреститься с соблюдением всех древлеправославных — истинных — канонов. Мы долго не раздумывали — согласились.

Погожим летним утром двинулись в путь — на речку, где есть подходящее место для крещения. Путь оказался неблизкий, километров тридцать на машине ехали. Батюшка, мой крестный отец — Прохор Григорьевич, Ольгина крестная мать — Евдокия Тарасьевна, и мы с Ольгой. Приехали. Очень красивое место, прямо Горный Алтай! Невысокие горы, хвойный лес, и неширокая, быстрая — но ласковая, теплая горная речка. Место для крещения сам Господь создал: ровный каменный приступок, выдвинутый в реку, а глубина перед ним — по горлышко, и хорошее галечное дно. Зашли мы с Ольгой в воду, батюшка совершил обряд — и трижды нас окунул, положив нам ладони на головы. И вышли мы из воды уже как равные всем православным христианам люди...

Теперь могли и в церковь войти, тем более что я бороду со времени приезда бритвой не трогал, а крестный подарил мне красивую вышитую косоворотку — и пояс. Ольге подарили платье-талличку и платок. Крестики нам обоим дали золотые. Таким образом, преобразились мы и внешне, и внутренне.

На церковных службах стояли вместе со всеми. И так, день за днем, день за днем, скоро и подошли к другому важному событию в своей жизни — венчанию. Помню, помню, как стояли мы, нарядные, пред алтарем, святыми иконами, и отец Тимофей скреплял наши узы брачные древними святыми молитвами...

После венчания нам устроили веселое брачное торжество — именно так: более веселое, нежели торжественное. Кстати, тут хочу сказать о характере орегонских староверов. У нас в России до сих пор со словом «старовер» связывается нечто суровое, хмурое, отшельнически-замкнутое. Наоборот: я встретил людей открытых, улыбчивых, гостеприимных — даже, можно сказать, компанейских.

Есть у меня видеозапись нашей орегонской свадьбы: такого искреннего веселья, притом в большинстве своем людей пожилых, я и не припомню. Народу собралось съехалось довольно много, некоторых видел первый — и последний — раз. Как я понял, они просто хотели порадоваться за новобрачных — и одарить хотели! Меж гостями с круглым ярким подносом, уставленным рюмками, ходил так называемый «тысячка» — и с прибаутками собирал рубли для молодых. Да-да, зеленые американские доллары гости называли рублями! (А мы, особенно в то время-то, хмыкали — «деревянные»...) Поднос — яркий, с перламутром, золотом, стоит у меня сейчас дома, на подставке. Сувенир. Память...

Смотрю видеозапись — «тысячка» среди гостей ходит, приговаривает:

— Ножками идем, ручками несем — добрые слова скажите, а чашечку позолотите. Одна тарелочка сколько стоит, а я хочу тысячами ворочать!

Гости рюмки выпивали, зелеными «рублями» тарелочку золотили...

— Это на дорогу — чтобы молодые в гости к нам приехали!

В гости не приехали — а сердцем всегда с вами, дорогие мои староверы...

(Окончание следует.)

«Я НЕСУ ТЕБЕ СВОИ ЧЕРТЫ»

15-го августа днем ездили навещать родину Лёни Мерзликина, Белоярск, а в ночь на 16-е не стало Саши Родионова. Как-то покажется иной раз: неловко все в жизни, и вроде несоединимо, да только думать так — противостоять ей самой, жизни то есть. Не мы ею распоряжаемся, ох, не мы! А, оглядываясь чуть-чуть назад, совсем чуток, на те самые полдня, которые предшествовали Сашиной кончине, начинаешь понимать, как много намеков и предвестных сигналов рассыпано по миру...

Дом на улице — уже теперь Леонида Мерзликина — живой, на окнах тюлевые занавески, на подоконнике герань. Долгими нынешними дождями расквасило дорогу по всей улице, в туфлях к калитке не подойти. А в глубине двора высится дом новый, крепкий, высокий, еще не построенный до конца. И вопрос сам собой напрашивается: а как же старый? Снесут или оставят? Слышали мы, объявились ходатаи из местных любителей литературы, хлопочут о создании дома-музея Леонида Мерзликина прямо вот здесь, в месте, где он родился и рос. И как тут быть с нынешними хозяевами, захотят ли? Да разве только в хозяевах дело? Насколько крепок дом, как много запросят за него, если решатся продать, где взять финансирование (ненавистное слово для культуры!), чтобы содержать сам дом да какой-никакой штат?..

А к улице со стены старого дома обращена памятная табличка: здесь родился и жил... И тут же вспоминается строка Владимира Башунова из предпослания ко второму тому «Избранного» Леонида Мерзликина. «Вторых может быть несколько сразу, первый почти всегда один». Владимир Мефодьевич нисколько не сомневался, что его друг и учитель — первый на Алтае поэт, причем на долгую оглядку назад и на многие лета вперед. Так и пишет: «Я не верю, что поэзия Леонида Мерзликина канет в неизвестность, выйдет из живого круга чтения. И не потому, что это я вот просто не верю, не хочу верить — нет. Все подлинное имеет возвратную силу. А потому стихам и поэмам Леонида Мерзликина настанет новый черед в новом, недалеком и дальнем времени».

Передо мной телеграмма с грифом «правительственная», губернатор Алтайского края выражает соболезнование родным, близким и друзьям «ушедшего от нас уникального человека, члена Союза писателей России Александра Михайловича Родионова». Не люблю слово «уникальный», однако здесь оно уместно, поскольку суть его первоначальная такова — неповторимый, исключительный. А если по Башуновски, опять же, — первый.

И поминальные речи о том же — о неповторимости таланта, личности. Но и — о другом.

— Вы вот про памятник заговорили, а памятник — что, знак, к которому придут в памятные даты, в поминальные дни или по какому семейному случаю — в общем, несколько раз в году... А надо бы квартиру-музей сделать.

И то верно. Ведь дом Родионова при жизни писателя не только не пустовал, зачастую он был переполнен. Вопрос у кого по рабочей писательской теме, или событие какое — премия там, назначение, выход новой книги — к нему в первую очередь, на писательский перекресток улиц Александра Пушкина и Максима Горького. Иной раз не застанешь хозяина — записочка пришпилена к дверям: там-то и там-то, буду тогда-то. И весело бражничали и горевали. И поминки по умершему в далекой Германии другу нашему Виктору Горну справляли здесь же, у Саши. У Михалыча. У Александра Михайловича...



Кто бывал — знает, сколь невелико помещение, в котором проживал Родионов. С десяток квадратных метров комната да прихожка, она же коридор, она же кухня. Какой там дом-музей! Хотя музей-то там и был. При жизни хозяина. Камни, картины, предметы старины, а главное — конечно же, книги. Солдатская лежанка в углу, рабочий стол у единственного окна. А народу помещалось — по полтора десятка! И тесно не было. И уж точно не скучно!..

Накануне. Мы сидим в зале белоярского Дома культуры, который справил уже свое столетие. Удивительная атмосфера, как-то трогательно здесь все — сцена без кулис, заплатки на стенах и на потолке, старенькое все, ветхое, и оттого-то, быть может, не жалость в сердце возникает, а грусть по ушедшему, уходящему. Сами эти обшарпанные стены, если хотите — музей. Они, стены эти, видели и сельские сходы, и торжественные собрания по поводу красных дней календаря, и юбилеи, и шумные собрания на сломе эпох...

И Родионов, и Мерзликин — оба сельские жители, только родная деревня Александра — Ивановка — уже вычеркнута из числа живых поселений, а Лёнин Белоярск вошел в состав города Новоалтайска, то есть прибавил в чине-звании. В чем-то как был, так и остался деревней, но стадо домашней скотины истаяло, и места в поселке стали занимать дачники да переселенцы из ближних Барнаула и Новоалтайска, кому на землю захотелось.

Прожили — Леонид Семёнович чуть-чуть до шестидесяти не дотянул, Александру Михайловичу шестьдесят восемь исполнилось. Один другого ровно на десять лет старше. Ну, что это за возраст, жить бы да жить! Да говорят, там, в горних пределах, таланты тоже редкость, нужда в них великая, как и везде.

Леонид Мерзликин был пытлив, постоянно не доверял своим знаниям, своему дару большого поэта. Не было дня, чтобы он не копался в словарях и энциклопедиях. Слово должно быть всесторонне изученным, слово (поэтическое слово!) не может быть случайным. И посмотрите, какая россыпь словообразований от Мерзликина в той же поэме «Купава», первой поэме поэта, давшей название первой книге, чье пятидесятилетие мы и приехали отмечать вместе с литературными активистами Новоалтайска в Белоярск.

— Лишь в окошках застит...

— Потаенка моя...

— Только жаль, молодуха не пригнездилась в нем... (в доме. — А. К.)

— Обалдельный, без помни, я иду наугад...

— Где моя по округе голубынь-красота...

Компьютер подчеркивает «неправильные» слова; да, известно, куда ему, компьютеру, до поэтического слога?..

Последняя книга Александра Родионова — сборник очерков, написанных в различные годы, — «Одинокое дело мое». Журналисты спросили его: почему такое название? И он ответил: а писатель всегда трудится в одиночестве. Так и сказал — трудится. Может, слово это принес он со своей родины — деревни Ивановки далекого Егорьевского района, может, из своих скитаний, которые геологу на роду писаны. Теперь и не скажешь: тропы заросли, Ивановка исчезла с карты Родины. А знания свои Александр Михайлович черпал повсюду, жадно и неутомимо, слушая, вглядываясь, просиживая долгие дни и месяцы в архивах и библиотеках. По-крестьянски хваткий и упорный, он не ограничивался узким исследованием предмета, он узнавал все вокруг него — историю, нравы современников, архитектуру, неповторимые черты эпохи... Родионов не думал удивлять кого бы то ни было эрудицией, просто он считал такой подход к своему одинокому делу единственно приемлемым для него. В итоге вырос он в энциклопедически образованного знатока своего края, всей Сибири, традиционных ремесел, где на особом месте у него были резьба по дереву и камнерезное дело.

Родионова нужно было слышать самолично. Задал вопрос — все, приготовься прослушать урок, лекцию, научное сообщение с обилием дат, фактов, цитат и различных точек зрения.

Александр Родионов не вступал в конфликты с властью, но, бывало, одергивал начальствующих персон, когда те зазнавались да заговаривались. Вообще он был человеком неуступчивым и не всегда удобным. «Не диван — удобным быть», — парировал он. Он не жаловался и не просил вспомоществования, понимая, что культура всегда у нас финансируется по остаточному принципу, всегда недооценивается. Говорить-то мы любим, что без культуры нет нации...

И вот здесь приходит на память стихотворение Леонида Мерзликина.

Это что так народ обмирает?
Это что так толпится народ?
Возле Старого рынка играет
На гармошке слепой и поет.

Жестяная помятая кружка
У ступенек стоит на краю,
Наклонилась седая старушка,
Опустила монетку свою.

Я берет надвигаю на брови,
По карманам ищу — ни шиша!
Ощущаю, как где-то до крови
Изворочалась в теле душа.

Вспомнил детство с дымящею плошкой
И до дырок проскобленный стол,
Чугунок закопченный с картошкой
И дерюгою устланный пол.

А гармошка колотится в стонах,
Бельмы пусто глядят из-под век...
Отойди, в милицейских погонах,
Не мешай, молодой человек!

Наверное, нет смысла говорить, что в этом небольшом стихотворении — целая эпоха, нет смысла повторять про легкий мерзликинский штрих, который способен ожечь, пронять до самой твоей глубинушки. Здесь еще — и упрек власти, которая не смогла (или не захотела?) обеспечить инвалида, может быть, героя, необходимым для жизни. Так уж пускай хотя бы не мешает самому прокормить себя.

Играет баян в ветхом Доме культуры, льются песни на Лёнины строчки. Слушают люди, пришли. И уже одно это сегодня удивляют. Август, село, день в разгаре, на огороде дел полно, да и когда их не бывает на подворье, в избе? Видно, в селе интерес к поэзии сегодня живее, чем в городе. А может быть — сильнее интерес и к самой жизни? Или земляков именитых здесь еще чтут? Я не найду сразу верного ответа, да, вероятно, и вообще не найду. Только надежда, только вера в животворящую силу земли, доходящую скорее до тех, кто ближе к ней... И помнится Сергей Есенин:

С поля новый придет поэт,
В новом лес огласится свисте...

Вот хорошо бы и вправду такое случилось. А то все больше — с асфальта, из каменных трущоб. И голос закаменелый, и эхо тонет в высоких стенах, и слова на музыку не ложатся.

«А под мосточком катится вода...» Это не та привычная философия утекающей вечности — все течет, все меняется, или — в одну реку нельзя войти дважды. Здесь вечное начало призвано бесконечно продлить саму любовь, чья яркая первая вспышка может в любую минуту угаснуть.

«А под мосточком катится вода...» Тянет баян задушевную ноту, а за ним, за музыкой и за всем этим залом слышу я неповторимый Лёнин голос. Да ведь это давно известно: никто не прочтет стихи *так*, как это делает сам поэт, автор.

... Виснут звезды в воздухе морозном,
Я к стеклу оконному приник.
Что тебе? Гуляй себе по звездам,
Мой далекий призрачный двойник.

Не распят, никем не убиенный,
Потому что ты — еще не ты.
Утешайся тем, что по вселенной
Я несущ тебе свои черты.



Да, никто и ничего не повторится, разве что в отдельных чертах, в схожести биографий, мотивов, судеб. В схожести...

Вот у Александра Родионова (вы знаете, что он начинал как поэт? А поэты, смею высказать утверждение, бывшими не бывают. Они перестают рифмовать, записывать в столбик, а поэтический настрой и песенная нота никуда не уходят):

Нет ни облачка. Голо.
Видно, будет жара.
Над колодезным горлом
Бьет поклоны журавль.
Вновь вернулся сюда я.
В сердце — скворчик поет.
Утро.
Мама седая
Мне воды
Подает.

И у Леонида Мерзлика:

Я свои сапоги обобью о порог...
Здравствуй, давность моя, озорная, безусая!
Ты один у меня, мой земной уголок.
Я вернулся обратно. Ты слышишь? Вернулся я.

И закончился день. И пришел час, когда мы опустили Сашу в землю по соседству с рябиной, чьи ягоды уже покраснели. Нынче хоронят без музыки. И хорошо. Не надо. А она, непрощенная, пробивается откуда-то из-за плеча, недавняя, вчерашняя...

Любовь моя, была ли ты когда?
Иль о тебе мне ночь наговорила,
Наворожили шаткие перила?
А под мосточком катится вода.



Екатерина ФЕДОРЧУК

«ЛАВР» ЕВГЕНИЯ ВОДОЛАЗКИНА: НЕПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

О романе Евгений Водолазкин «Лавр» много писали. И критики, и «просто» читатели. Этот роман стал ярким литературным событием еще до «увенчания» его автора лаврами лауреата премии «Большая книга», его ценность очевидна и вряд ли была бы поставлена под сомнение, даже если бы премиальный сюжет с этой книгой сложился менее счастливо.

Достоинства этого текста бесспорны и отмечены в отзывах почти единодушно. Да, действительно, «исторически обоснованная стилизация <...> без швов соединена с современной лексикой и синтаксисом (правда, очень сдержанными, без утрирования) и смело, с улыбкой (привет постмодернизму) вкрапленными, опознаваемыми цитатами из мировой литературы»¹; это, действительно, «метаисторический» роман, в котором «автору удалось найти способ построения повествования о прошлом, преодолевающий границы, очерченные коллективной отечественной исторической травмой, — способ, синтезирующий прошлое в его чуждости и инакости и тут же делающий его предметом опыта, осязаемым и близким, — в сущности, средой обитания»². Да, это блестяще проведенный языковой эксперимент по переводу реалий Древней Руси на современный язык, о чем лучше всего сказал сам автор: «Задача была — добиться того, чтобы происходящее, с одной стороны, было погружено в Древнюю Русь, а с другой — в современность. И чтобы не было видно швов. Поэтому мой повество-

ватель имеет два лица — средневековое и современное. И два сознания»³.

Водолазкин тонко чувствует поэтический потенциал языка, что позволяет ему свободного переходить между цитатами, несобственно-прямой речью, канцеляризмами и афоризмами. Самое замечательное — поэтика этой речи не есть стилизация, которая всегда фальшива. Не стилизация, а стиль, весьма органичный, восходящий к Платонову, но лишенный мрачной глубины и безысходности его языковых аномалий, не замкнутый в земном аду, а нашедший путь наверх.

Однако необходимо сказать и то, что блестящий замысел был реализован отнюдь не безупречно.

В романе Водолазкина на самом деле не один, а два героя: не только лекарь Арсений, но и его дед, лекарь Христофор. Все, чем так пленяет этот текст: стиль, изящное сцепление цитат, завораживающая средневековая поэзия допетровской Руси, бесстрашное раскрытие этой «terra incognita» — все это целиком и полностью состоялось в небольшом рассказе о лекаре Христофоре, который живет на отшибе вместе со своим внуком, мальчиком Арсением, храня верность жене, которая трагически погибла 30 лет тому назад.

Встреча со смертью показана здесь с той же степенью трагического удивления, как и в случае юной Устины — «невенчанной жены» главного героя романа Арсения, но гораздо естественнее, без преувеличенной аффектации: «Христофор стоял и не верил, что жена

¹ Иванова Н. Вызов // Знамя. — 2013. — № 8.

² Вежлян Е. Присвоение истории // Новый мир. — 2013. — № 11.

³ Лавры Средневековья: Финалист «Большой книги» Евгений Водолазкин — о древнерусских истоках своего романа // <http://www.rg.ru/2013/09/24/vodolazkin.html>

мертва, поскольку только что была живой. Он тряс ее за плечи, и ее мокрые волосы струились по его рукам. Он растирал ей щеки. Под его пальцами беззвучно шевелились ее губы. Широко открытые глаза смотрели на верхушки сосен. Он уговаривал жену встать и вернуться домой. Она молчала. И ничто не могло заставить ее говорить». Водолазкин показывает чистое и искреннее удивление тому, что с мертвым человеком уже нельзя общаться, что он не дышит, не говорит, не может проснуться от своего смертного сна.

В рассказе о Христофоре показана символическая, можно даже сказать сильнее, — мистическая значимость каждой вещи, каждого явления, каждого создания Божьего мира, реальная сопричастности вечности: «Однажды они пришли на берег озера, и Христофор сказал: Повелел Господь, чтобы воды произвели рыб, плавающих в глубинах, и птиц, парящих по тверди небесной. И те и другие созданы для плаванья в свойственных им стихиях. Еще повелел Господь, чтобы земля произвела душу живую — четвероногих. До грехопадения звери были Адаму и Еве покорны. Можно сказать, любили людей. А теперь — только в редких случаях, как-то все разладилось».

Автор романа создает текстовый мир, напоминающий иконную реальность. Водолазкин идет на рискованную игру, проверяя целомудрие этого мира (именно так!) на прочность, заставляя врача Христофора говорить о «постельных проблемах» его пациентов — каким языком, с какой интонацией будет он это делать, не сорвется ли на глумливый смехок? Но герой (язык) повествования с честью выдерживает это испытание/искушение.

В романе «Лавр» Водолазкину блестяще удается статика. Это несколько не недостаток, но самая суть того взгляда на мир, который исповедуют его герои: Вселенная покоится в руке Божией, а потому с ней и с нами ничего не может случиться! Ничего, в том числе и никакого сюжета в современном понимании этого слова. Христофор и мальчик Арсений живут в ощущении божественного присутствия, куда им идти от Того, у кого «глаголы вечной жизни»: «Христофор не то чтобы верил в травы, скорее он верил в то, что через всякую траву идет помощь Божья на определенное дело. Так же, как идет эта помощь и через людей. И те, и другие суть лишь инструменты. О том, почему с каждой из знакомых ему трав связаны строго определенные качества, он не задумывался, считая это вопросом праздным. Христофор понимал, Кем эта связь установлена, и ему было достаточно о ней знать».

Но все становится иначе, когда Водолазкин переходит к динамической части, когда идиллический рай старика лекаря и его юного ученика разрушает сначала смерть Христофо-

ра, а затем появление «новой Евы» — Устины, чья смерть отправляет Арсения в длительное духовное странствие.

Впрочем, духовное ли?

В основе романного действия лежит очень странная религиозная идея. Сбой происходит с самого начала. Грех с Устиной — это абсолютно условная ситуация. Совершенно непонятно, что мешает Арсению и Устине «узаконить свои отношения» или, говоря по-другому, освятить свою любовь церковным благословением? Тут стоит, видимо, пояснить, что незаконная связь Арсения и Устины для них чревата не только осуждением соседей, но отлучением от церковных таинств, к которым нельзя приступать тем, кто живет в грехе: «<...> его беспокоило то, что они не ходили к причастию. Идти в храм Арсений боялся, потому что путь к Святым Дарам лежал через исповедь. А исповедь предполагала рассказ об Устине. Он не знал, что ему будет сказано в ответ. Венчаться? Он был бы счастлив венчаться. А если скажут — бросить? Или жить пока в разных местах? Он не знал, что могут сказать, потому что ничего подобного с ним еще не было». Именно из-за этих более чем странных колебаний (счастлив венчаться, но отчего-то не венчается) Устина умирает без покаяния, а главный герой берет на себя подвиг отмолить душу своей погибшей возлюбленной.

Возможно, для этого есть какие-то предпосылки, связанные с обычаями того времени, о которых я мало знаю, а автор, будучи специалистом, знает все. Но текст должен говорить сам за себя, а говорит он, что Арсений просто не считает нужным это делать, что, с его точки зрения, их плотская связь и так свята и непорочна. Впрочем, на все недоумения читателя можно ответить одной фразой: роман «неисторический».

В романе «Лавр» сталкиваются не только два языка: современный сленг и церковнославянский язык, в нем сталкиваются два типа героев. «Герой» древнерусской письменности — это, конечно, святой подвижник, невозможный в литературе Нового времени, в литературе, основанной на вымысле. Потому что святость не может быть вымышленной. Это именно тот компонент культуры средневековой Руси, который не дается современному секулярному сознанию, не вмещается в «нововременные» границы художественности. Из нашего «сегодня» герой-святой выглядит странно, и именно его странность и необычность, экзотичность поддаются воспроизведению — конечно, искаженному и неточному. Поэтому герой современной литературы не столько святой, сколько юродивый, в современной («огласовке») не отличимый от психопата или хулигана.

В романе «Лавр» сразу три таких героя, причем Арсений, взявший после смерти воз-

любленной ее имя, еще не самый странный из этой компании. «<...> русский человек — он не только благочестив. Докладываю вам на всякий случай, что еще он бессмыслен и беспощаден, и всякое дело может у него запросто обернуться смертным грехом. Тут ведь грань такая тонкая, что вам, сволочам, и не понять» — научает свою «паству» «профессиональный» юродивый Фома. Грань действительно очень тонка, так же тонка, как манера письма Водолазкина. Поэтому не сразу даже и понятно, что с героем «не так». Ему просто не хватает человечности. Хотя сюжет романа вроде бы составляет путь духовного возрастания героя, но на самом деле никакого пути нет, а есть смена масок, за которыми скрывается духовный «супермен», который только на первый взгляд похож на обычного человека.

Арсений/Лавр/Устин, через которого автор пытается показать образ святого, святых разных типов святости, главным образом, юродивого, не борется с грехом, путь к Богу для него прост, потому что он изначально наделен особенной душой. Его слова о грехе, гибели души и покаянии — это только слова, слова очень искусные и поэтичные. Этот герой избранный, грех для него — не грех, его не берут ни холод, ни болезнь, ни нож хулигана. Совсем как другую современную литературную «святую» Ксению — героиню романа Елены Крюковой «Юродивая». Роман Водолазкина написан намного более искусно, чем роман Крюковой, но они оба сделаны с оглядкой на один и тот же образ — святой Ксении Петербургской, которая ушла от мира из-за смерти горячо любимого мужа. И героиня романа Крюковой, и герой романа Водолазкина пытаются прожить жизнь другого человека, одеваясь в его одежду, перенимая его имя.

Этот сюжет христианской любви малопонятен современному читателю, и его пытаются «осовременить» с разной степенью осмысленности. Главное, что отличает роман Водолазкина от романа Крюковой, в котором действие происходит как будто везде и как будто всегда, в некотором абстрактном мире, — это острое чувство времени и чувство мистического такта, и просто человеческая чуткость. Но в одном эти авторы сходятся: в обоих романах показан странный образ христианства без Христа. Нельзя не согласиться с тем, что Арсением движет «не приближение к Богу, а стремление “отмолить” погибшую без покаяния подругу. Большую часть романа его герой живет вне Церкви и даже вне религии»⁴.

Для чего Водолазкин понадобилось изъять из средневековой картины мира, из сознания человека того времени самую важную ее часть? И ведь нельзя сказать, что совсем убрал, нельзя сказать, что мир этот языческий, безбожный. Напротив, весь текст Водолазкина пронизан церковной тематикой, и не внешнеобрядовой, а об исповеди и причастии, о жизни вечной. Вот среди потенциальных пациентов Лавра «стал распространяться слух о наличии у Амвросия (одно из многочисленных имен главного героя) эликсира бессмертия. О том, что этот эликсир Амвросий, будучи еще Арсением, якобы привез из Иерусалима». Народ волнуется: как бы заполучить драгоценный эликсир. «Когда число таких людей перевалило за сотню, к ним вышел Амвросий. Он долго смотрел на их убогие жилища, а затем сделал знак следовать за ним. Войдя в ворота монастыря, Амвросий повел их в храм Успения Пресвятой Богородицы. В то самое время в храме заканчивалась служба, и из Царских врат с причастной чашей вышел старец Иннокентий. От решетчатого окна отделился луч утреннего солнца. Луч был еще слаб. Он медленно пробивался сквозь густой дым кадила. Одну за другой поглощал едва заметные пылинки, и уже внутри него они начинали вращаться в задумчивом броуновском танце. Когда луч заиграл на серебре чаши, в храме стало светло. Этот свет был так ярок, что вошедшие зажмурились. Показав на чашу, Амвросий сказал: “В ней эликсир бессмертия, и его хватит на всех”».

В книге Водолазкина есть врачевания души вместе с телом, есть понятие греха, искупления, молитва. Нет только образа Того, к кому молитва обращена. Нет спасающего Бога, а есть «спасающий» человек, который врачует болезни прикосновением, которого «пуля бандитская» не берет, который без проблем переносит жар, холод и чуму, совершает длинное путешествие в Иерусалим и по дороге даже участвует в «боевых сценах». Зато Святая земля практически полностью выпадает из повествования.

Может быть, именно эта лакуна придает книге Водолазкина необходимый, с его точки зрения, градус литературности? Может быть, это боязнь употребления Его имени всеу? Но роман «Лавр» — этот как раз тот случай, когда о Боге, о смерти, о грехе и покаянии сказано так много, что отсутствие последнего «аминь» — «истинно так» — ничем не оправдано, да просто невозможно именно с литературной точки зрения.

⁴ Балакин А. «Неисторический роман» о познании, отречении, пути и покое // <http://archives.colta.ru/docs/13964>

АЛЕКСЕЙ КАЛКИН — ВЕЛИКИЙ КАЙЧИ

**О! — Алтай! О, златосветлый край!
Ала-Тоо... То ли, то ли, то ли
Слышу я? Сияй, сияй, сияй
Белыми небесными гольцами!
Ты ль алатырь камень, ты ли, ты ль?
Чистотой меж чистыми сердцами —
Ты сказанье, песня или былль?***

«Кай», по-алтайски — это звучащее, исполняемое под музыку топшура эпическое сказание.

Поющий, исполняющий это сказание человек поэтому называется кайчи. Кайчи — не просто певец, кайчи — хранитель традиции, через кайчи эта традиция уходит в глубь веков, в дописьменную, допотопную, доледниковую древность, и через кайчи же она передаётся живущим и последующим, и последующим за ними поколениям.

Трудно себе представить, что можно каждый миг помнить и свободно использовать сотню тысяч стихотворных строк. Для сравнения: объём «Евгения Онегина» не дотягивает до пяти тысяч строк. Так вот, певец-кайчи — кладёз именно такого гигантского знания, целого свода героических сказаний, поэм, сказок и песен, кайчи в прежние времена был дорогим гостем во всех селениях Алтая, ради его прибытия устраивался праздник, и все жители деревни вместе с близлежащими аилами могли несколько дней слушать пение знаменитого кайчи.

Алтайцы говорят, что настоящий кай должен длиться семеро суток, семь дней и семь ночей — это цикл сотворения мира, это кольцо времени, в котором происходит рожде-

ние, смерть и воскресение, это виртуальный, поэтический мир подвигов богатырей и богов, вживе вырастающий из Слова, музыки, голоса и того, что называется даром Божиим.

* * *

На Алтае всегда несколько сказителей, все они в разной степени известны, в разной степени одарены, но великий кайчи — всегда один. Мы достоверно знаем двух таких певцов: это Николай Улагашев, родившийся в 1861 году и умерший на 86-ом году жизни уже после окончания Великой Отечественной войны и Алексей Калкин, ушедший от нас на 74-ом году, совсем недавно, в прошедшем августе. От Николая Улагашева остались записанные с его слов народные поэмы — «Алтай-Буучай», «Алтын-Коо», «Алып-Манаш», «Малчы-Мерген» и многие другие. После Алексея Калкина во многих странах мира учёные и читатели узнали о таких великих памятниках поэтического творчества древних тюрков, как героические сказания «Маадай-Кара» и «Очи-Бала». Переводы этих произведений замечательно исполнил Александр Плитченко, поэт, с которым Новосибирск тоже вот уже год как попрощался.

Патриархи уходят. И кто за них будет хранить их вещее знание, кто способен также терпеливо молчать и прислушиваться лишь только к древним, как шум Катунь, словам?..

Старые слова чисты, они не могут выходить из уст скверных и невежественных. Поэтому дар слова передаётся лишь способному его принять. Это в наибольшей степени касается дара кайчи. В отличие от шаманской «болезни», это совсем не обязательно наследственный дар, но знание эпических

* Фрагмент стихотворения В. Берязева «Первый кай», из книги «Золотой кол» (Новосибирское книжное издательство, 1989).

песен — есть знание в очень большой мере не приобретаемое, а как бы воспоминаемое, явление кайчи — самый наглядный пример генетической памяти. Этот механизм создан в целокупном и вневременном сознании народа в ещё дописьменные времена именно для сохранения в поколениях очень важной информации, в частности — эпосов. В чистом виде генетическая память, обнаруживающаяся в форме дара сказителей, осталась на планете только у тюркских народов. Из последних лет известен случай, когда в Киргизии восьмилетний мальчик вдруг вспомнил и запел весь гигантский свод эпоса «Манас». Учёные специально пытались выяснить — весь ли текст знает юный гений, который ещё даже толком не выучился читать и писать.

Трудно себе представить, но весь «Манас» — это более 200 тысяч строк, несколько томов. Однако оказалось, что вся эта бездна стихов в некоем первозданном виде содержится, живёт в голове, в сознании, в душе маленького мальчика из Киргизии. Вот это и называется подлинным чудом. Через такие примеры мы ясно видим, как передавался эпос в незапамятные времена. Так было у древних шумеров — эпос о Гильгамеше. Так было за семь веков до рождения Христа с эгейскими гекзаметрами Гомера. И «Илиада», и «Одиссея», и «Калевала», и «Старшая Эдда» не уходили из народного сознания только благодаря такой духовной единице как сказитель. И я ни за что не поверю наветам учёных-филологов о значительных искажениях, утратах, изменениях текстов сказаний. Не было никаких искажений и вариаций, какие бывают при работе переписчиков. При устном способе передачи из поколения в поколение произведение, вполне возможно, меньше теряет, меньше искажается, кайчи — лишь одно звено из звеньев долгой эстафеты, и в него с помощью поистине чудесной генетической памяти эпос как бы переливается целиком.

Кайчи — не простой человек, избранность кайчи часто подчёркивается их физической ущербностью (и Улагашев, и Калкин были слепыми), кайчи — некий центр сил, на нём всё завязано, через него проходят токи национального, народного единения, он символ и хранитель традиции, он являет и доказывает, что мир древних богатырей, богов и духов реально существует, он существует ещё и потому, что через кайчи эти духовные сущности могут действовать, и именно кайчи в период своего расцвета и творческого могущества может ими управлять и над ними властвовать. Тому немало свидетельств из богатой событиями жизни Алексея Григорьевича Калкина.

Но в алтайской языческой иерархии кайчи не является шаманом. Это духовное состояние и духовное звание сказителя — гораздо более высокое и ответственное, чем умение камлать с помощью бубна и колотушки, совершать астральные полёты и общаться с духами.

Кайчи — слуга богов и богатырей, одновременно он и их посланец, и представитель их нравственных начал в срединном мире людей. Алтай — заповедник язычества, кто хоть раз поглубже забирался в эти края, понимает, насколько это соответствует истине. Здесь нет необходимости сказку делать былью, здесь быль насквозь сказочна, сильфиды, nereиды, дриады здесь вполне реальные существа, только что называются по-другому, любой алтаец тебе об этом скажет. Святые камни, святые горы, святые источники, священные могилы, и прекрасные целебные растения, и благословенные небеса. И всё это, всё — одна большая непостижимой красоты книга, которую читает великий кайчи.

Великий кайчи на Алтае всегда один.

Будучи юношей, Калкин единственный раз повстречался с Улагашевым и послушал уже перевалившего за девятый десяток старого певца; удивительно, но они пересеклись во времени — один только-только нащупывал свой путь, другой уже готовился ко встрече со своими героями.

Теперь и Калкин ушёл вслед за своей песней. Кто же следующий?

Я спрашивал у Калкина — не пресечётся ли эта традиция. Он твёрдо отвечал, что пока жив Алтай, будет исполняться кай, будут рождаться сказители, и так будет до скончания веков, пока цела планета и человек на ней.

* * *

Жил Алексей Григорьевич в селе Ябоган, за двумя перевалами, в более чем двухстах верстах от Горно-Алтайска. Места эти обжитые, чудные, с просторными долинами и с каким-то золотистым воздухом, сквозь который горы матово светятся, словно бы сквозь прозрачное покрывало.

Мы были у него большой делегацией, которую в Горно-Алтайске обозвали в средствах массовой информации «экспедицией новосибирской творческой интеллигенции». Художники Данила Меньшиков, Николай Мясников, Виктор Савин, дизайнер Юрий Нечай, видеооператор Константин Шаронов, а также врач, настоящий мастер своего дела, который уже много лет руководит одной из новосибирских реанимационных бригад, Валерий Туаев.

Мы собирались быть в Ябогане 18-го мая, но на неделю задержались и, когда появились в избушке Алексея Григорьевича, едва ли не первыми словами его были: «а я вас ждал неделю назад». Откуда он мог знать об этой дате, она была лишь в проекте, точного числа никто не называл?

Калкин уже почти не вставал. Мы без сомнения в душе понимали, что это свидание — из разряда прощальных. Калкину было на тот момент 72. Туаев осторожными прикосновениями сумел во время одевания Алексея Григорьевича в праздничный халат определить у него целый букет болезней, вердикт его был суров, но исполнен удивления: «Держится только духом».

Тысячи людей прошли перед ним с тех пор, как открылись голос и духовное зрение. Не только радость и праздник он нёс, но каждый день соприкасался с болью и немочью дальних и ближних, такая служба даром не проходит. Мы застали очень ветхое тело, в котором всё ещё гнездилась мощная, весёлая, привыкшая к чудесам душа. В своё время это тело выдерживало страшные нагрузки, напряжение кая позволяло предвидеть, знать судьбы и постигать причины болезней, Калкин мог с лёгкостью и зоркостью орла-беркута оглядывать внутренним взором долины Алтая в настоящем, прошлом и будущем. В то время как окружающие предметы, будучи почти совсем слепым, он воспринимал лишь в виде расплывчатых пятен. Все эти способности к концу жизни ослабли, страдания тела отнимают много сил на борьбу с ними. Стал тихим и прерывистым прежде громкоподобный голос, которому внимал с удивленьем и трепетом Колонный зал Дома Союзов и который раскачивал и заставлял звенеть всеми бесчисленными подвесками и сочленениями огромную люстру в Новосибирском оперном театре.

Мне не забыть той картины — Калкин лежит в своей двухкомнатной избушке на кровати против печки, ходить он уже не может, распухшие больные суставы не позволяют даже до деревянной юрты во дворе, там в аиле у очага жена готовит пищу гостям, там бы надо было и принимать гостей, но всё уже в прошлом, в прошлом звучавшие на всю округу сказания о великом Кюегедей Мергене и красавице-богатырше Очи-Бала, в прошлом праздничные застолья, сопровождающие кай, когда по кругу передаётся пиала с молочной водкой-аракой, а у стен юрты сидят знакомые и незнакомые, посланцы многих и многих алтайских долин и урочищ. Замолчал верный топшур, сделанный из родового кедра, струны из толстой лески забыли прикосновение тонких, прежде стремительных пальцев, уже

давно хозяин не подсушивал его над огнём очага перед началом игры, звук не извлекается, звук улетел.

В шкафу навсегда остался лежать праздничный наряд кайчи, расшитый шёлковый халат, кушак, несколько шапок из лисьих лап с оторочкой из меха выдры, с шёлковой кистью на вершине. Шапка эта по форме напоминает епископскую митру, Калкин по духовному положению таковым на Алтае и был.

Он общался с нами через переводчика, по-русски, разумеется, понимал, но — обряд и положение требовали использовать свой язык.

— Не надо, — сказал он, улыбаясь, но требовательно отстраняясь от рук Валерия Туаева, — не надо разбираться в моих недугах, я тоже мог видеть чужие болезни, мог помогать людям, но мне уже никто ничем не поможет, я скоро уйду, и все мои болезни уйдут вместе со мной.

Опытный врач был просто обезоружен таким мужеством и таким мудрым спокойствием...

Он прожил ещё год и почти целое лето...

Власти республики Алтай успели выделить ему давно обещанную квартиру в Горно-Алтайске, так что все предсказанные им самим гонорары единственный неграмотный член Союза писателей СССР всё-таки получил.

* * *

Таланту очень многое позволено, говорил нам Калкин, не надо бояться, если сделано талантливо и красиво — наказания не последует. Он как бы благословил нас.

Я вновь был в Ойротии спустя год с небольшим...

Три дня кряду в глухом углу Алтайских гор, у самой границы с Китаем, мы о нём только и говорили, это была вторая половина августа, экспедиция на Аргут. Археолог, этнограф, литератор, человек с видеокамерой и две девушки-музыковедши из Новосибирской консерватории с удивительным постоянством возвращались к воспоминаниям о Калкине. Мы и знать не знали, что именно в эти дни он уходил из нашего мира, что это он с нами прощается, незримо присутствуя в разговорах...

В завершение вновь, как добрую молитву, повторю слова Алексея Григорьевича.

Никогда не прервётся традиция кайчи, всегда на Алтае будут великие сказители, всегда будут исполняться героические песни, звучать топшур и откликаться эхо святых гор. Язык не исчезнет, поэзия не исчезнет, душа не исчезнет, а пока будет стоять Алтай, будет надежда, будет существовать и весь мир.

P.S.

С момента написания этого эссе прошло уже более пятнадцати лет. В следующем, 2015 году, в апреле исполнится 90 лет со дня рождения великого сказителя Сибири, на основании записей многочасовых каев которого было издано несколько томов алтайского эпоса. Эти сказания — «Маадай-Кара», «Очи-Бала» и другие — прочно и навеки вошли в сокровищницу мировой литературы.

И сегодня, как и предсказывал Алексей Григорьевич Калкин, традиция сказителей-кайчи на Алтае не прервалась. До сих пор жив и продолжает работу замечательный исследователь и исполнитель алтайского эпоса Тануспай Шинжин. А миссию действующего кайчи несёт сегодня живущий в Кош-Агачском районе в селе Курай подлинный сын своего народа, унаследовавший дар и могущий, как

и предшественники, кайларить, исполнять сказание на протяжении нескольких дней, — Элес Тадыкин.

Духовный лидер алтайского народа, любезный сын Ойротии Бронтой Янгович Бедюров поправил меня. Говоря о своих земляках, облечённых даром слова и древней силы эпоса, он подчеркнул, что кайчи не то чтобы помнит наизусть десятки тысяч строк богатырских песен, нет, не совсем так — сказитель владеет разветвлённым древом клише, которые нанизаны на сюжет того или иного эпического повествования. Каждое исполнение — это одновременно и процесс воспоминания, и творчества великой песни. Это уникальный акт творения, происходящий на глазах у слушателей, поэтому он и производит неизгладимое впечатление, настоящее потрясение, потому как слушающий кай становится как бы сотворцем!



ОЧИЩЕНИЕ ОТ ПРОКАЗЫ

Марина Кудимова «Голубятня». — Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых (ООО «Полиграфсервис и Т»), 2013.

«В России, как в степи, как на море, есть откуда и куда сказать», — как-то обмолвилась Цветаева. Как в степи и как на море и в поэмах нашей современницы Марины Кудимовой.

Воды, наполнившие предыдущую книгу поэта «Целый божий день», в «Голубятне», на мой взгляд, обогатились целой системой подводных рек и течений (ре-чений). Крупные вещи из книги «Черёд» тоже вошли в новое издание. Словом, появилось одно из наиболее полных, как сказано в аннотации, обиталищ «голубей» и «голубиц» автора, то есть стихотворных рассказов, повестей, фотомонтажей, сценариев...

Пятнадцать поэм. Я же поведу сейчас речь главным образом о тех поэмах, которые, появляясь в периодике, до сей поры не попадали под книжную обложку и не вступали в химическую реакцию с другими произведениями поэта.

«Глазной зуб», «Листаж», «Внук», «Голубятня», «Болеро» сгруппировались в середине книги, а завершает поэнный дискурс миниатюрная «Плака». Пласты близкой автору стихии словно разомкнулись, обнажив иные глубины.

Поэма «Глазной зуб» представляется мне беспощадным самоанализом. Парадоксальная параллель последствий неосознанного и незамоленного греха с зубной болью позволяет автору наглядно показать ад в миниатюре, протянуть нить ассоциаций «от зубного протеза до протеза души». Не случайно поэт говорит о смерти, вспоминает про «Божественную комедию» Данте и «библейский зубовный

срезет», чей звук «страха давно не внушает, а ухо режет». Чудовищная обыденность падения удачно подчёркнута и неожиданной рифмой: «аллергии» — «Алигьери».

**И я умру — да хоть сейчас могу! —
От олигофрении, аллергии,
Но, разгадав загадку Алигьери,
Перед зубною болью я в долгу.**

Обыватель надеется на всё, кроме главного, вкушает всё, кроме хлеба и вина причастия, покада «злополучка» случилась не с ним.

Сразу же за «Диктором» и «Письмом на радио» следует маленькая поэма-притча, поэма-молитва и плач «Плака» с трагедийным сюжетом о жизни деревни, куда общество ссылает заражённых лепрой несчастных изгоев.

«Плака» вопиёт о конце, казалось бы, не оставляя человечеству никакого шанса: «Только Христос там, где нету врача!» Похороны тела и всего, к чему привязана плоть в брэнном мире, осуществляются во имя бессмертной души. Здесь неугасающая вера превращает деревню в место спасения, а не сходящих с поста прокаженных — в стражей и молитвенников всего мира. В границах Плаки, словно в круге знаменитой канавки Серафима Саровского, всякий смертный обретает Царство Божие. Не зря за словами о деревне угадывается образ Пречистой и Милостивой Богородицы:

**Не иссякает кормилица-Плака,
Вдоволь даётся ей млека и злака.
Белая фета, тимьяновый мёд...
Боженька в этой деревне живёт.**

Рифмуясь с начальной эпической поэмой «Арысь-поле», «Плака» закольцовывает всю книгу «Голубятня». Как отметил в предисловии поэт и критик Георгий Яропольский, она и написана сплошь трёхстопным дактилем — тем самым, на котором «изъ-

яснятся» барин-книгочей из «Арысь-поля». В «Плаке» — озноб болезненный, в «Арысь-поле» — от холода («Кто-то тёплый нужен — / Видно, так уж водится. / Люди, ну и стужа — / Мёрзнут богородицы.») С героическим терпением, смирением и любовью тянет Плака свою роковую лямку, как чудо-лошадь Арысь-поле:

**Лошадь, трудяга-кормилица
С сорванным брюхом!
Ну, каково тебе силиться,
Падая духом?
Падая духом под лемехи
И подымаясь
Зёрнами горького племени,
Падать умаясь.
Каждый любовь да изведает,
Не понукая.
Вы приглядитесь как следует:
Лошадь — нагая.**

Соотношение двух поэм — в строке из «Плаки»: «Принцип матрёшки: за островом — остров». И первая, самая крупная оболочка — чудо-поле или поверхность земного шара, а самая маленькая — остров Крит или раскаленное ядро Земли. Подобно тому, как в тело живой планеты мы зарываем ядерные отходы, «мы отселяем изгоев» на остров «и забываем о них навсегда». На благодатной почве труда и веры «террикон человеческого шлака» выживает и разрастается, а гигантское поле беспечного «здорового» человечества, соответственно, уменьшается.

Интересные метаморфозы происходят и с категорией времени. В «Арысь-поле» даже в развязке время течёт по-русски, сонливо и меланхолично:

**Поглядим, поищем-ка...
Бредёт девка-нищенка —
В пинжаке мужичьем,
С жалостным обличьем,
Озираясь голодно...
АРЫСЬ-ПОЛЕ!
ТЕБЕ
ХОЛОДНО?**

«Горький оазис» лепрозория, где человек делает свои, уже осознанные, глотки жизни, времени катастрофически мало. Не потому ли единственного поименованного героя поэмы, юриста-недоучку зовут Ремундакис? В этом странном имени без труда угадывается прибор для судьи на беговой дорожке — секундомер.

«Глазной зуб» и «Болеро» разделяют сто страниц. Сам по себе этот факт не подтверждает их крепкой связи, но если вчитаться и

вслушаться в тексты, родственное созвучие их рифм станет очевидным.

«Глазной зуб» пронизан мукой. Избавившись от этой муки, человек воспринимает мир без боли как великое извращение, как райское место. Иное дело — лирическое пространство «Болеро». Здесь боль не локальна, она неохватна. Пространство, как рой жалящих насекомых, зудит скрежещущим, жужжащим неуютом суеты и тревоги... Пока девушка влюблена, пусть и в книжного героя, «бомбометателя», на время своих грёз и воображаемой встречи с героем она словно вырывается из лап материального мира. Однако однообразная мелодия любви, вечно перетекающая из поколения в поколение история барышни и хулигана, когда-то да перестаёт звучать в конкретной человеческой судьбе, уступая место всё тем же посторонним шумам.

Итак, выходит, что «Глазной зуб» и «Болеро» — два зеркала, в равной степени искажённо отражающие действительность. Истина и благодать где-то посередине. Может быть, они скрыты в колодеце водоворота, неожиданно возникшего в центре «Болеро» и кудимовской книги? Этот водоворот, чёрная глубина воображения, символизирует ещё и время:

**Он бы как будто спал.
С речки как будто — пар.
Клёкот в водовороте,
Чёрном, как будто вар...
Я хороша собой,
Он мне суждён судьбой...
Слёзы как будто градом
С клятвами вперёбой.**

«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3). Посредством слова молитвы возможно всё!

**Будет за годом год,
Будет ускорен ход,
Буду перемежаться,
Как телеграфный код.
Или же у дерев
Выучусь, закорев,
Кольца обратным счётом
Сбрасывать, постарев.**

Посеянные зёрна любви рано или поздно прорастут. Вот именно: рано или уже поздно. Нет, чтобы в самый раз! Несовпадение заложено в коде нашей жизни оттого, что Бог ждёт от нас смирения и терпения, мы ведь сами ещё вызреть должны и родить в себе душу младенческую. Оттого и память наша такая упрямая, непредсказуемая, все цепляет на себя: и важное, и сорное.

На раздаче Любви человеку положено только молча ждать, как в столовой, своей очереди. Как милостыня даётся в той свободе, когда левая рука не знает, что делает правая, так и мера любви: в спонтанности своей непредсказуема. Не выгадывай больше, возьми, что Бог подаст. Эту мысль молитвенно выразила Марина Кудимова еще в первой своей книге «Перечень причин»: «Пошли мне кротости превыше голубиной / Во одоление корысти быть любимой».

Сценарий для любой жизни создаёт Любовь. Именно для неё готовы раствориться любые временные и иные границы. Вот в чём поэт не сомневается, на чём делает акцент в конце своего завораживающего, фантастического «Болеро»:

**В возрасте минус ста
Наши сомкнём уста,
Минимум на столетье
Сдерживаться устав.**

**Слишком для нас проста
Бренности пустота.
Я тебя поджидаю —
Всё это неспроста.**

«Болеро» есть и формула любви, и концентрат всех тем, и одновременно кульминация, сердцевина книги «Голубятня». Сюда встроено сердечный механизм, что кровью словно питает тело всей книги. Похоже, что из «Болеро» произрастают все истории этой «голубиной книги», и всё сводится к «Болеро», умирает в этой музыке, как в последнем и прекрасном роковом танце.

Так распустившиеся цветы можно считать расцветом, а можно — началом распада. «Болеро» напоминает нам, что все темы войны и мира, космоса и атома произрастают из любви и в любви разрешаются. Недаром своё необычное музыкальное произведение Морис Равель задумал исполнить на фоне заводских стен. Властный гипноз ритма прекрасной и однообразной музыки страсти соотнёсся в его воображении с размеренным и тяжёлым дыханием литейного завода. Углубляя эту метафору, Марина Кудимова рифмует словесный перевод «Болеро» с дыханием революций и войн, с трагикомичными страницами истории человечества, удивительно последовательной в своих повторах.

На мой взгляд, три книги Марины Кудимовой, вышедшие недавно и с небольшим временным разрывом, стоит рассматривать как некую трилогию. Если в «Черёде» слышатся тяжёлые колёса истории, способные

раздавить несформированную личность, в книге поэм «Целый божий день» раскрывается цена утраченной чистоты и утраченной веры, исследуются начальные моменты духовного падения человека, то в «Голубятне» живёт и действует сила искупления.

В древности голубей приносили в жертву. «И покропит (кровью) на очищаемого от проказы семь раз, и объявит его чистым и пустит (окровавленную) живую птицу в поле», — написано в книге «Левит» (14:4-56).

Если прокажённый был очень беден, ему достаточно было принести двух горлиц или двух молодых голубей. Одна птица шла как жертва за грех, другая — во всесожжение. «И очистит священник очищаемого перед лицом Господа».

Свежей кровью очищал священник и дом от проказы. Для этого брал две птицы, кедровое дерево, червлёную нить и иссоп. Потом требовалось заколоть одну птицу над глиняным сосудом с «живой водой», смочить её кровью кедровое дерево, червлёную нить, иссоп и живую птицу и покропить дом кровью заколотой птицы семь раз. Последний этап ритуала — пустить окровавленную птицу в поле.

Внимательно читая поэмы Марины Кудимовой, можно увидеть все составляющие древнего обряда и сам обряд. Есть тут и жертвенное дерево («Болеро» — «...кольца обратным счётом сбрасывать, постарев»), и окропленная кровью нить, червячок зубного нерва («Глазной зуб»), и многолетняя трава иссоп («Внук» — «Ладан смолистый, иссоп, кориандр... / Благословите, отец Александр, / Благословите...»), и, наконец, жертвенные птицы и животные («Голубятня», «Арьсь-поле»).

**Страница, будто смета
Для Страшного суда...
«Стой! Ты куда?» —
«В бессмертье.
В бессмертье, вот куда».**

Пафос этих строк, написанных Мариной Кудимовой еще в давней книге «Область», вряд ли будет сразу ясен её главному, молодому, читателю. Начинать надо с малого, с воспитания чувств и возвращивания веры, ведь жертва жертве рознь, и свобода — вещь относительная.

Характеристика «Утюг» и рассказ «Голубятня» — как раз о свободе и чистоте. У девушек бывает такой период пуританства в жизни, когда они, как Катя из рассказа «Голубятня», неистово стремятся выпустить на

волю всех голубей и всех женщин освободить от мужчин, когда во всякой зависимости им видятся зло, грех, тюрьма. Другая крайность — ранняя развращенность, подмена любви похотью, а истинной морали — хитрой житейской уловкой: не украдешь — не проживешь («Утюг»).

После неувоенных уроков случается «Листаж». Не путь, не миссия — жизнь, презрительно обозванная типографским термином, означающим объём печатной продукции в листах. Несчастный графоман, неудачник, приспособленец в поэме Марины Кудимовой безмянен, потому что остался заготовкой личности. Однако сочувствие автора подарено каждому, как себе. («И тот — поэт сегодняшнего дня, / Кто в принципе походит на меня», — признаётся Марина Кудимова в радиокомпозиции «Диктор»). Потому что существует ответственность и генетика: сегодня живёт Один поэт, завтра — его Внук, наследник (читай поэму «Внук»), голоса и записи судьбы неуничтожимы.

Именем — Один поэт — герой поэмы «Листаж» унижен и возвышен одновремен-

но. Обезличен — в этом минус, а плюс в том, что написанное со строчной буквы слово «Один» напоминает: человек есть образ и подобие Божие. Аутсайдер способен подняться с колен. Один поэт нашёл в себе силы примчаться на похороны своего наставника, понять, что предал его, раскаяться. Люди могут припечатать: опоздал, но Бог не скажет так никогда!

Вся середина книги «Голубятня» представляется мне мощной лесопильней. Один поэт сравним с большим сильным деревом, непонятно зачем вросшим не в ту почву.

Так начиналась царёва верфь — С выкорчёванного пня...

Часы — тикают, человек — думает, ежесекундно взвешивая «да» и «нет»... Поможет ли книга Марины Кудимовой «Голубятня» сверить часы? Может быть. Поэт не знает формулу превращения всего во всё, но ею пользуется. Если в небе появляется хоть один голубь, оно принадлежит птице и птицею окрыляется.

Зульфия АЛЬКАЕВА

«ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК» ФЕРАМОН

Карпов В. Малинка. — М.: Издательство «У Никитских ворот», 2013.

Главный герой романа В. Карпова «Малинка» (в журнальном варианте — «ФеРА-МоН»), наподобие былинных, а может быть, сказочных персонажей, отправляется в великое путешествие. Нет, не за чашей Грааля он отправляется, не за тайной бессмертия, не за «философским камнем». Он отправляется на поиски той единственной Женщины, которая способна будет разжечь в его сердце Великий огонь любви.

Пожалуй, стоит подчеркнуть, что в романе именно мужчина, а не женщина жаждет Великого огня любви. Мужское начало традиционно активно, а женское — лишь принимающая сторона.

И мужское же начало, настигая цель, одухотворяет женщину, наполняя ее своими смыслами. Поднимая ее до сакральных высот,

вдыхая в нее Бога, всю мощь своих счастливых открытий и откровений, приобретенных в горьком и сладком постижении бытия.

При этом в романе — поразительное, волшебное и даже таинственное сочетание вышеописанного смысла повествования и собственно сюжета.

Сюжет не просто земной, а очень земной. Даже слегка заземленный. Суть его в том, что наш герой, изрядно же, встречает свою Великую Любовь.

Но.

Герой наш... слегка, как говорится, женат. Да и новая его избранница, совсем еще молоденькая девушка, имеет молодого человека.

Наш герой, изрядно, между прочим, потертый жизнью... пасует. Любовь-то он, к счастью, нашел, но — к несчастью — тут же от нее и отказался. Из всяческих благородных, разумеется, резонов: не буду тебе ломать жизнь, ты такая-сякая молодая, у тебя вот и паренек под стать, а я, типа, старый хрыч — ну и тому подобные доводы среднестатистической морали, которой ведь наплевать на Великую любовь!

А то, что любовь такова — герой наш вскоре и понимает. Он уже и не может без своей Малинки! И пошел второй виток героического эпоса — победоносное вторичное завоевание малодушно уступленной другому Великой любви.

Между тем не прошло время даром и для нашей героини.

Она, послушавшись нашего героя, таки вышла замуж за своего почти уже бывшего молодого человека и быстро родила ему первого ребенка. При этом не прервала связи с нашим благородным Феромоном. Настолько тесной, что, когда родился второй ребенок, Феромон какое-то время пребывал в уверенности, что он от него.

Героиня наша при всем том еще и пела в церковном хоре. А также ходила в местный ДК, где совершенствовала свое певческое искусство под руководством некоего господина, с которым также... Так же... как с мужем и Феромоном. Вот какая интересная и насыщенная жизнь была у нашей Малинки. Ничуть не беднее, чем у самого Феромона, столь опрометчиво выпустившего из рук свою Великую любовь на первом витке большого странствия.

Финал этой захватывающей истории хорош: «очарованный странник» Феромон вырвал свою Малинку из лап двух мужиков и увез ее с чужими детьми в свой дом. К своему холодному очагу. Великая любовь победила все, даже простила те некоторые щекотливые моменты, которые кого-то, возможно, и смущали бы, не будь этой любви.

Такова сюжетная канва романа В. Карпова «Малинка». Основная канва. В романе немало интересных сюжетных ответвлений («Алтай», встреча со слепой девушкой и т. д.), но о главном я сказал.

А теперь о самом главном.

Я имею в виду особый дар, умение Владимира Карпова почти внезапно впадать в транс вдохновения. Способность видеть предмет или явление сразу в нескольких измерениях. За его спиной — вдруг — разворачивается парус, и автор взлетает от какого-нибудь вполне себе бытового, земного факта ввысь, на самый гребень больших смыслов и обобщений. И повествование обретает неожиданно онтологическую глубину, духовный объем, пафос.

Вспомним, например, как воспаряет автор, описывая (может быть, впервые в нашей литературе) сам физиологический процесс

зачинания новой жизни на клеточном еще уровне. Ведь ему удастся описать это как великое приключение во временах и пространствах, от поколения к поколению переходящую эстафету самой жизни человечества!

Эта удивительная способность В. Карпова была заметна и в его первых работах. В повести «Вилась веревочка», в рассказах «Юркин журавль», «Ермолаев, встаньте по диагонали!», в «Хали-гали под саксофон», в повести «Двое на голой земле» и бесподобном, любимом моем рассказе «Я могу хоть в валенке дышать!». А в романе «Танец единения душ», где речь шла о разведчиках и добытчиках якутских алмазов, эта способность явлена во всей полноте.

В романе «Малинка» автор, помимо «любовных страданий», трезво и жестко описывает современную Россию, по которой герой его катается из конца в конец в своем французском авто. Не тарантас Гоголя, не «жигули» В. Аксенова, конечно, но в чем-то — продолжение традиции «больших путешествий». Любовный сюжет созревает у Карпова на трагическом фоне растерзанной, униженной, преданной России. С заброшенными полями, разрушающимися заводами, фермами, фабриками, опустевшими деревнями и... так же страшно, опасно опустошенными и потерянными людьми.

Но в центре повествования — человек, наделенный необыкновенно мощным мужским началом. Осознав цель, он идет к ней, преодолевая препятствия без колебаний и сомнений. Он уверен: мужчина приходит в этот мир за женщиной, а женщина приходит в этот мир за ребенком. И потому, настигнув, завоевав, вырвав из слабых рук свою сильную, как и он сам, женщину, герой наш принимает безоговорочно и ее детей, потому что прозревает в них воплощение ее великой миссии. Вот — любовь!

Так, может быть, перед нами — роман о герое, воплощающем в себе самую настоящую национальную идею? Сильный мужчина — во времена стремительного и катастрофического вырождения мужского начала. На «розовоголубом» закате Европы. В синюшной от пьянства России...

Это мужское начало в прозе В. Карпова было изначально. И сейчас, в этом его первом романе о любви, оно проявилось во всей своей мощи.

Владимир КУНИЦЫН

АВТОРЫ НОМЕРА

Атаманов Геннадий Иванович родился в 1950 г. в городе Бийске. Член Союза журналистов России. В «Сибирских огнях» публикуется впервые. Живет в Санкт-Петербурге.

Берязев Владимир Алексеевич родился в 1959 году в Кузбассе. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор поэтических сборников «Окоем», «Золотой кол», «Могила Великого Скифа», «Посланец», «Тобук», «Кочевник», романа в стихах «Могота» и др. Живет в Новосибирске.

Варава Владимир Владимирович родился в 1967 году в Воронеже. Окончил Воронежский государственный педагогический университет. Доктор философских наук, профессор Воронежского государственного университета. Автор 10 книг. Член Союза писателей России.

Гончарук Ирина Андреевна родилась в 1968 году в г. Боровичи Новгородской области. Училась в Новосибирском госуниверситете на экономическом факультете. Работала на Братском лесопромышленном комплексе, в ЖЭУ, в «Сибэкологии». Активный участник неформального литературного объединения «Шклинда». Работает дворником. Живет в г. Братске.

Ивантер Алексей Ильич родился в 1961 году в Москве. Учился в МГПИ им. Ленина. В 1989 возглавил (совместно с Алексеем Сосной) издательство «Постскрипtum». В настоящее время возглавляет проектно-конструкторское бюро амфибийной авиации. Автор книг стихов «Держава жаворонков», «Дальнобойная флейта», «Каменная правда». Живет в Москве.

Казаков Валерий Николаевич родился в 1952 году в Белоруссии. Окончил Литературный институт им. Горького. Полковник в отставке. Воевал в Афганистане, участвовал в антитеррористической операции в Чечне. Работает в Московском представительстве Сибирского федерального округа. Печатался в журналах «Молодая гвардия», «Москва», «Сибирские огни» и др. Лауреат Большой литературной премии России за книгу прозы «Записки колониального чиновника». Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Кенжеев Бахыт родился в 1950 году в Чимкенте. Окончил химический факультет МГУ. Публикуется с 1972 года. Стихи переведены на казахский, английский, французский, немецкий и шведский языки. Член Русского ПЕН-клуба. С 1982 г. живет в Канаде.

Кирилин Анатолий Владимирович родился в Барнауле в 1947 г. Автор семи прозаических книг, изданных в Барнауле и Москве. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Алтай» и др. Живет в Барнауле.

Кудимова Марина Владимировна родилась в 1953 году в Тамбове. Окончила Тамбовский пединститут. Переводит поэтов Грузии и народов России. Произведения Марины Кудимовой переведены на английский, грузинский, датский языки. Лауреат премий им. Маяковского и журнала «Новый мир». Живет в Переделкине.

Куницын Владимир Георгиевич родился в 1948 г. в Тамбове. Окончил философский факультет МГУ и аспирантуру МГУ по кафедре эстетики. Автор множества статей, рецензий и трех книг. Работал на «Мосфильме», во ВНИИ теории и истории кино. Был литературным консультантом журнала «Литературная учеба», обозревателем «Литературной газеты», заместителем главного редактора журнала «Советская литература», директором программы «Культура» информагентства «РАММА». Вел авторские передачи на радио «Маяк» и «Радио «Россия»». Сейчас работает на телевидении. Член Союза писателей России.

Науменко Виталий Владиславович родился в 1977 г. в поселке Железногорск-Илимский Иркутской области. Окончил Иркутский государственный университет. Автор нескольких поэтических книг. Лауреат премии им. Виктора Астафьева, журнала «Интерпоэзия», победитель Волошинского конкурса. Публикации: «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Крещатик», «Арион» и мн. др. Живет в Москве.

Носов Сергей Анатольевич родился в 1957 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор ряда романов, нескольких сборников малой прозы и эссе. Пьесы «Берендей», «Тесный мир», «Табу, актер» и другие идут на сценах театров страны. Лауреат и номинант ряда премий. Финалист премии «Большая книга».

Федорчук (Иванова) Екатерина родилась в 1978 году в Саратове. Окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Дипломант Международного Волошинского конкурса в номинации «Лица современной литературы». Лауреат Независимой литературной премии «Дебют». Кандидат филологических наук. Живет в Саратове.

Ярцев Владимир Иванович родился в 1945 году в селе Пильно Алтайского края. Окончил историко-филологический факультет Новосибирского государственного педагогического института. Автор двух поэтических книг. Стихи публиковались в журналах «Юность», «Сибирские огни», «Мангазeya», «Земля Сибирь». Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

ВНИМАНИЕ!

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «**СИБИРСКИЕ ОГНИ**» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров или в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА уведомляет авторов, что к рассмотрению принимаются только рукописи, выполненные на компьютере и распечатанные на принтере, с обязательным приложением CD-диска, либо присланные по электронной почте, ранее нигде не печатавшиеся и исполненные без грамматических ошибок – согласно нормам и традициям русского языка. Вместе с текстами присылать краткие биографические данные для рубрики «**Авторы номера**». По электронной почте принимаются тексты объемом не более 10 а.л. (400 000 знаков).

**630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 10, а/я «Сибирские огни»,
тел.: 8-903-901-1644, e-mail: sibogni@sibogni.ru,
сайт: www.сибирскиеогни.рф**

Сдано в набор 14.01.2014 г. Подписано в печать 05.02.2014 г.
Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п.л. 18,2. Тираж 500 экз. Заказ №